



Д. АРУШАЯНЦ.

Солдаты.

---

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК  
СОЮЗА  
ПИСАТЕЛЕЙ  
СССР.

# ЮНОСТЬ



4 (227)  
АПРЕЛЬ  
1974

Журнал  
основан  
в  
1955  
году

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ПРАВДА»  
МОСКВА



# Мечта приведена в Космос!

Дорогая «Юность»! Я никогда не писала тебе, это мое первое письмо. Пишу потому, что не могу не писать: переполнена радостью и гордостью. Пишу тебе и потому, что ты мой любимый друг и созвучия уже давно.

Я хочу поделиться с тобой самым важным для меня событием в жизни — меня приняли в комсомол!

Мне уже 16, но я не стыжусь, что так поздно (книги мои одноклассники прикололи на грудь комсомольский значок еще в 7-м классе) встала в ряды комсомола. Мой дед — комсомолец 20-х годов, отец — комсомолец военных лет. Вступая в комсомол, они знали и видели свою цель.

Теперь я ее вижу тоже. Раньше — нет. Так имела ли я право встать под гордое знамя, которое так сквозь несли наши деды и отцы?

А теперь поняла, почувствовала, что иначе нельзя. По-настоящему прочувствовала те слова, которые пишутся в заявлении: «Хочу быть в первых рядах тех, кто строит коммунизм, продолжать дело отцов и дедов». Когда брали бланк заявления, рука дрогнула — достойна ли? А на комитет, в райкоме поняла: только здесь мое место, здесь, плечом к плечу с миллионами других советских девушки и юношей, в нескорушимо гвардейской армии молодых бойцов. В рядах той армии, в которой сражались Павла Корчагин, строители ДнепроГЭС и Комсомольска-на-Амуре, Зоя Космодемьянская, молодогвардейцы, молодые целинники. Много горячих комсомольских сердец пробили пули врагов, много гордых комсомольских имен вписано золотыми буквами в историю нашей Родины. Нам не страшно вставать в общую строй с героями, мы знаем: наше место рядом с ними, мы их сменя. На место павших встают новые бойцы.

Нас, комсомольцев, — армия; партия — наш командир. Она вела молодежь на штурм Зимнего, в атаки на белогвардейцев, в бой за Магнитку, на огрызающийся пулеметными очередями рейхстаг, на целину и новостройки Сибири. Это партия устами великого Ленина говорила с нами на III съезде РКСМ.

В восемнадцатом году нас было несколько тысяч, сейчас нас около тридцати двух миллионов, мы

огромная армия, подразделения которой разбросаны по всей стране.

Раз в четыре года лучшие из лучших комсомольцев собираются на свой совет — съезд, и посыпаем их туда мы.

Шестнадцать раз уже собирались они на такие съезды. Соберутся на свой совет и в семнадцатый раз 23 апреля этого года.

Это первый съезд, который я встречаю комсомолкой, и он будет таким же знаменательным, как и те, которые были до него. Ведь он соберется в определяющий год пятилетки!

Снова наши возможки наметят направление сегодняшнего главного удара, а вернувшись со съезда, расплачут нам о задачах, которые ставят партия перед нами, ее молодыми помощниками.

Я знаю: мои товарищи-комсомольцы, несущие свою трудовую вахту на полях, на заводах, те, кто непосредственно участвует в строительстве коммунизма, берут на себя социалистические обязательства работать сегодня лучше, чем вчера, а завтра лучше, чем сегодня.

Моя трудовая вахта в школе. Ленин говорил, что самая главная задача молодежи — учиться. Я не буду кричать душой и обещать: «Буду учиться только на круглые пятерки!» По всем предметам не смогу. Но у каждого человека есть заветная мечта. Есть она и у меня. Она пока далека и трудна, и я обещаю «Юности»: сделала все, чтобы моя мечта стала явью. Мечта не бывает простой и легкой. Тогда она не была бы мечтой.

Но у нас у всех есть и общая мечта, заветная цель. Мы стремимся к ней и не боимся, что будет трудно. Борьба не закончена, сегодня наш народ берет новые высоты, в этой борьбе и мы. И мы не ищем и не хотим покоя.

И даже тогда, когда свершится мечта человечества и коммунизм будет построен, мы все равно не успокojимся, мы будем стремиться вперед, потому что мы комсомольцы.

Вот и все, о чём я хотела написать тебе, «Юность». Просто поделись своими мыслями. А причиной этому маленький красный значок с золотым профилем Ленина.

Марина КАСИМОВА

Москва.

## Е. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВ

Первый секретарь ЦК ВЛКСМ  
отвечает  
Марине Касимовой



арина!

С волнением, радостью и гордостью прочитал твоё искреннее письмо. Уверен, что чувства и мысли, выраженные в нем, разделяют миллионы твоих сверстников. Духовный мир юношей и девушек формируется под влиянием нашей советской действительности, школы, семьи, под воздействием примера старших. В комсомол их приводят искреннее стремление быть полезным Родине, партии.

Для каждого поколения приходит тот час, когда оно с особой силой ощущает свою причастность к судьбам Родины. Вступление в комсомол означает для юношей и девушек, что настало время взростать и мужаться, встать в общий строй активных борцов за коммунизм.

Стремление отстоять и приумножить завоевания революции вело в комсомольские ряды молодежь двадцатых, тридцатых годов. Вместе с комсомольским билетом, вспоминал Николай Островский, юноши и девушки получали винтовку, двести патронов и уходили на фронты гражданской войны. Став комсомольцами, молодые труженики вместе с коммунистами превращали ленинскую мечту в социалистическую действительность, отправляясь к днепровским крачкам, в степи Зауралья, в дальневосточную тайгу, туда, где выросли потом первенцы нашей индустрии — ДнепроГЭС и Магнитка, «Уралмаш» и Сталинградский тракторный, Кузнецк и Комсомольск-на-Амуре, они отправлялись на строительство Московского метро.

Перед самым тяжелым боем с белофиннами молодой красноармеец Юрий Никулин, ныне всемирно известный народный артист СССР, в заявлении писал: «Если погибну, прошу считать комсомольцем».

В суровые годы Великой Отечественной войны на фронте и в тылу в комсомол вступило около 12 миллионов человек. Это ли не лучшее доказательство стремления молодежи быть на переднем крае огня, стать гвардейцами тыла?

Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина, Саша Чекалин, Александр Матросов, Юрий Смирнов, Николай Гастелло, Марите Мельникайте, молодогвардейцы... Достаточно назвать эти имена, и перед нами во всем величии встает беспримерный подвиг комсомольцев, советской молодежи в дни тяжелейших испытаний.

## ВАШ ГЛАВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ОРИЕНТИР

Уходя в атаку, Винцас Даукантас в своем комсомольском билете написал: «Клянусь тебе, мой комсомольский билет, драться до тех пор, пока будешь биться мое сердце, безжалостно мстить гитлеровцам за кровь, муки и унижение наших братьев и сестер. Если погибну в бою и ты будешь облит моей кровью, будь свидетелем, что я честно сдержал свою клятву».

В послевоенный период комсомольцы восстанавливали разрушенное войной хозяйство, поднимали целину. Олицетворением нового поколения молодежи, взращенного партией, стал выдающийся сын нашей Родины, воспитанник Ленинского комсомола, молодой коммунист, легендарный Юрий Гагарин.

Комсомол — авангард советской молодежи, надежный резерв и боевой помощник Коммунистической партии. Вступая в его ряды, юноши и девушки берут на себя обязанность быть на переднем крае всенародной борьбы за претворение в жизнь предназначений партии. Комсомол сегодня — это труженик в рабочей спецовке, механик и хлебороб, молодой ученик и инженер, воин Советской Армии, писатель и педагог, студент и школьник. Это тридцать три миллиона единомышленников, обретающих гражданскую и политическую зрелость в буднях девятой пятилетки.

Годы юности — это годы поиска призвания, своего места в жизни. Юношам и девушкам нашей страны свойственно стремление к самостоятельности, желание самоутвердиться, проверить свои силы и способности. И партия, комсомол открывают широкие возможности и перспективы для активного действия каждому, для проявления инициативы, творчества.

Комсомол свято хранит верность революционным, боевым и трудовым традициям партии и советского народа. В сердцах и делах комсомольцев, всей молодежи живут подвиги отцов и старших братьев, совершенные на фронтах войны, на стройках первых пятилеток. Юность страны счастлива быть продолжателем великого революционного дела. Подлинную школу жизни и борьбы молодое поколение нашей страны проходит сегодня на комсомольских ударных, в цехах заводов и фабрик, на колхозных и совхозных полях, в научных и студенческих лабораториях — там, где проходит передний край созидания коммунизма.

Это КамАЗ и Усть-Илим, новостройки Сибири и Дальнего Востока, Севера, бескрайние поля нашей Родины, нефтяная и газовая целина Тюмень...

Сегодня всему нужны энергичные молодые руки, задор и оптимизм, пытливость и новаторство. В характере комсомольцев наших дней та же революционная страсть и твердость воли, та же беззаветная преданность делу партии. Молодой герой нашего времени — человек высоких политических и моральных качеств, неутомимый труженик, советский патриот, пролетарский интернационалист.

Герои нашего времени — рязанский комсомолец Анатолий Мерзлов, спасший от огня хлеб ценой своей собственной жизни, новосибирский школьник, delegat XVII съезда ВЛКСМ Михаил Маршуков, проявивший мужество и героизм на своем посту у священного Вечного огня.

Герои нашего времени — Сергея Агапова, слесарь-собирщик Кировского завода, лауреат премии Ленинского комсомола, выполнивший свою личную пятилетку в марте прошлого года, Герои Социалистического Труда свекловод Устинья Лендюк и членов Кетееван Гогитидзе, прославленная гимнастка Людмила Турищева, полтавская школьница Александра Гусак, бригадир ученической производственной бригады, награжденная орденом «Знак Почета», Надежда Павлова, ставшая обладательницей высшей награды международного конкурса артистов балета. Такие люди — гордость и слава комсомола.

Сердцем восприняли юноши и девушки слова Обращения Центрального Комитета КПСС к партии, к советскому народу. 48 миллионов молодых строителей коммунизма приняли участие во Все-союзном комсомольском собрании «Ударным трудом и отличной учебой озанеменуем определяющий год пятилетки». Ответ молодежи на призыв партии — это вдохновенный творческий труд на всех участках коммунистического строительства. Уже сегодня более десяти тысяч молодых рабочих, триста молодежных коллективов выполнили задания девятой пятилетки.

Каждый день в комсомольские ряды приходят новые и новые тысячи. Свыше 17 миллионов юношей и девушек вступили в комсомол после XVI съезда ВЛКСМ. Это — замечательное пополнение. Среди них — молодые труженики промышленности и сельского хозяйства, молодые специалисты, работники науки, культуры и искусства. Мы верим, что они принесут славные традиции рабочего класса, колхозного крестьянства и народной интеллигенции, посвятят свой ударный труд, мастерство и поиск делу успешного выполнения заданий пятилетки, внесут свой вклад в развитие науки и техники, создадут яркие образы своих современников.

В комсомольском пополнении — большой отряд учащихся школ и профессионально-технических

училищ. Мы желаем им хорошо и отлично учиться, всегда помнить, что знания, высокое профессиональное мастерство — это наши завтрашние успехи, это фундамент новых трудовых побед, научных открытий, смелых технических решений.

Дорогие друзья!

К вам обращен мудрый завет великого Ленина «Учиться коммунизму». Изучая ленинское наследие, проникаясь глубиной «мыслей, дел и слов Ильича», участвуя в Ленинском зачете, воспитывайте в себе качества активиста-общественника, стремящегося постоянно приносить радость людям. Учитесь у ваших отцов и матерей — коммунистов, у ваших старших сестер и братьев — комсомольцев принципиальности, настойчивости в достижении цели. К каждому из вас обращается Центральный Комитет нашей партии, выражая уверенность, что «молодежь с новой силой подтвердит свою верность ленинским заветам, делу Коммунистической партии, ознаменует четвертый год пятилетки ударным трудом и отличной учебой».

Ваш комсомольский билет — это мандат на право быть там, где трудно, где нужно, подчинять свою жизнь интересам народа, делу родной партии.

Сегодня Ленинский комсомол, вся советская молодежь готовятся к знаменательным событиям в своей жизни — XVII съезду ВЛКСМ и 50-летию со дня присвоения комсомолу имени В. И. Ленина. Эта подготовка — боевой смотр наших рядов, экзамен на политическую зрелость, верность ленинским заветам, на преданность коммунистическим идеалам.

Выступая на торжественном Пленуме ЦК ВЛКСМ, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Леонид Ильич Брежнев говорил: «Комсомолия — какая это замечательная политическая школа! Как много она дала всем нам! Сколько активных борцов за дело коммунизма, сколько знаменитых на всю страну мастеров индустриального и сельскохозяйственного труда, сколько выдающихся деятелей нашей партии и государства, выдающихся ученых, конструкторов, полководцев, корифеев литературы и искусства! Вышло из комсомольской школы! И сейчас, когда наш комсомол празднует свой полуторовой юбилей, мы все говорим ему с волнением в сердце: спасибо тебе, славное знамя нашей боевой юности! Спасибо тебе, вечно бурлящий революционным энтузиазмом, задором новаторства, беззаветной энергией юношеского союза молодых ленинцев!»

Пусть каждый, вступивший в комсомол, пройдет эту замечательную политическую школу, школу коммунизма.

Пусть девиз «Учиться, работать и бороться по Ленину» будет главным жизненным ориентиром каждого комсомольца, каждого юноши и девушки.

# Роберт Рождественский



## Мотив

Утро проползло по крышам,  
все дома позолотив...  
Первое,  
что я услышал  
при рожденье,  
был мотив.  
То ли древний,  
то ли новый,  
он в ушах моих крепчал  
и какон-то долгой нотой  
суть мою  
обозначал.  
Он меня из сердце тронул,  
он неповторимым был.  
Я его услышал.

Вздрогнул.  
Засмеялся  
и —  
забыл!..  
И теперь никак не вспомню.  
И от этого грущу...

С той поры,  
как ветра в поле,  
я всю жизнь  
мотив ищу.  
На зимовые стыни лютом,  
охюю на вираже.  
И прислушиваюсь к людям,  
к птицам,  
к собственной душе.  
К голосам заря багряным,  
к гулу с четырех сторон.  
Чувствую,  
что где-то рядом,  
где-то очень близко  
он!..  
Зебкии, будто небо в звездах,  
неприступный, как редут.  
Ускользающий,  
как воздух.

Убегающий,  
как ртуть.  
Плеск оркестров.  
Шорох саней.  
Звон бокалов.  
Звон реторт...

Вот он!  
Вроде бы тот самый!  
Вроде бы.  
А все ж не тот!  
Тот я сразу же узнаю.  
За собою позову...

Вот живу и вспоминаю...  
Может,  
этим и живу.



Все хочу я увидеть.  
Хочу испытать.  
Все, кроме смерти.  
И услышать все шепоты мира  
и все его грохоты.  
Но даже и то, что небесный Госплан  
отпустил мне по смете,  
я честно приму.  
И вместе с друзьями  
потрачу до крохотки...  
Все желания могут исполниться,  
кроме самого яркого —  
колеса машины времени  
ржавеют — несмазанны...

А мне б  
откусить  
от того матросского «яблочки»!  
А мне бы  
почуять  
рукопожатье товарища «маузера»!..  
Это вовсе не кровь,  
это время в жилах играет.  
Пусты потом разберутся,  
кто гений,  
кто трус,  
кто воин.

Ведь не тогда человек умирает,  
когда умирает.  
А тогда, когда говорит:  
«Я собой доволен...»  
Я собой доволен...  
И можно готовить деньги,  
заказывать место на кладбище  
и траурный выезд...  
А в соседнем сквере  
кудахчат хорошо одетые дети.  
И не знают еще,  
что им досталась эпоха —  
на вырост!  
Мы об этом тоже не знали.  
Мы не верили, что состаримся.  
И что однажды

на сердце у каждого  
истина выясняется:  
никогда не бывает Счастье  
конечной станцией...  
...Потому-то и кружится этот мир.  
Потому он и движется.

## Альянде

Молчит убийца в генеральском чине.  
Блеснят штыки военного парада.  
На карте  
узкая полоска Чили  
кровоточит,  
как сабельная рана.

Уходит человек  
в века и в песню...  
О, как они убить его спешили!  
О, как хотели — «при попытке к бегству!..»  
Его убили  
при попытке к жизни.

## Барселонский рынок

Час домашних хозяек  
вступает в права.  
Час  
торговок озябших.  
Время  
их торжества.  
Круговая порука.  
Смешенье эпох...  
Здесь любая старуха  
считает, как бог.  
И блудет одаренно  
интересы свои,  
как посол  
отдаленной  
сверженной семьи...  
Час  
приветствий почетных  
на всех языках.  
Час подсчетов.  
Подсчетов  
до боли в висках!  
Час проклятий плаксивых.  
И боязни.  
И вранья.  
[Может, после  
«спасибо»  
все же скажут мужья!..]  
Выбор  
мяса для супа —  
основа основ.  
И тяжелая сумка,  
как собака у ног...  
Полы славы и браны.  
Схватка  
судеб и цен.  
Весь базар —  
будто странный  
вычислительный центр.

## Две песни моего друга

### 1

Чай возник из блюдца.  
Мир из хаоса возник.  
Дождь — из тучи.  
А из утра — полдень...  
Ах, как много в жизни мы читаем разных  
книг!  
Ах, как мало  
в результате помним...  
Вот она — река,  
да нечем горло промочить.  
Что-нибудь от этого случится...  
Ах, как нам приятно  
окружающих учить!  
Ах, как стыдно  
нам самим учиться!..  
Глупые раздумья можно шляпой прикрыть,  
отразиться  
в зеркалах и в лунах...

Ах, как хорошо мы  
научились говорить!  
Ах, как плохо  
научились слушать!..  
Истину доказываем, плача и хрюя.  
Общими болезнями болеем...  
Ах, как замечательно  
жалеем мы себя!

Ах, как плохо  
мы других жалеем!

### 2

Снова сердце бьетсяшибче молодого  
на пределе современных скоростей.  
Только жалко,  
что для этого мотора  
не нашли пока что  
запасных частей.  
Может быть, достичь мы все-таки  
сумсем,  
знаменитый доктор  
скажет, как споет:  
«А давай —  
для начала —  
сердце сменим!  
Ваше, старое,

от жизни отстает...»  
Может, так оно когда-нибудь и станет.  
Может, так оно и будет.

А пока  
люди ходят по планете.  
И мечтают.  
И стареют.  
Иглядят на облака.  
Задыхаются от горя и от счастья.  
О бессмертье меж собой не говорят...  
А хорошие сердца  
болеют чаще.  
За себя и за других  
они болят.



Надо ж, почудилось.  
Эка нелепость!  
Глупость какая!..  
Два Дед-Мороза  
садятся в троллейбус.

Оба —  
с мешками...  
Рядышком  
вnimбс из снежного пары  
с удалью злою  
Баба-Яга посреди тротуара  
 машет мстилою.  
На гору  
с видом таинственно-мудрым  
лезут трамваи...  
Кто-то сказал,  
что в кондитерской утром  
сказку давали...  
Вечер,  
заполненный чудесами,  
призрачно длится.  
Красная шапочка  
хжет под часами  
звездного принципа...  
И, желваки обозначив на скульях,  
выкусив водки,  
ходя  
в дубленых овечьих шкурах  
серые волки.



Все начинается с любви...

Твердят:

«Вначале

было

слово...»

А я провозглашаю снова:

Все начинается

с любви!..

Все начинается с любви:

и озаренье,

и работа,

глаза цветов,

глаза ребенка —

все начинается с любви.

Все начинается с любви,

С любви!

Я это точно знаю.

Все,

даже ненависть —

родная

и вечная

сестра любви.

Все начинается с любви:

мечта и страх,

вино и порох.

Трагедия,

тоска

и подвиг —

все начинается с любви!..

Весна шепнет тебе:

«Живи!..»

И ты от шепота качнешься.

И выпрямишься.

И начнешься.

Все начинается с любви.

## Баллада о телефонных звонках

Центропункт — диспетчерская  
городской медицинской службы

Наверное, похожи номера,

А может,

техники недосмотрели.

Но только незадолго до утра  
я был разбужен  
телефонной трелью...

— Скажите, это центропункт?

Алло!..

[Я трубку вешала в молчанье.  
Я даже не могу ответить зло.

Я сплю.

Я ничего не отвечаю...】

Звонок, и все сначала:

— Центропункт!

Опять ошибка!

Это невозможно!..

Сна не было уже.

А был испуг

пред всем, что непонятно

и тревожно...»

Звонки ломились,

будто в дверь — плечом.

Как настоящий ветер —

в сновиденья...»

— Аппендицит!..

— Да я-то тут при чем!..

— Потеря крови!..

— У кого потеря!..

По комнате шаталась темнота,

она была пугающе громадна...»

— Ранение в районе живота!..

— Алло!

Необходим реаниматор!..

[Ввалилась трубка

из дрожащих рук.]

— Открытый перелом!..

Нужна машина...»

...Да погоди, не горячись.

А вдруг

все правильно.

И это не ошибка.

Тебе поверили,

Тебя нашли.

Узнали номер.

Выяснили имя...

Ты ж сам кричал,

что боли всей Земли

отныне станут

навсегда твоими!..

Что ж, если так,

то слово за тобой.

Барахтайся в нестихотворных темах.

Она тебя зовет —

чужая боль.

Реальная,

Людская,

Без подделок...

Скажи, что повзрослев.

Что не здоров.

Давнишнюю строку

возвьми обратно...

Но я бужу

знакомых докторов.

Я что-то объясняю им

невнятно.

И остаюсь

в гудящей тишине.

И чувствую натянутые нити...

Все правильно.

Все так,

Звоните мне!

Ошибка нет.

Звоните мне!

Звоните!





ПОВЕСТЬ

# ПОЗАВЧЕРА И ПОСЛЕЗАВТРА

— Я хочу, чтобы ты не повторял в жизни моих ошибок! — часто говорит мама.

Но чтобы не повторять ее ошибок, я должен знать, в чем именно они заключаются. И мама мне регулярно об этом рассказывает.

Об одной маминой ошибке мне известно особенно хорошо. Я знаю, что мама «погибла для большого искусства». Зато в «малом искусстве» она проявила себя замечательно!

«Малым искусством» я называла самодеятельность. Папа спорит со мной.

— Нет больших ролей и нет маленьких! Так утверждал Станиславский. И ты не можешь к нему не прислушаться, — сказал как-то папа. — В Москве, рядом с Большим театром, находится Малый. Но он так называется вовсе не потому, что хуже Большого.

— Но ведь мама сама говорит, что погибла для большого искусства, — возразил я.

— Она имеет право так говорить, а ты нет. Искусство — это искусство. И талант — это талант!

Папа считает, что почти все люди на свете талантливы. В той или иной степени... Все, кроме него. Но особенно талантлива мама!

С годами я поняла, что в «малом искусстве» можно проявить себя гораздо полнее и ярче, чем в «большом». Ну, например, профессиональные драматические артисты — это драматические артисты, и все. Мама же успела проявить себя и в драматическом кружке, и в хоровом, и даже в литературном.

Иногда, после самодеятельного концерта, мама спрашивала отца, что ему больше всего понравилось. Он пытается спеть, но из этого ничего не выходит, потому что у папы нет слуха. Все песни он исполняет на один и тот же мотив.

У нас дома никогда и ничего не запирают на ключ. Ничего, кроме ящика, в котором папа хранит альбомы, «Мама в ролях» — написано на одной обложке, «Мама поет» — написано на другой. «Мама в поэзии» — написано на третьей.

Мы довольно часто переезжаем из города в город. Потому что папа — строитель, он «наращивает мощности» разных заводов. Мы приезжаем, наращиваем и едем дальше.

Но прежде чем перебраться на новое место, папа обязательно узнает, есть ли там клуб или Дом культуры. Когда выясняется, что есть, он говорит:

— Может ехать!..

Переезжать с места на место — нелегкое дело. Но мама делает вид, что это очень приятно.

— Едешь, там есть хоровой коллектив! — сказала она однажды папе. — А я так давно не пою!

— Кто виноват, что я умею делать только то, что я делаю? — словно бы извинился отец.

— Путешествовать гораздо лучше, чем сидеть на одном месте, — сказала мама. — Об этом пишут в стихах и поют песни.

И хотя папа прекрасно знал, что мама успокаивает его, он поверил стихам и песням.

Вот уже около трех с половиной лет мы живем в большом городе, где папа наращивает мощности металлургического завода. Прежде чем переехать, он, как всегда, навел справки насчет Дома культуры. И выяснил, что при нем активно работают все кружки, какие только существуют на свете. И что «детская работя» там тоже прекрасно нала-женя.

— Я не хочу, чтобы ты повторил мою ошибку и приобщился к миру прекрасного слишком поздно, — сказала мне мама. — Нора!.. Что ты предпочитаешь: пение или танцы?

Я выбрал пение.

Через несколько дней после приезда мама повесила меня в Дом культуры строителей. Предварительно мы узнали, что дирижирует хором «замечательный педагог», которого зовут Виктором Макаровичем.

В большой комнате, на дверях которой было написано «Малый зал», мы увидели девочку. Поползжив на черную-пречерную крышки рояля ноты, она что-то тихонько мурлыкала.

— Где найти руководителя хора? — спросила мама. Девочка захлопнула ноты, и я прочел на обложке: «Иоганн Себастьян Бах». — Они поют Баха! — успела шепнуть мне мама. И спросила: — Где найти Виктора Макаровича? Вы нам не подскажете?

Девочку, которая общалась с Бахом, мама называла на «вый».

— Он в коридоре, — ответила девочка. — Идемте... Я вас провожу.

Мы вышли в коридор, увешанный фотографиями. На стенах пели, плясали, изображали купцов из пьесы Островского.

Мама оглядывала Дом культуры так, как, наверное, опытный морской пилот, повидавший на своем веку много разных кораблей, осматривает новое судно, на котором ему придется поплавать.

Я чувствовал, что мама боролась с собой. Ей не хотелось никому удивляться, потому что опытные морские волки не удивляются. Но в то же время она хотела заразить меня своей любовью к самодельному искусству и потому время от времени поклонивалась Дому культуры строителей по плечу:

— Интересно... Это они молодцы! Неплохо придумали.

Девочка с Бахом под мышкой завернула за угол, где была как бы окраина коридора, заканчивавшаяся двумя туалетными комнатами.

— Вот он, — сказала девочка. — Прягает!..

Худощавый, седой человек перепрыгнул через одного малыша, прятавшего спину, и сел на спину второму. Тот поднялся, а человек прятнулся и встал на его место.

10

— Что это... он делает? — спросила мама.

— Играет в чехарду, — объяснила девочка. И, прижав к себе «Иоганна Себастьяна», ушла.

Мы подошли к невысокому пожилому человеку, через которого в этот момент перепрыгивали. Лицо у него было такое, будто он занимался своим самым любимым делом.

— Простите, пожалуйста... Вы Виктор Макарович? — неуверенно спросила мама.

Все еще пригнувшись, он взглянул на нее снизу вверх.

— Да, это я. У нас тут... разминка.

— Я понимаю, — сказала мама, будто все знакомые ей дирижеры любили играть в чехарду. — Мой сын хотел бы записаться к вам в хор.

— Прекрасно! — воскликнул Виктор Макарович, точно я был знаменитым певцом и он давно уже ждал моего прихода. Потом, приняв нормальную позу, он спросил: — Как тебя зовут?

— Миша Кутусов...

— Прекрасно! — воскликнул Виктор Макарович. И вдруг как-то смущаясь, стал заправлять в брюки рубашку, которая вылезла оттуда, когда он прыгал.

Мы с мамой оглянулись и увидели строгую женщину, с очень молодыми и красивыми волосами. Густые, немного вьющиеся, они были собраны в тяжелый пучок.

Есть лица, которые совсем не напоминают о своем прошлом. А это как бы все время напоминало.

— Не пора ли нам начинать? — спросила женщина.

И я сразу понял, что она тоже дирижирует — всем хором или одним только Виктором Макаровичем. Точно я в первый момент определить не сумел.

Почувствовав это, Виктор Макарович сообщил:

— Наш аккомпаниатор и дирижер Маргарита Васильевна...

— Второй дирижер, — пояснила она. Словно хотела сказать: «Не нужно преувеличивать мои звания, потому что не в звания дело!»

— А вот Миша хочет записаться в наш хор, — сказал ей Виктор Макарович.

В отличие от него Маргарита Васильевна не восхлинула, что это прекрасно. Она удивленно спросила:

— Сейчас?! В часы репетиций?

— Но ведь нам же нетрудно его послушать? Остальные пусть еще отдохнут.

— Ну, если вы так считаете...

Маргарита Васильевна повернулась и пошла к Малому залу. Виктор Макарович догнал ее и стал на ходу не то извиняться, не то что-то доказывать. При этом он тайком, у нее за спиной, несколько раз махнул нам: дескать, не отставайте!

Мы вошли в Малый зал.

— Возьми себя в руки, — шепнула мама.

И мне показалось, что я потерял голос.

Маргарита Васильевна села за рояль, который блестел, как черное зеркало. В его крышки я увидел свое лицо и лицо Виктора Макаровича. Мама сказала чуть-чуть в стороне, подчеркивая этим, что она меня только сопровождает.

Я подумал, что рояль в таком блестящем порядке, потому что за ним следует Маргарита Васильевна, у которой все было в порядке: и руки, и платье, и волосы.

— Значит, ты у нас Миша? — сказал Виктор Макарович.

— Миша Кутусов.

— Прекрасно! Почти Кутузов!..

Я и сам не раз думал, что фамилия наша когда-то

была Кутузов, но папа или какой-нибудь его пре-  
док (такой же, как он!) из скромности изменил пя-  
тую букву.

— Спой что-нибудь, Миша,— сказал Виктор  
Макарович.

Мама предупреждала, что я должен буду повторять за руководителем хора разные музыкальные фразы. Но он попросил меня спеть.

— Он дома так часто поет! — сообщила мама. Ходят в действительности у нас дома пела только она.

— А что ты любишь петь больше всего? — спросил Виктор Макарович.

— Больше всего? — повторила мама. — Из классики? Или из современного? Он поет и то и другое.

Накануне мы отрепетировали любимую мамину песню «Аист» и песенку мальчиков из «Пиковой дамы».

— Спой что-нибудь из Чайковского, — предложила мне мама таким тоном, словно мне ничего не стоило спеть что-нибудь и из Шуберта, и из Мусоргского, и из Римского-Корсакова. Но вот хотят бы из «Пиковой дамы!» Песенку мальчиков...

Маргарита Васильевна, казалось, только и ждала этой фразы: она сразу ударила по клавишам. Я запел. И тут же остановился.

— Лучше про аиста, — возразил я.

Маргарита Васильевна, не дав мне опомниться, сразу же заиграла. У меня хватило духу на первый куплет.

— Может быть, лучше без аккомпанемента? — точно извиняясь перед Маргаритой Васильевной, предложил дирижер хора.

— Как вам будет угодно, — сказала она.

Я понял, что без аккомпанемента мой голос будет совсем уж беззащитным и одиноким. Со страхом громко, будто концертанс, объявил:

— Бизе! Детская песенка из оперы «Кармен»!

Эту песенку мы как-то разучивали на уроке пения в школе.

— Правильно! — воскликнул Виктор Макарович. — Оперу «Кармен» написал Жорж Бизе... И, обратившись к Маргарите Васильевне, добавил: — Он любит музыку!

Она негромко хлопнула крышкой рояля, словно поставила точку.

— Мы с вами никогда не обманываем детей, Виктор Макарович. У мальчика нет ни слуха, ни голоса. Ни чувства ритма!

«Весь в отца!» — сказал я себе.

Повернувшись к маме, Маргарита Васильевна повортилась:

— Ни голоса и ни слуха! Но от этого не умирают. Мама взяла меня под руку и гордо выпрямилась.

— Не волнуйтесь, пожалуйста, — поспешил успокоить ее Виктор Макарович. — Голос у него, безусловно, есть...

— Голос и слух есть у каждого человека. Кроме, конечно, глухонемых! — объяснила Маргарита Васильевна.

Мама опять выпрямилась.

Виктор Макарович остановил ее: кажется, ему не хотелось со мной расставаться.

— А ну-ка, произнеси еще раз «Бизе!» И так дальше...

Я произнес.

Виктор Макарович победоносно взглянул на свою помощницу:

— Слыши! А вы говорите: «Нет голоса». Нам ведь нужен ведущий программу — мальчик с открытым и приятным лицом!

Мама застегнула мою куртку на все пуговицы.

— Вы согласны, чтобы он стал ведущим? — спросил Виктор Макарович.

— Ведущим? Согласна, — ответила мама.

Сама она на следующий день записалась в литературный кружок, поскольку в тот период сочиняла стихи.

## 2

**П** о профессии мама — бухгалтер. И не простой бухгалтер, а главный! Слово «бухгалтер» маме не нравится, и она называет себя «финансистом».

— Мама — талантливый финансист! — говорит папа.

Очень давно — кажется, до моего появления на свет — что-то сказали о маме: «Финансисты поют романсы». Мы переехали с места на место — и это длинное прозвище загадочным образом следовало за нами. Словно кто-то сообщал о нем по радио или по телефону.

— Ты понимаешь, — объяснил мне отец, — мама талантлива во всем, за что бы она ни бралась. Абсолютно во всем! Это одаренная натура. Такие натуры типичны для Руси... Ну, вспомни хотя бы Бородина или Шаляпина. Один по воскресеньям сочиняет музыку, а другой между делом великолепно рисует. Для них это тоже было как бы самодеятельность!

Отец говорил тихо. Он считает себя не вправе повышенять голос. От этого слова его кажется очень продуманными и убедительными. Когда человек говорит громко или кричит, я всегда думаю, что он это делает сторчья, что голос неточно передает его мысли и чувства.

О маминых талантах отец говорит почти шепотом, будто раскрывает какую-то священную тайну.

Мама действительно, как я уже говорил, и своей бухгалтерией руководит, и поет, и сочиняет стихи... Она умеет чинить телефон и дверной замок, если они портятся.

Есть у мамы еще одна удивительная особенность... Она помнит имена, отчества и фамилии всех сослуживцев, с которыми когда-либо работала, всех наших дальних и близких родственников. Она помнит все важные даты в жизни этих людей: когда родились, когда поженились... Эти даты записаны у мамы в особом блокнотике, в который она почти никогда не заглядывает.

— Уникальная память! — тихо восхищается папа.

И всех этих людей мама поздравляет с их личными праздниками и с общими торжествами. Перед 7 ноября, 1 Мая и Новым годом мама до глубокой ночи просиживает над горой поздравительных открыток. Ей отвечают. Правда, не все... Но и тем, кто не отвечает, мама продолжает писать.

— Не подумай только, что это бухгалтерская до-  
точность, — объяснял мне отец. — Они живут в ее сердце... А не просто в памяти. Понимаешь?

У папы есть другая особенность: он любит восторгаться людьми. А в некоторых просто влюбляется.

На строительстве металлургического завода папа влюбился в Лукьянёва. Это заместитель начальника стройки.

— Одаренная натура. Творческая личность! — говорил отец.

У отца тоже есть прозвище: «Тайный советник». Его придумала мама. И только она его так называет.

С отцом, и правда, часто советуются — главным образом одаренные личности и творческие натуры.

Лукьянин же советовался по телефону то с отцом, то с мамой.

— Ты заметил: он здоровается только с тем, кто сму на этот раз нужен? — спросила как-то у отца мама.

Так как я не был нужен Лукьянову никогда, он со мной вообще не здоровался.

— Представь себе масштаб его забот! — тихо воскликнул отец. — Просто нет времени на лишнее слово, на лишнюю фразу.

— Он хоть раз спросил, как ты себя чувствуешь? Лицо моим здоровьем он не интересовался ни разу.

— У него нет времени на этикет. Но если бы мы заболели, он бы помог. Не сомневаюсь.

— А почему он не приходит к нам в гости? — спросил я. Мне было интересно посмотреть на Лукьянова.

— В наш век телефон все чаще заменяет живое человеческое общение... — объяснила мне мама.

— Ну, в том, что в сутках всего двадцать четыре часа, Лукьянин не виноват, — возразил отец.

— Нет времени! — задумчиво произнесла мама. — Это правда... Но нам держится струйка!

— Ну, почему же? — не согласился отец. — У нас много одаренных людей... Он назвал несколько имен и фамилий. И, обратившись к маме, добавил: А ты сама? Ни одно правительство не может обойтись без министра финансов!

Мама как будто не услышала последней фразы.

— Лукьянин — голова! — сказала она. — На лету схватывает.

— При этом он советуется, звонит... И всегда смотрит вперед! — согласился отец.

Действительно, разговаривая с Лукьяновым, папа и мама то и дело повторяли:

— Вы правы: это пройденный этап. Надо смотреть в будущее!

Лукьянин даже приснился мне однажды с подзорной трубой в руках: он разглядывал, что делается там, впереди.

Я не влюблюсь в людей так часто, как папа. Но одного человека я любил уже больше трех лет. Это был дирижер нашего хора Виктор Макарович.

Взрослые люди утверждают, что трудно объять, за что именно любишь человека. Но я бы, мне кажется, мог объяснить...

Во-первых, он раньше всех заметил, что у меня открытое и приятное лицо. Во-вторых, он умел показывать фокусы, играть не только в чехарду, но вообще во все игры. И обязательно побеждал!

Директора Дома культуры, которого мы прозвали Дирдомом, он обыгрывал на билльярде. Диридор очень нервничал и опправдывал свои поражения тем, что к нам вся культура.

«Если бы Лукьянин проиграл Виктору Макаровичу, — подумал я, — он бы, наверное, сказал, что «на нем вся струйка». Неплохо устроились!»

Я продул Виктору Макаровичу несколько партий в настольный теннис. После чего мне сообщили, что в обыкновенный теннис он играет гораздо лучше, чем в настольный.

Однажды, когда Виктор Макарович обыграл в шахматы девочку из младшей группы нашего хора, я услышал, как Маргарита Васильевна сказала:

— Ну, ей-то вы могли бы и проиграть!

— Зачем унижать ее! — ответил Виктор Макарович. И, испугавшись, что Маргарита Васильевна обидится на него, стал объяснять: — Вы же сами говорите, что детей следует уважать... И нельзя обманывать!

С маленькими участниками нашего хора он любил играть в прятки. И они никогда не могли его отыскать.

— У меня и фамилия-то для игр подходящая: Караваев! — говорил он. — Каравай, каравай! Кого хочешь, выбирай...

Только одну игру Виктор Макарович отверг прямо у меня на глазах. Он не захотел играть в поддавки.

— Это какая-то антигра! — сказал он. — Победа состоит в поражении... Стремиться к тому, чтобы тебя уничтожили? Не понимаю.

У него на многое были свои особые взгляды. Вот, например, ему не нравилось слово «конферанс». Слово «ведущий» казалось ему нескромным. И он прозвал меня «объявляющей».

«Объявляющая» — так меня все и звали.

— Ты как бы разведчица, — говорил мне Виктор Макарович. — Ты первый начинаешь общение с залом. Твой голос звучит еще до того, как я взмахну рукой, до того, как зазвучит музыка... Ты должен задрать людей вниманием, интересом. Это очень ответственно! Ты как бы наша обложка. А обложка в книге — не последнее дело. Можно даже сказать, первое: с нее все начинается. Надо не просто произносить фамилии композиторов и названия песен, а голосом своим выражать отношение и к сочинителям и к его музыке... А чтобы иметь свое отношение, ты должен знать!

Виктор Макарович репетировал без пиджака. Он то и дело засовывал рубашку в брюки, как тогда, после игры в чехарду.

— Вы — хор! — напоминал он ребятам. — А что является синонимом слова «хор»? Кол-пек-тив! Я так считаю... Маргарита Васильевна, вы согласны со мной?

Она никогда не отвечала на эти его вопросы. Но он упорно продолжал задавать их.

— Никто не может жить на сцене как бы сам по себе. И в то же время каждый должен себя ощущать солистом. В том смысле, что нельзя прятаться за спину впереди стоящих. И за их голоса! В смысле чувства ответственности... каждый из вас солист! Вы согласны, Маргарита Васильевна?

Она склоняла голову, почти что укладывала ее на подставку для нот, которую, как я узнал, называют «пиогитром». Она беззвучно бродила пальцами по клавишам. Одним словом, всем своим видом показывала, что вопросы его ни к чему.

Особенно он переживал, когда нужно было петь без сопровождения, то есть без аккомпанемента Маргариты Васильевны. Такое пение называется красивым иностранным словом «а капелла». Тут уж он десять раз извинялся:

— Простите, пожалуйста, Маргарита Васильевна... Мы сейчас споем «а капелла». Чтобы вы отдохнули немного. Простите, пожалуйста...

Мне казалось, что он побаивается ее. «Не может же он ее до такой степени уважать!» — думал я. — Побаивается, наверное... Есть за что! Ведь это она обнаружила, что у меня нет ни слуха, ни голоса. Ни чувства ритма!»

Маргарита Васильевна называла нас по фамилиям. Я Виктор Макарович — по именам, хотя это было рискованно: одних только Сереж в коре было пять или шесть. Виктор Макарович поворачивал голову в сторону того, к кому обращался. Но мне казалось, что и без этого один Сережка отличил бы себя от другого: к каждому из нас Виктор Макарович относился как-то по-особому.

Например, кроме меня, в коре было еще два Миши. Но Мишенкой он называл только меня. Не знаю, почему... Может быть, потому, что только один

я во всем хоре не пел,— и он хотел своей нежностью как-то склонить этот мой недостаток.

И отчитывал он меня только наедине.

Ты исходи не из звучания фамилий, а из характера произведений. Ведь если тебя послушать, получится, что самый прекрасный композитор на земле — Орландо Лассо. Он сочинил очень колоритную песню «Эх», Не спорю... Но ты объясняешь его прямо-таки с упоением. А почему? Потому что красиво звучит: Орлан-до Лас-с-со! А фамилию «Бородина» произносишь так, между прочим. Почему? Может быть, потому, что у нас в хоре поет Люда Бородина? Стало быть, никакой экзотики! Это если... не заглядывать глубже. Запомни: имя творца создают его произведения. Вы согласны, Маргарита Васильевна? Прости... Ее же здесь нет... Запомни... Твои интонации должны незаметно, как бы исподволь давать характеристику произведения. Этаким полунамеком... Нельзя же абсолютно однозначно объяснять фугу Баха, и прелюдию Генделя, и «Песни о лесах» Шостаковича, и «Медленно» Рубинштейна. Но чтобы чувствовать, чем они отличаются друг от друга, ты должен знать!

И я продолжал сидеть на всех репетициях.

Мама считала, что хоть я и не пою, но пристальное внимание на репетициях меня «музыкально» развивает. Она была права. Кроме «Орланда Лассо», «попигря» и «а капелла», я узнал много других очень красивых слов. Ну, например, «солфеджио». Оказалось, что это — название урока, на котором все ребята поют по нотам. Я даже подумал, что не мешал бы и школьные уроки называть такими же красивыми именами: приятней было быходить в школу!

У нас в шкафу, на самом почетном месте, висит маминное «концертное» платье. В нем мама выходит на сцену, чтобы читать стихи или петь. Платые времена от времени перешивались, потому что оно должно, как говорят мама, шагать в ногу с модой.

«Шагающее платье»... Это образ, созданный мамой. На стройках, где мама с папой работали, были шагающие экскаваторы. А в шкафу висело «шагающее платье». Будни и праздники...

— Символично! — однажды тихо воскликнул папа.

Теперь рядом с концертным платьем, как бы рука об руку с ним, в шкафу висела и моя концертная форма: синие брюки и голубая куртка с золотой липкой на боковом кармане.

Вообще все в моей жизни стало более праздничным!

Соседи, встречая меня, спрашивали, когда будет следующий концерт. Наиболее интеллигентные учительницы, вызывая к доске, узнавали, не устал ли я накануне от репетиций. Если я не знал урока, то говорили, что устал. И меня отпускали на место... А после выступлений нашего хора по телевидению мне просто не давали прохода. Самые красивые девочки в школе, увидев меня, начинали ни с того ни сего хохотать. Это было приятно.

Все три с лишним года меня сопровождали аплодисменты и ослепляли прожекторами! И хотя Виктор Макарович предупреждал: «Это аплодируют Шостаковичу и лишь на пять процентов нам с вами!», — мне вполне хватало и этих пяти процентов.

После репетиций и после концертов я все время вертесь неподалеку от Виктора Макаровича, чтобы он заметил меня и спросил:

— Что, Мишенька, пойдем домой вместе?

Его никто не провожал в Дом культуры и никто не встречал. Он жил один. На той же улице, что и мы.

Я думаю, у него просто не хватило времени завести свою семью и своих детей, потому что утром он репетировал с младшей группой хора, днем — со

средней, а вечером — со старшей. Или наоборот... Так было всю жизнь. Значит, из-за нас, из-за наших песен он жил на свете один.

По малому залу Виктор Макаровичносился бодро и молодо. Когда же мы возвращались домой, он слегка прихрамывал, часто останавливался и просил меня не торопиться.

А говорил он все время о будущих программах; о том, что Маргарита Васильевна всех нас очень любит, но из педагогических целей не хочет этого проявлять; и о том, что я, выходя на сцену, не должен делать вид, будто преподношу залу какой-то подарок. Это уж по ходу концерта должно выясняться: преподнесли мы подарок или нет.

Он тоже, как и Лукьянин, все время смотрел вперед... В последнее время там, впереди, замаячили два отчетных концерта — один для юных граждан нашего города, а другой — для взрослых.

Думая об этих концертах, Виктор Макарович так волновался, что даже на улице заправлял рубашку в штаны.

### 3

Мама и папа не признают политики невмешательства. Поэтому, если мама задерживается на работе, папа сходит с ума:

— Наверно, она опять вступила в борьбу с хулиганами!

Стараясь успокоить отца, я вспоминаю, что у мамы в этот день занятия литературного кружка, который на самом деле нет.

А если отец задерживается, мама восклицает:

— Он опять помогает какому-нибудь новоявленному Эдисону!

Когда папа наконец возвращается домой, мама говорит примерно так:

— Нельзя столько времени уделять чужим дарованиям. Собственное уязвят!

— Не может уянуть то, чего нет, — отвечает отец.

— Помогать другим — это тоже талант! — возражает мама. — Но не самый рентабельный для семьи.

Мама часто употребляет привычные для нее бухгалтерские словечки.

— А сама-то ты разве не вмешиваешься, когда нужна помощь? Причем в гораздо более рискованных ситуациях. Хотя ты, женщина, могла бы пройти мимо.

— Чему ты учишь меня? — возмущается мама.

Они часто уговаривают друг друга «не вмешиваться». Во время таких разговоров то и дело звучит: «А ты сам?» «А ты сама?» «Ты бы не уважал меня, если бы...» «Ты бы не уважала меня...»

И оба продолжают бороться с «политикой невмешательства».

Иногда по вечерам у нас во дворе раздавались звуки музыки. Это играл Володька по прозвищу Мандолина. Он жил в соседнем подъезде. Отец и мама сразу же оказывались у окна: она — потому, что обожала самодельность, а он — потому, что не мог пройти мимо чужих дарований.

— будущий виртуоз! — сказала однажды мама.

— Почему будущий? — возразил отец.

Но многие жильцы встречали Володькину игру без восхищения. Особенно потому, что вокруг Мандолины всегда собиралась толпа.

— Концентрируется шпаны! — услышали мы с папой однажды.

— Почему, если много ребят собирается в школе, то это класс или отряд, а если во дворе, то это шпана! — спросил папа и покачал плечами. — До чего изменяет память! Детство свое и то забывает.

Возмущавшийся сосед очень любил обращаться за помощью к газетам.

— Всюду пишут о праве человека на тишину!

— Ну, если для вас музыка и шум — это одно и то же...

— Он уже мать свою уложил в больницу. Этот ваш музыкант!

— Как япон у ложить?

— Вы сначала узнайте, а потом уж заступайтесь! Кинув в сторону Мандолину, отец сказал мне:

— Надо бы переместить его на другую сценическую площадку! Но при чем тут больница? Не понимаю.

Через несколько дней я опять возвращалась из Дома культуры вместе с Виктором Макаровичем. И рассказал ему про Мандолину.

— По мнению папы, гибнет талант, — сказал я. Виктор Макарович ничего не откладывал в долгий ящик.

— Надо послушать. Приведи его завтра. Если это хорошо, определим его в струнный оркестр.

— Он не пойдет... Я уже предлагал.

— Отказался? Потому!

— Не знаю... Он вообще парень неразговорчивый,

— Неразговорчивый? Это — прекрасное качество. А где он живет?

— Рядом с нами. В соседнем подъезде.

— Ну, если Магомет не идет к горе...

Мандолины не было дома. Но если бы даже он был, все равно в первый момент его бы никто не заметил. Потому что в коридоре разыгралась сцена, которую невозможно было предвидеть.

Абсолютно лысый человек, у которого из-за отсутствия волос щеки, и подбородок, и лоб, и затылок — все сливалось во что-то однотонное круглое, голое и доброе, открытым нам дверь, нервно поправил очки и восхликал:

— Виктор Макарович!?

А Виктор Макарович поспешно заправил рубашку в штаны и восхликал:

— Неужели... Димуля!

Войдя в комнату, Димуля сразу стал что-то смахивать со стола, что-то накрывать, что-то прятать... Но Виктор Макарович не обращал на беспорядок никакого внимания. Он подбежал к стене и вспился глазами в фотографию, которая висела на ней.

— Это я! — сказал Виктор Макарович. И указал пальцем на спину, изображенную на переднем плане. В углу фотографии стояла дата... И хотя прошло, что я быстро высчитал тридцать лет, спина у Виктора Макаровича была такая же, как и теперь: подвижная, вся устремленная вперед, навстречу хору, который на фотографии пел.

— А это Дима и Римма! — сказал Виктор Макарович и ткнул пальцем в солистов, стоявших с раскрытыми ртами впереди хора. В одном из них я сразу узнал Димулю. Черный вихор не делал его лицо менее беззащитным и добрым.

— Дима и Римма... Римма и Дима! — мечтательно произнес Виктор Макарович. — Имена рифмовались! И пели дуэтом!

— Она в больнице... растерянно и грустно сказал Димуля. — Вот у нас с Володькой тут и творится...

Он продолжал что-то запихивать в ящик, что-то прятать под скатерть.

Виктор Макарович резко повернулся и уставился на Димулю:

— Вы что... поженились?

— Семнадцать лет назад.

— И мне об этом не сообщили? И не зашли ни единого раза? А ведь были любимицами! Маргарита Васильевна обвиняла меня в предвзятости: «Нельзя отдавать детей от детей!»

— Поэтому мы и стеснялись, — растерянно проподжал Димуля. — Вы же предсказывали нам музикальное будущее. А мы ничего этого... не оправдали. Я вообще с десятилеткой остался. А Римма окончила техникум. К тому же торговый... Сейчас Римма в больнице.

— Разве я вас от голоса ваши любил? — задумчиво произнес Виктор Макарович. — Дима и Римма... Знают, навсегда срифковались? Сохранили дээл! Я очень рад... — Он вдруг встрепенулся: — Ты сказал, Римма в больнице! А что такое?

— Сердце у нее. Всю жизнь сердце.

— Да... Я помню. Она болела ангинами. Я все болеялся за ее голос!

— Рожать ей нельзя было. А она родила.

— Мандолину? — неожиданно спросил я. Виктор Макарович взглянул на меня с изумлением.

— Это — прозвище нашего сына, — объяснил Димуля. И успокоил меня: — Ничего... Ты его знаешь?

— Его знает весь дом, — сказал я.

— Но не весь дом его любит... — Димуля огорченно развел руками.

— Кто-то сказал: «Человек, который в семнадцати годах вызывает у меня подозрение!» — успокоил его Виктор Макарович.

— По-моему, неплохой мальчик... Как ты считаешь? — обратился ко мне Димуля.

— Будущий виртуоз! — уверенно сказал я. — И до сих пор мы с ним незнамы! — Виктор Макарович с укором взглянул на Диму и Римму, которые пели под его управлением. — Забыли меня. Совсем, значит, забыли...

Димулины руки прижалась к груди.

— Мы! — Он обхватил руками свою круглую голову... Римма все время приводит вас в пример. И сину и мне... А я привожу вас в пример ей и сину.

— Представляю, как ваш сын меня ненавидит!

— Вас! Да мы воспитываем его «по Виктору Макаровичу». Так Римма недавно сказала.

— И какой результат?

— Учится плохо...

— Вот те на!

— А в остальном я доволен. Добрый... Играет на мандолине. Мы его с младенчества музыке обучаем. Сами, домашними средствами... Ведь вы нам сказали, что музыка — радость, а иногда и спасение.

Виктор Макарович снова обратился к фотографии, висевшей на стене:

— Но почему же не привели его?

— Стыдились... В дневнике — тройка на тройке. С математикой очень не ладят.

— Я с ней тоже не ладил, — сказал Виктор Макарович.

— И я с ней не лажу! — с гордостью сообщил я.

— Ты, оказывается, нас слушаешь? — спохватился Виктор Макарович. — Музыкант — это прозвание. Он может в конце концов позволить себе... А «объявляя ляля», должен успевать по всем дисциплинам.

— Мы ведь знаем, что с тройками в Дом культуры не полагается... грустно сказал Димуля. — Всегда говорят: «Сначала — отметки, а потом уж кружки!»

— Может быть и наэборот... Не при Мишеньке будь сказано! — возразил Виктор Макарович.

— Мы сходили к директору Дома. Так, для очистки совести...

— К Дирдому? — воскликнул я.

— У него такое прозвище? — почему-то обрадовался Димуля. — Он нам решительно отказал.

— На каком основании? — спросил Виктор Макарович.

— Мы, говорит, должны думать о репутации Дома культуры. О его лице!

— Тут вы бы ко мне и зашли!

— Постыдились мы... Подошли к Малому залу, в щелочку поглядели. Все, как прежде... И Маргарита Васильевна за роялем. Римма заплакала — и пошла домой.

— Как же так? Как же так?! — допытывался Виктор Макарович у фотографии на стене.

— А через три дня Римма в больницу слегла. И это тоже на Володьку списали.

— Кто списал?

— Так получилось... Он двойку за контрольную по алгебре получил. Ну, Римма покричала на него. Как полагается... А слышимость у нас в доме пре красная! Сосед один за стеной живет...

— Знаю его, — вставил я.

— Он на следующий день утром сказал: «Таких, как ваш сын, в газетах тру́дны́ми и детьми называют». А вечером с Риммой приступ случился... Не из-за Володьки, конечно. Но приписали ему! Он с скакками по двору идет, а ему вслед: «Сперва уложил, а теперь беспокойся!» Если что-нибудь случается, говорят: «Из компании Мандолины!» Разве он может отвечать за всех... которые вокруг него собираются? Как-то обидно...

Когда мы вышли на улицу, Виктор Макарович попросил меня проводить его.

Но разговаривал он по дороге с самим собой. Часто останавливался, тер икры ног. Даже присаживался на скамейки.

И продолжал рассуждать:

— Удивительно! Постыдились... Будто я их в певцы готовил. Люди хорошие получились — и замечательно! Получились хорошие люди!

— Получились, — ответил я.

Но он задал вопрос самому себе и на мой ответ не обратил никакого внимания.

— Человек с тройками не должен петь! Надо же до такого додуматься... Не справился с алгеброй — бросай мандолину. Где тут логики?

— Нету логики, — тихо ответил я.

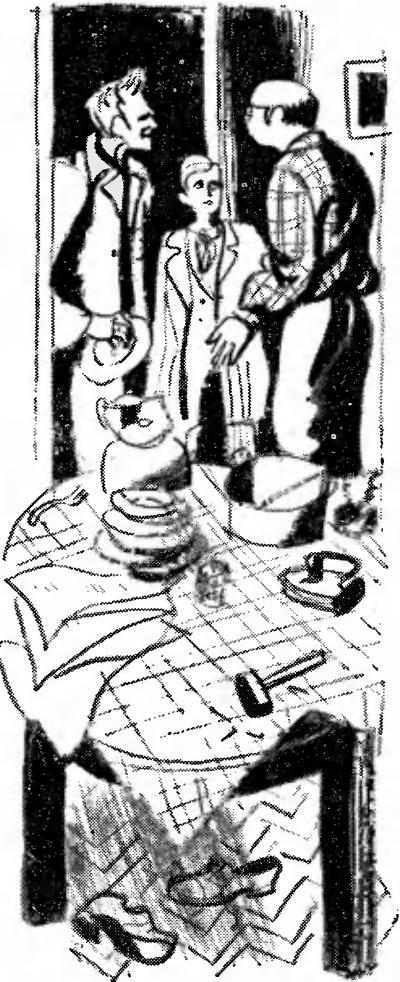
— И почему все думают, что я готовлю певцов? Гриша Дубовцев стал начальником конструкторского бюро, заслуженным деятелем науки. А собирает об этом так, будто извиняется, что стал заслуженным деятелем, а не заслуженным артистом республики. Хотя один из моих учеников все-таки и в заслуженные артисты пробился... Горжусы! — Вдруг Виктор Макарович остановился и воскликнул: — Прекрасно, Мишенька! Я знаю, что надо делать.

— Что? — спросил я.

— Мы выпустим Володю в наших отчетных концертах. Пусть это будет сюрпризом!

— Для Дирдома?

— И для него тоже! Представь себе... «Дунайские волны!» Или, допустим, гурьевский «Колокольчики». Исполняют мандолину и хор... Великолепно! Ведь тембр мандолины, Мишенька, близок к детскому голосу. Особенно в среднем регистре. Та-ак... — Виктор Макарович ничего не отклады



вал в долгий ящик.— Вернемся обратно! И сообщим...

— Я могу сам зайти.

— Нет, я должен сделать официальное приглашение!

Мы побежали обратно.

## 4

**T**рудно было определить, кто готовится к отчетным концертам — я или мама.

Мама вслух произносила фамилии композиторов и названия песен, стараясь подсказать мне, как они должныозвучать со сцены.

Она заставляла меня по вечерам пить валерьянку, чтобы я хорошо спал и вообще привел в порядок свою нервную систему.

— Ни один годовой бухгалтерский отчет не стоял мне такого напряжения, как отчеты вашего хорала — говорила мама. И тоже пила валерьянку.

О предстоящих концертах мама регулярно напоминала всем нашим знакомым. И если оказывалось, что кто-то болен или уезжает в командировку, она очень расстраивалась.

Возле телефона лежал разделенный надвое красной чертой лист бумаги. В одной графе значилось — «Дети», в другой — «Взрослые». Мама записывала имена всех, кого следовало пригласить на утренники и на вечерний концерт.

— Подведем баланс! — заявляла она. — Практически я включила всех!

А через минуту она бежала дополнять список новыми именами. Из-за этого маме приходилось то и дело обращаться к администратору Дома культуры, который распределял пригласительные билеты.

Собираясь наполовину заполнить затыком знако-мыми, мама тем не менее предупреждала:

— Не повторяй мои ошибки: не смотри в нашу сторону. И вообще не вспоминай о том, что мы тебя слушаем. Сразу же возникнут натянутость и неестественность. А это практически все сводят на нет! Проверь мою опытку...

Мама часто перенимает у людей, которые ей нравятся, их любимые словечки и выражения. «Практически» это было слово Лукьянова. Еще он любил говорить — «пройденный этап» и короткое слово «дело».

Я никогда не видел Лукьянова, но мне казалось, что я узнал бы его, даже встретив где-то на улице. Особенны, если бы это было поблизости от управления строительством, где Лукьянов работал. Я был сразу понят, что это о: высокий, стремительный, никогда не оглядывающийся назад. И его манера говорить, его любимые выражения тоже были мне хорошо известны, потому что у мамы есть еще одна интересная особенность: разговаривая, она иногда повторяет последние фразы своего собеседника. Ну, например, обсуждая с Лукьяновым по телефону разные финансовые вопросы, она задумчиво повторяла его последние мысли: «Значит, вы считаете, что это практически пройденный этап?» «Для пользы дела мы должны считать это пройденным этапом? Вы так считаете?»

Повторяя за собеседником его последние слова, мама как бы обдумывает, верны они или нет, может ли она согласиться или должна возразить. С Лукьяновым мама порою вступала в решительный спор. И чем больше горячилась, тем чаще употребляла его словечки:

— Практически вы не правы! Если думать о пользе дела, мы должны...

Споры иногда заканчивались и маминой победой. Но она не ликовала по этому поводу: она уважала Лукьянова.

— Ну что ты волнуешься? — сказал я маме в день первого отчетного концерта, на который были приглашены дети. — Ведь я всего-навсего объявляю...

— Всего-навсего объявляешь! — повторила мама. — Нет уж! На этих концертах ты должен доказать всем и самому себе, что ты вовсе не «объявляешь», что ты — артист!

Наверно, из-за того, что я должен был это доказать, мама испытывала такое большое нервное напряжение.

— Особое внимание обрати на пересказ содержания песен... которые вы исполняете на иностранных языках, — предупредила мама. — Мы должны почувствовать, что с твоим помощью путешествуем по земному шару...

Путешествовать наша семья привыкла!

А папа волновался за Мандолину:

— Если будет провал...

— Виктор Макарович тоже за него беспокоится, — сказала я. — Вы садитесь, пожалуйста, рядом с Димулей!

— Ты бы узнал все-таки его имя и отчество. Нам с мамой не очень удобно... Ведь мы с ним не пели в хоре!

Чтобы Володька не долго мучился, Виктор Макарович выпустил его в начале программы. «Дунайские волны» были нашим четвертым номером.

Я проком назвал Володьку «Владимиром» и «солистом». Он вышел, сел, склонился над своей мандолиной, как над ребенком... И словно бы стал баюкать ее.

Как только я вернулся за кулисы, на меня налетел Дирдорф. Каким образом он успел за две или три минуты добраться из ложи до меня — до сих пор понять не могу. Вид у Дирдорма был такой, будто он только что выпил стакан рыбьего жира.

— Ему... — Он указал на Виктора Макаровича, который, казалось, плыл в этот момент по Дунаю. — Ему я не могу сейчас высказать... Но у тебя же в руках программа, которая утверждена! Где тут «Дунайские волны»? Покажи мне...

— Это идет сверх программы, — пробормотал я. — А кто это «сверху» утвердил?

— Мандолина — одаренная личность! — сказал я. — Послушайте, как он играет...

— Есть правила приема в хор! Есть утвержденный порядок! Я объяснил это его родителям. А они, значит, с черного хода!

У Дирдорма была манера долго втолковывать людям то, что они уже давно поняли. Он продолжал говорить мне, что правила на свете для всех одинаковы, что не может быть исключений... Проверил, не вписано ли в программу еще что-нибудь такое, чего он не слышал.

— У нас во дворе... — начал я.

— Здесь не двор! — вскрикнул Дирдорф.

И тут «Дунайские волны» кончились. Как Володька играл, я так, к сожалению, и не услышал. Но важней для меня было другое...

— Поступайте! — снова воскликнул я.

Я знал, что ребята из нашей школы сейчас будут кричать «бис» и скандировать. Об этом мы твердо договорились.

Они начали кричать... И даже слишком громко. Некоторые стучали ногами, о чём уговора не было.

— Триумф! — сказал я.

Но Дирдорм испарился. Он не хотел быть свидетелем нашей победы.

Володька заиграл снова... На «бис» в первом отдельении исполнились только «Дунайские волны»... А Виктору Макаровичу Дирдом ничего не сказал о Мандолине. Ни слова... «Значит, мы действительно победили!...» — ликовал я.

Но главным в тот день было не это...

## 5

**Г**лавным было то, что я услышал от Виктора Макаровича, когда мы возвращались домой. Он очень устал. Останавливался чаще, чем всегда, и больше, чем всегда, растирая икры ног.

Мы шли и молчали... Потому что все восторги по поводу концерта я успел выскажать ему еще в Доме культуры.

Когда мы уже подходили к дому Виктора Макаровича, он вдруг печально сказал:

— Я счастлив.

— Да! Мы сегодня рванули...

— Не в этом дело. Я слышал, как Димуля звонил в больницу жене. Ее не позвали. Тогда он попросил сестру передать, что Володю вызывали на «бис». Я счастлив! — Он помолчал. И добавил:— Но как этот Мандолина похож на Димулю! Когда он первый раз пришел на репетицию, мне показалось, что я помоложел лет на тридцать! Вот сейчас, показалось мне, появился Римма в красном галстуке, встанет рядом, и они запоят!

— Голова такая же круглая... согласился я. — Только с волосами и без очков. А Дирдом говорил, что его лицо нам не подходит. Он считает наши дневники нашими лицами!

— Пушкин тоже не мог овладеть математикой, — сказал Виктор Макарович. — И что же, если бы Пушкин поступал в нам в литературный кружок...

— Дирдом его не принял! Потому что его лицо могло бы испортить лицо Дома культуры...

— И мое лицо может испортить, А верней, мои ноги, — с печальной улыбкой сказал Виктор Макарович. — Поэтому я сегодня дирижировал вашим хором последний раз. — Виктор Макаревич умел показывать фокусы и любил розыгрыши... Я посмотрел на него с недоверием. — Последний раз, — повторил он.

— Как... последний?

— Был консилиум... — продолжал он. — Это грозный совет докторов! И самое страшное, когда он выносит решение единогласно. Неизлечимая болезнь ног...

— Отчего это?

— Говорят, от курения. Но я никогда не курил. Говорят, от неподобного образа жизни. Но я всю жизнь двигался. А теперь... Долго ходить нельзя, долго стоять нельзя. Дирижировать можно сидя.

— Ну и что же? — воскликнул я. — Ну и что же?

Это будет отличать вас от всех остальных. Вы сидите, а они перед вами стоят! Учитель, когда разговаривает с учеником, тоже сидит, а ученик перед ним стоит.

— Но Дирдом считает, что сидячий дирижер пионерского хора — это для его Дома культуры не подойдет. И думаю, в данном случае можно с ним согласиться. Я и так невысок... А если сяду на стул, меня и вовсе не будет видно. Так что приходи теперь ко мне домой. Времени будет много — в шагахишки сыграем.

— Но ведь вы можете выздороветь!

— Добрый мой мальчик... — сказал Виктор Макарович.

— Ведь есть же какие-то средства!

— Меньше стоять, не перегружать свои ноги. Перехожу на «сидячие игры». Пора уже: я ведь вошел в пенсионный возраст.

«Вбэжай! — захотелось мне поправить его. Потому что он всегда очень стремительно двигался.

— Как же... теперь? — спросил я.

— Будете под управлением Маргариты Васильевны. Она вас знает и любит.

— Маргариты Васильевны? Но ведь она тоже... немолодая.

— Разве это заметно? — медленно и с удивлением спросил он. Я ничего не ответил. — Пусть она как дирижер покажет себя прямо на следующем отчетном концерте! В присутствии общественности и ваших родителей. Чтоб они были спокойны!

— Черев недели?

— А что же тянуть? «Нет! Лучше он — сидящий, чем она — стоящая я!» — твердо решил я в ту минуту.

Мои родители были потрясены этой новостью не меньше, чем я.

— Он не должен уйти: он же талант! — тихо воскликнул папа.

— Неужели ничего нельзя придумать? — сказала мама. И выпрямилась. Когда она произносит эту фразу, мы с отцом сразу начинаем верить, что выход найдется. Безвыходных ситуаций мама не признает. Я буду думать... — произнесла она.

— Очень прошу тебя, — сказал я.

— Надо доказать, что без него наш хор петь не сможет! — решительно заявила мама.

Эта фраза натолкнула меня на неожиданную и смелую мысль.

«Да, мы докажем, что без него петь невозможно! — решил я. — Пусть мама ищет свой выход из положения. Но и я не буду сидеть сложа руки!»

План, который родился у меня в голове, я открыл участникам средней группы нашего хора. «Средней группы была не по качеству, а по возрасту: в нее входили ребята, которые учились в четвертых, пятых и шестых классах. С представителями этого возраста договориться мне было легче всего. Младшие могли мой план не понять, а старшие — не принять.

«Средняя группа, как я и предполагал, поняла меня сразу! Хотя план был рискованный и опасный...

Мама как-то сказала, что ребята в моем возрасте очень смелы, потому что у них нет опыта и они еще не успели набить себе шишек. Мама очень хочет, чтобы я учил ее опыт, ее ошибки. Но я все больше убеждаюсь в том, что на ее шишках мне трудно будет чему-нибудь научиться. «И вообще, — рассуждал я, — не очень-то получится благородно, если один будет набивать себе синяки, а другой на этих синяках... на чужом, значит, горе будет учиться!»

И вот наступило то самое воскресенье.

Взрослые собрались в фойе Дома культуры задолго до начала концерта... Родители и родственники наших хористов были очень взволнованы. Некоторые мамы целовались и неизвестно с чем поздравляли друг друга.

Пришли и бывшие участники нашего хора. Среди них, как успел сообщить Дирдом, были и такие, которые очень многое в жизни достигли! Ну, например, заслуженный артист Республики, о котором однажды упоминал Виктор Макарович. Фамилия его была Наливин. Этому фамилии знали все в нашем городе. И поэтому, когда Дирдом привел Наливина за кулисы, все очень переполошились.

Только Маргарита Васильевна встретила Наливина хмуро. Он торжественно раскинув руки, поплыл ей



навстречу. Но она увернулась, еле слышно пробор-  
мотав:

— Здравствуйте, Женя.

И после этого внятно произнесла:

— Уже был первый звонок!

Она, должно быть, боялась, что Наливин отвлечет нас от предстоящего выступления. «Хочет проявить себя» — подумал я о Маргарите Васильевне.

Наливин был высоким и толстым. И было странно, что от его огромного тела отрывался и как бы журчал в воздухе тонкий женский голос. Когда он первый раз открыл рот, я даже вздрогнул и огляделся: мне показалось, что говорил кто-то другой.

— А где же наш бесценный Виктор Макарович? — спросил Наливин. И развел руки в стороны, готовясь обнять его.

— Он, вероятно, в зале, — скороговоркой сообщил Дирдом. — Сегодня будет дирижировать Маргарита Васильевна.

— Значит, мы с ним в антракте увидимся? — за-  
журчал голос Наливина. — Боясь только, он опять  
будет журить меня, как в те невозвратные годы... —

Певец обмерил взглядом свою фигуру. — Молодых влюбленных мне играть уже трудно: за кресло не спрячешься, с балкона не спрыгнешь!

— Он снова обмерил себя осуждающим взглядом.

Я заметил, что есть люди, которые в шутку торопятся сказать о своих недостатках, опасаясь, что другие сделают это вслед за ними.

Наливин обращался сразу ко всему нашему хору. Он делал это очень легко: привык, наверно, делиться своими переживаниями с огромным залом театра оперы и балета!

— Напоминаю: уже был второй звонок! — депо-  
вительно проходя мимо, произнесла Маргарита Васильевна.

— Но третий мы можем и оттянуть. Все — в на-  
шей власти! — ответил ей едогоночка Дирдом.

— Ни в коем случае! — испуганно закурчал Нали-  
вин. — Из-за меня?! Если Виктор Макарович узнает...  
Что же он не пришел за куписы?

— В антракте увидитесь. В моем кабинете, — ско-  
роговоркой пообещал Дирдом.

Виктор Макарович сидел в девятом или десятом

ряду. Я думаю, он хотел показать всем, что хор спрятан с программой без всякого воздействия с его стороны.

Но я решил доказать нечто совершенно противоположное!

Я вышел на сцену и, стараясь, чтобы лицо мое было как можно более открытым и приятным, сообщил, что концерт начинается, что дирижировать будет Маргарита Васильевна. Объявил название первой песни и фамилии ее авторов.

Маргарита Васильевна взмахнула руками и как бы дала сигнал: «Начните! Внимание... Марш!»

Младшая и старая группы рванулись вперед. А средняя немного замешкалась на старте и вступила не вовремя. Зато в другом месте она, будто испугавшись и стремясь наверстать упущенное, начала чутчее раньше, чем полагалось...

Я наблюдал за всем этим из-за кулис. Но Маргарита Васильевну я старался не замечать, чтобы не подпустить к себе чувство жалости.

Мой план начал осуществляться!

Потом я объявил второй номер. И опять вернулся на свой наблюдательный пункт.

На этот раз все началось благополучно. Средняя группа не отставала... Хоровое многоголосье разливалось по залу. Но когда Маргарита Васильевна дала знак к окончанию песни, средняя группа, внимательно смотревшая на нее, этого знака не заметила и продолжала тянуть... У песни как бы образовался хвост.

Когда я вернулся на свой наблюдательный пункт в третий раз, там уже был Виктор Макарович... Он опирался на палку, которую я увидел впервые, и, казалось, стал еще ниже ростом.

— Неужели я ничему не научил вас за все эти годы? — тихо спросил он.

— Вы-то нас научили! Но вот беда...

Он перебил меня:

— В одной стране, мне рассказывали, есть такая традиция... Главного врача больницы обязательно отправляют в длительную командировку. И если без него все идет, как при нем, он возвращается на прежнее место. А если хоть что-нибудь ухудшается, его переводят в рядовые врачи. В ординаторы... Прекрасный обычай!

— Что вы хотите сказать?

— Я должен буду публично принести извинения залу, вашим родителям... Маргарите Васильевне...

Тут уж я перебил его:

— Ни за что! Я на пушу вас!

Третья песня подходила к концу... Я знал, что средняя группа готовила Маргарите Васильевне новый сюрприз.

— Одну минуточку!... — сказал я Виктору Макаровичу. И принял такую позу, чтобы средняя группа обратила на меня внимание.

Но она готовилась... И на меня не глядела.

В следующее мгновение Виктор Макарович побледнел. И еще тяжелее оперся на палку, потому что на сцене успешно продолжал воплощаться мой замысел.

Я не знал, как поступить... Но, вероятно, мама права, когда отрицает безвыходные ситуации. Я вдруг придумал!

Третья песня уже закончилась. А я на сцене не появился... Я быстро царапал карандашом на газетном клочке: «Ребята! Кончайте!»

Когда я вышел на сцену, кто-то захлопал. Вероятно, первые не выдержали долгого ожидания. Может быть, это были мои родители?..

— Уже поступают заявки... с мест! — объявил я так громко, как никогда еще не объявлял ни одного номера. — Я передам эту просьбу хору. Она, конечно, будет исполнена!

На последних словах я сделал особое ударение. И передал записку... Но не Маргарите Васильевне, как полагалось, а своему однокласснику Лешке, который был моим главным союзником в средней группе.

Вернувшись за кулисы, я сказал Виктору Макаровичу:

— Теперь все будет в порядке.

Не поверив мне, он стал внимательно слушать и шевелить губами: весь наш репертуар он знал наизусть. Я тоже прислушивался... Особенно к средней группе. Хотя можно было уже не волноваться: просьба друга была для Лешки законом!

— Что это значит? — спросил Виктор Макарович.

Мама просит меня не повторять в жизни ее ошибок. Я и не повторял... Я вообще не был уверен, ошибкой ли был мой план. Просто я не мог допустить, чтобы Виктор Макарович... И шепотом все рассказал ему,



— Значит, это ты сделал? — медленно произнес он.— Мой добрый мальчик!..

— Мы не хотели расставаться с вами!

В этот момент кончилась песня. Я вышел на сцену с лицом, которое, я думаю, было не таким открытым и приятным, как обычно. А когда вернулся за сцену, Виктора Макаровича уже не было.

В антракте я помчалась искать его. Но меня все время задерживали рукопожатия и похвалы. Почти все называли меня молодцом. Но у каждого это звучало по-своему... «Ты — м о л о д е ц!» — воскликнул один. «Ну, сегодня ты был молодцом!» — похвалил меня по плечу второй. «Молодец — ты молодец, но вперед еще целое отделение!» — предупреждал третий.

— Вам с Мандолиной, мне кажется, было трудней всего: вы оба солировали, — сказал папа.— И делали это вполне талантливо!

— Только не повторяй моей ошибки: не выкладывайся до конца на первой дистанции! — предупредила мама. Ведь именно конце второго отделения ты будешь пересказывать содержание зарубежных песен! Проси тебя: постараись оттенить специфику каждой страны... Привяж мое ухо к своим губам, мама спросила: — А что это там происходит в началье?

— Ничего не заметил! — ответил я.

— Значит, Маргарита Васильевна была права: у тебя не все благополучно со слухом и чувством ритма.

В фойе, в буфете и в зрительном зале Виктора Макаровича я не нашел... Зато встретил Димулю. Он вытирая платком свою добрую круглую голову и что-то искал.

— Как бы мне позвонить Риммэ? — спросил он.

— Телефон у директора!

— Прошлый раз я звонил оттуда. Но сейчас там...

— Автомат внизу, возле кассы! — перебил я. Потому что в эту минуту вспомнил, что Дирдом обещал Наливину встречу с Виктором Макаровичем у себя в кабинете.

Я помчалась туда.

Наливина еще не было. Виктор Макарович, Маргарита Васильевна и Дирдом стояли посреди кабинета. Мужчины нервничали, а Маргарита Васильевна только поправляла тяжелый пучок на затыльке.

— Зайди, Миша, зайди, — позвал Виктор Макарович, когда я приоткрыл дверь. Кажется, впервые он не назвал меня Мишенкой.

Дирдом тоже, мне показалось, с нетерпением поджалжал меня.

— Я убежден, что это безобразие в начале... произошло не случайно! — сказал Дирдом. — Это была попытка сорвать наш отчет. Ничего подобного раньше, до появления зашев... или в ш е г о Мандолины не было! Говорят, он родную мату уложил в больницу. А теперь уложит наш хор!

— Володя тут ни при чем. Во всем виноват я...

Дирдом опять проглотил стакан рыбьего жира:

— Ты??

Маргарита Васильевна так же неторопливо, как она приводила в порядок свои густые, красивые волосы, произнесла:

— Зачем чтобы кто-то брал на себя вину? Все было естественно: ребята не привыкли ко мне. Они волновались.

Я хотел возвратить. Но Виктор Макарович удержал меня за руку.

В эту минуту из приемной донесся журчащий голос Наливина:

— Дирекция у себя?

Дирдом сразу же запил рыбий жир стаканом сладкого морса.

Прямо с порога Наливин обрушился на худенького Виктора Макаровича, накрыл его собой.

— Фотографа бы, сюда! Фотографа!... сладким голосом воскликнул Дирдом.

Потом Наливин стал обнимать меня, потом Дирдом. Когда с объятиями было покончено, я заметил, что мы, мужчины, остались одни: Маргарита Васильевна незаметно ушла.

— Десятилетия промчались, как миг, — разводил руками Наливин. — И вот сегодня меня вернули в невозвратную пору детства. Только уж вот тако... — Он опять окунул себя критическим взглядом, как бы опережая в этом смысле Виктора Макаровича. — Поверьте, учитель, это не на почве переедания, а от неправильного обмена веществ! За болезнь ведь не судят...

— Победителей вообще судить не положено, — сказал Виктор Макарович. — Я счастлив, что ты знаменитый и заслужено заслуженный!

— Но это и вами заслужено! — ответил Наливин. — Ведь это вы у меня обнаружили... Он погладил себя по горлу. — Если бы не вы... Вы первый услышали мою ювтерию. Мою прелюдию... А сейчас уже опускается занавес.

— Ты сошел с ума! — весело воскликнул Виктор Макарович. — Карузо тоже был... полным. А Джильи?

— Врачи советуют перейти на концерты. А может быть, на педагогическую работу.

— И у тебя тоже... врачи?

— Что день грядущий мне готовит? — пропел Наливин.

Дирдом зааплодировал.

— Ну, голо, твой абсолютно здоров! — обрадовался Виктор Макарович.

— Увы... Извечный конфликт между формой и содержанием. Хотя у вас никакого конфликта не происходит: вы в образцовой форме. — Он с добродушной завистью оглядел худенького Виктора Макаровича. — Общение с ним и не дает вам стареть! — Наливин ткнул пальцем в мою сторону. — А мне сейчас петь басом! Или в крайнем случае баритоном... — Оглядев себя, он вновь захрумчал: — Вас, учитель, сегодня не хватало на сцене! — Дирдом стал усиленно копаться в бумагах. — Кстати, где нахожда бестрепетная Маргарита Васильевна? — Наливин оглядел кабинет.

— Она не виновата, — твердо сказал я.

Виктор Макарович опять удержал меня за руку.

— Я всегда восхищался, учитель, что вы столько лет... среди этого бушующего океана! — Наливин указал на меня. — Я бы и дня не выдержал.

— Как же ты собираешься переходить на педагогическую работу?

— Буду учить вокалу. Только вокалу... А выше призвание — весь их мир! — Наливин опять ткнул в меня пухлым пальцем.

Дирдом совсем зарылся в бумаги. «Есть люди, которые воспринимают чужой успех как большое личное горе!» — как-то сказала мама. Не знаю, были ли Дирдом таким человеком, но авторитет и успехи Виктора Макаровича его раздражали. Я давно уже заметил.

— И вдруг сегодня вы покинули пост, — продолжил Наливин. — Почему?

— Ноги, Женечка... Все тот же неправильный обмен, который производит время: здоровья на неиздоровье. И мне тоже придется поискать новое место в жизни.

— Оно только здесь, в этом Доме! — уверенно заявил Наливин. — Среди них! — В который уж раз

он ткнул в меня пальцем.— Без вас Дом культуры утратил первое слово в своем имени: он перестанет быть Домом. По крайней мере для них!

Тут я захлопал.

— Маргарита Васильевна по образованию дирижер. И педагог по призванию,— четко проговорил Виктор Макарович.— Я в какой-то степени пре-граждал ей путь... Теперь она быстро найдет с ними общий язык!— Он тоже указал на меня. Я напоминал самому себе экспонат, который привнесли на урок или на лекцию.— У нее есть этот талант, — уверенно закончил Виктор Макарович.

— А у меня нет! — признался Наливин.— Но и она не будет играть с ними в чехарду, показывать фокусы... Помните, как я через вас перепрыгивал?

**6**  
Ч аса через полтора мы с Виктором Макаровичем, как всегда не торопясь, возвращались домой.

Моя родители не сочли возможным разлучить нас в такой вечер — и ушли после концерта с Ди-мулей и Мандолиной.

— Мы хотели, чтобы все осталось, как прежде, — объясняла я по дороге Виктору Макаровичу.— Чтобы вы остались главным дирижером — сидящим или стоящим... А Маргарита Васильевна — вторым дирижером и аккомпаниаторшей. Мы только этого и хотели!

— Во-первых, есть средства, которые могут убить благородную цель... — медленно произнес Виктор Макарович.— Это ты запомни на всю свою жизнь. Чтобы когда-нибудь тебе не сказали, что «благими намерениями» дорога в ад вымощена! А во-вторых...— Он так понизил голос, что я еле расслышала:— Во-вторых, я любил Маргариту Васильевну.

— Ее! — Я остановился от неожиданности.— Наверно, давным-давно? Когда вы еще молодым были?

— Неважно, когда это было. Важно, что было.

— И прошlo?

— Прошло — не значит кануло, Мишеня. Это во-первых. А во-вторых... Что-то я сегодня все рассказываю по полочкам... Видимо, потому, что ты задаешь слишком много вопросов.

— Почему же вы на нее не женились?

— Это сделали до меня.

— А она... вас?..

— Она любила со мной работать. И, если говорить словами Диридора, не думала о своем взвешенном творческом лицце. Теперь, наконец... Это в какой-то степени было моим долгом.

— Может быть, вы уходите из-за этого?

— Из-за «неправильного обмена»... Но нет худа без добра, как говорят. Пойми: она была в моей жизни целой эпохой. Ты скажешь: прошлой эпохой. Но прошлое и забытое — разные вещи. Вообще помнить всегда лучше, чем забывать, Мишеня. Плохое иногда еще можно вычеркнуть. Но хорошее... — он помолчал, потер ногу.— Тот, кто не помнит вчерашнего, тот и сегодняшнее забудет... А на самом деле, позавчера и послезавтра в жизни неразделимы!

Виктор Макарович заметно устал. Но, мне показалось, не оттого, что у него были больные ноги, а со своих мыслей. Мы с ним присели.

— Если из книги, Мишеня, выбрасывать прочитанные страницы и главы, вся книга рассыпается. Впрочем, вернемся к Дому культуры... — сказал он. А сам вернулся к Маргарите Васильевне.— Сколько

черновой работы она брала на себя! А лавры в основном доставались хору и мне. Говорят, что в один из самых страшных кругов ада... того самого, дорога к которому вымощена твоими рухнувшими намерениями, попадают «предатели своих благородствий». То есть люди, не помнящие добра... Не будем принадлежать к их числу, Мишеня!

— Не будем! Я вот вас никогда не забуду!

— Спасибо тебе... Память может продлить человеческую жизнь. Ты понимашь? Даже угасающую или давно угасшую...

Мы помолчали. Потом я сказал:

— А моя мама помнит все даты в жизни наших родственников и знакомых. И всех поздравляет. Я даже смеюсь над ней.

— А что тут смешного?

— Все и всех помнить?.. Это надо иметь такой склад! — Я постучал пальцем по голове.

— Память не склад и не хранилище, — возразил Виктор Макаревич.— Это — святилище... Прости за громкое слово.

Мы еще помолчали.

— Хорошо. Черт Дирдор ничего об этом не знает, — сказал я.— А то бы он не назначил Маргарите Васильевну дирижером... с таким удовольствием.

— Может быть.

— А детей у вас никогда не было? — спросил я.

— Я всю жизнь был таким многодетным отцом в нашем Доме культуры, что построил свой собственный дом... не успел как-то... А Маргарите Васильевне заплакала, когда узнала, что я должен уйти.

— Заплакала? Она?! Не представляю себе.

— Тем дороже для меня это событие!

Мы поднялись со скамейки и пошли дальше.

— Но вот кто мне поможет отыскать... как говорится, новое место в жизни? — ни к кому не обращаясь, сказал Виктор Макаревич.

Как раз одна из замечательных особенностей моей мамы состоит в умении отыскивать то, чего другие найти уже не надеются: достать какое-нибудь редчайшее лекарство, или привести друзьям книгу, изданную лет сорок назад, или разыскать боярские костюмы для самодеятельного спектакля, хотя спектакли про бояр в городе вообще никогда не шли. Она может починить пробки вечером, когда уже все приготовились сидеть в темноте, потому что у монтера рабочий день кончился.

— Я нашла выход из положения! — через несколько дней сообщила мама.

Мы с папой притихли.

— Я вспомнила, что в Доме культуры «Горизонт» был детский ансамбль. В него входили и хор, и хореографическая труппа, и струнный оркестр. А в ансамбле, кроме дирижеров, балетмейстеров и прочих, были еще и художественный руководитель. Он все объединял. Вы помните?

Мы с папой не помнили этого, потому что мама увлекалась в ту пору драматическим кружком и никакие другие самодеятельные коллективы нас никак не интересовали. Альбом «Мама в ролях» относился как раз к тому времени.

— Так вот... мы с Лукьяновым придумали, как учредить эту должность в нашем Доме культуры! Диридор уже знает... Потому что должен подготовить кое-какие бумаги. Я и имя ансамблю придумал: «Взьмитесь кострами!» Лукьянов одобрил. Конечно, не в имени дело. Надо пройти штатную единицу! Я обяснила Лукьянову, что это нужно для дела. Он быстро изучил вопрос и сказал, что «практически это возможно». Художественный руководитель ансамбля «Взьмитесь кострами!»... Звучит, а? Ну-ка, Миша, выйди и объяви!

Я вышел на середину комнаты, сделал свое лицо открытым и приятным и произнес:

— Начинаем концерт ансамбля «Взвейтесь кострами!». Художественный руководитель — Виктор Макарович Караваев — Дирижер — Маргарита Васильевна... Я не помню ее фамилию.

— Все равноозвучало очень красиво, — сказала мама. — Да, Лукьянин у нас голова! Сразу вошел в контакт с профессиями. Все поставил на деловую основу. Я думаю, дней через пятнадцать наш проект осуществится.

— Я был уверен, что мама отыщет выход, — сказал отец. — Если надо помочь, для нее не существует непреодолимых джунглей и лабиринтов!

Когда маме удается в очередной раз «починить пробы» (так у нас дома называются все манипуляции, связанные с починкой, помощью и розысками), отец всегда выглядит именинником. Он выывает счастлив и оттого, что мама что-то исправила, кому-то помогла, но главным образом, мне кажется, оттого, что мама опять провинила себя одаренной натурой, чем он так гордится.

— Только не повторяй моей обычной ошибки: не рассказывай об этом Виктору Макаровичу раньше времени, — продолжала мама. — Ты знаешь, что я суверна!

— А мне кажется, надо ему сказать, — возразил папа. — Пусть знает, что кто-то волнуется за него, хлопочет... Сам этот факт будет ему приятен. Для него важны не только результаты наших усилий, но и наши намерения. Он понимает, что результаты могут от нас не зависеть...

— Говорят, благими намерениями дорога в ад вымощена! — сказал я.

— Это когда благие намерения осуществляются не благими средствами, — ответил отец.

— Как раз это и было...

— Когда? — удивился отец.

Я не ответил на его вопрос. Вместо этого я воскликнул:

— Сейчас же надо сообщить Виктору Макаровичу! Чтобы он не страдал ни одного лишнего часа. Мама с Лукьяниновым своего добьются. Я абсолютно уверен!

— И я, — сказал папа.

Виктора Макаровича дома не оказалось. К двери была приколота записка: «Я у Димули». Значит, он ждал кого-то...

Не кого-то, а только меня! Потому что только я знал, что Димулю зовут Димулей.

Я ринулся обратно к своему дому. Ведя Димуля, Римма и Мандолина жили в соседнем подъезде.

Дверь мне открыл Володька.

Он не упал в обморок от радости, что увидел меня. Он посмотрел так, будто я приходил к нему каждый день в это самое время. У меня же вид был, наверно, такой торжественный, я так горел нетерпением поскорей рассказать всем мамину новость, что Володька спросил:

— Что с тобой?

— Ничего... Сейчас узнаешь!

— Проходи, — сказал он. — Есть хочешь?

И пошел на кухню.

— Куда ты?! — воскликнул я. — Сначала послушай...

— Подожди немногого. У меня пригорит...

Мандолина был хозяйственным парнем.

Перед первым отчетным концертом он очень волновался, конечно, но все же заметил, что у Лешки из средней группы на куртке оторвана пуговица.

— Хочешь, пришь? — спросил он.

— А нитки с иголкой?

— Найдутся.

Оказалось, что у Маргариты Васильевны действительно есть то и другое.

— А пуговица? — спросил Лешка.

— От задnego кармана брюк оторвем. Там никто не увидит.

Он оторвал и пришил.

Когда я сообщил об этом маме, она сказала:

— Значит, в будущей своей семье он будет играть те же две роли, которые я исполняю в нашей.

— Какие две? — спросил я.

— Мужчины и женщины!

Володька не любил восклицаний и суэты. Когда его вызывали на «бис», он вышел так, будто ребята из нашей школы не надрывались и не выходили из себя от восторга. Казалось, он был наедине со своей мандолиной. Сел, снова склонился над ней, как над ребенком, и во второй раз загрял «Дунайские волны».

Я, конечно, не сказал ему о том, что наша школа выполняла данное мне обещание. Он бы этого не простила...

Мне хотелось, чтобы в момент, когда я буду объяснять свою новость, все были в сбое. Поэтому я подождал в коридоре, пока Володька не появился с огромной кастрюлей в руках.

— Бедум есть суп, — сказал он. — Есть хочешь?

— Сейчас вам будет не до еды. Не до супа! — сказал я. — Вот если бы было шампанского...

Володька взглянул на меня с недоумением.

— Потерпи! Сейчас узнаешь! — сказал я. Хотя знал, что Мандолина был очень терпелив и мог ждать, сколько угодно.

Мы вошли в комнату...

Виктор Макарович и Димуля на диване играли в шахматы.

— Мишенька! — воскликнул Виктор Макарович.

— Как раз я выигрываю.

— Хоть бы раз мне удалось не проиграть... — с досадой, поглядывая свою круглую голову, сказал Димуля.

— Сегодня мы все победили! — сказал я.

— Кого? — спросил Виктор Макарович.

— И ваш консилиум! И Диридома!

— Что ты имевши в виду?

— Будет создан ансамбль «Взвейтесь кострами!». А у ансамбля будет художественный руководитель. Догадайтесь, кто? На фотографии мы видим сейчас его спины! — Все уставились на фотографию. А я продолжал: — Художественный руководитель не должен сидеть и не должен стоять — он должен только руководить!

Володька поставил кастрюлю на стол так тяжело, что я понял: моя новость произвела на него впечатление.

— Осталось только выбрать штатную единицу. Ее выбирают Лукьянин и моя мама. Так что можно не сомневаться!

Все молчали.

— А Маргарита Васильевна будет дирижировать... — сказал я.

И тут понял, что поговорка «как гора с плеча» очень точная.

Виктор Макарович встал, расправился.

— Если так... — сказал он. — Если так...

И закодил по комнате.

А я ходил за ними и объяснял, что если Лукьянин и мама за что-нибудь берутся, можно быть абсолютно спокойным.

— Как это хорошо! Как хорошо... — повторял Димуля. — Значит, и Володя останется... А то директор говорит: «Когда исправишь тройки по математике, тогда и будешь играть...» А если он их никогда не исправит?

— Не в этом дело,—пробурчал Мандолина.  
— Я твой отец... Я за тебя радуюсь. Надо Римме позовинить. Рассказать...

Он поднялся с дивана.

— Суд остынет,— остановил его Мандолина.

— Хозяйственный он у тебя!— похвалил Виктор Макарович. Ему хотелось говорить людям приятное.

Если быть объективным...— начал Димуля.

Володька сразу вспомнил, что ему что-то нужно на кухне. И вышел.

— Очень заботливый— повторил Виктор Макарович.

— Мать часто в больнице. Так что приходится...

— А вот пусть Римма...— начал я и приостановился.

— Григорьевна,— подсказал мне Димуля.

— Пусть Римма Григорьевна расскажет этомувшему соседу... Сама пусть расскажет! Тогда все вовдоре...

Она говорила. А он в ответ: «Что же еще мать может сказать о своем сыне!» Даже вспомнил какую-то старую притчу. В ней сын, стараясь доказать одному жестокой девочке свою любовь, вырывает у матери из груди сердце. Бежит с ним, спотыкается, падает... А сердце спрашивает: «Мой сын, не болен ли тебе?»

— До чего же люди иногда умеют видеть в других только то, что хотят видеть!— сказал Виктор Макарович.— И стынь тянут себе на помощь и старые притчи...

— Я думаю, они просто не любят музыку. Мандолина их раздражает... Но Володька, а инструмент,— застенчиво согласился Димуля.

Он махнул рукой и ушел в коридор звонить по телефону.

Володька тут же вернулся. И разлил суп по тарелкам.

Когда человек волнуется, у него нет аппетита... Мандолина было неудобно напоминать, что суп стынет. А мы с Виктором Макаровичем стояли и смотрели на фотографию, на которой Дима и Римма пели.

— Почти для всех них это было вроде игры!...— неожиданно сказал Виктор Макарович.— Но я всегда думал: человек, который любит песни, не может быть злы́м человеком. Это для меня было главным... Давай-ка и мы устроим игру! Поскольку все хорошо, что хорошо кончается. Вот сейчас Димуля вернется и тогда...

Димуля вернулся и сказал, что дежурная медсестра уже направилась к Римме в палату с радостным сообщением.

— Я предлагаю устроить концерт,— сказал Виктор Макарович.— И чтобы каждый исполнял привычную для себя роль. Ты Мишенька, обьявишь. Я буду дирижировать. Димуля по старой памяти будет петь, Володя — играть на мандолине!... Он обратился к Володьке и его отцу:—Вы ведь наверняка исполняли что-нибудь вместе?

— Было...— сознался Димуля.— Мы с Риммочкой в два голоса, а Володя аккомпанировал. Но так... для себя.

— Что же вы пели?

— Вспоминали репертуар нашего хора. Ну, вот гуриевский «Колокольчик», к примеру...

— Прекрасно! Володя, бери мандолину!— Володька взял.— Мишенька, на авансцену!

Второй раз в этот день мне предлагали вести себя дома, как на концерте.

— Доставлять радость одному человеку или целому залу — большой разницы нет. Была бы, Мишенька, радость!...— сказал мне как-то Виктор Макарович.— Настоящий артист никогда не откажется

выступать из-за того, что нет полного сбора. Даже если пришло всего несколько зрителей, он выйдет на сцену. Они же не виноваты!

Передо мной были три зрителя и одновременно — три участника. Я сделал свое лицо еще более приятным и открытым, чем это было сегодня дома, и объявил:

— Композитор Гурилев... «Колокольчик»!

Виктор Макарович по-настоящему, как на концерте, взмахнул руками. Володька склонился над мандолиной и стал блокировать ее.

Димуля запел застенчивым, нежным голосом:

Одновзвучно гремит колокольчик,

И дорога пылится слегка...

Я переводил взгляд с фотографии на Димулю. Я люблю по фотографиям наблюдать, как с годами меняются лица людей. Но выражение лиц с годами почти не меняется. По крайней мере у Димули характер остался тот же...

7

**П**осле того, как мне стало ясно, что Виктор Макарович никуда не уйдет, я полюбил Маргариту Васильевну. А она, мне кажется, полюбила меня. Потому что знала, что это моя мама вспомнила про Дом культуры «Горизонт», где был детский ансамбль и художественный руководитель.

Раньше я не очень хорошо представлял себе, как Маргарита Васильевна разговаривает на обычные, человеческие темы. В моем присутствии она произносила лишь те фразы, которые имели непосредственное отношение к репетициям или концертам: «Мы можем начинать», Виктор Макарович! «Ты, Миша, произносишь фамилии Мусоргского так, будто это твой товарищ по школе. Никакого благоговения... С гениями так обращаться нельзя!»

И вдруг она изредка начала улыбаться, чего я раньше почти никогда не видел. А один раз даже потрепала меня за волосы. Я наклонил голову, чтобы ей удобнее было трепать. Такое я получал удовольствие!

— А ловко ты это придумал — сорвать мой цветок!— сказала она.— Значит, ты любишь Виктора Макаровича?

— Мы все его любим,— ответил я и пристально-но на нее посмотрел.— А? Разве не так?.. Но она опять стала, как говорится, непроницаемой.

В тот день у нас была репетиция концерта «Перелист страницы опер». Эту программу придумала Маргарита Васильевна. Наши ребята становились то крепостными девушками из «Евгения Онегина», то охотниками из оперы «Волшебный стрелок», то свитой грузинского князя из «Демона», то казаками из «Тихого Дона»...

Все эти песни наш хор исполнял и раньше, при Викторе Макаровиче. Но Маргарита Васильевна объединила их все в отдельную программу. И сочинила пояснительный текст, который я должен был произносить.

Маргарита Васильевна говорила нам, что нет, по ее мнению, профессии «певец», а есть профессия «артист». Только артист обладает даром перевоплощения, которым все участники нашего хора обязаны полностью обладать.

— Бывают не артисты, а исполнители арий. Вы не должны брать с них пример,— убеждала нас Маргарита Васильевна.

С тех пор, как Виктор Макарович ушел из хора, сюда все время ссылалась на него, цитировала то, что он говорил тридцать лет назад, и двадцать лет назад, и совсем недавно.

— Представьте себе, что нас слушает Виктор Макарович! — воскликнула она.

Ребята представляли себе это, и Маргарита Васильевна хвалила их:

— Вот так... Совсем другое дело. Вы чувствуете? «Должно быть, раньше она просто не хотела отвлечь наше внимание от Виктора Макаровича», — думал я. И поэтому вела себя незаметно. Выходит, он действительно чуть-чуть преграждал ей дорогу?

Особое внимание Маргарита Васильевна уделяла средней группе. Она даже высказала мнение, что Лешка может иногда запевать.

— Вот видишь, — сказал я Лешке. — Как хорошо, что вы не вовремя вступали на отчетный концерт!..

— Сознаться, что ли? — ответил мне Лешка.

— Я уже сознался. Так что запевай абсолютно спокойно!

У нас с Маргаритой Васильевной было хорошее настроение: мы ждали художественного руководителя.

Маргарита Васильевна требовала, чтобы программа на репетиции выглядела точно так же, как на концерте. Поэтому я выходил на авансцену, объявлял номера и произносил объяснительный текст.

Когда я обнявши «Ноченку» из оперы Рубинштейна «Демон» и сказал все, что нужно было, о поземе Лермонтова, которая «легла в основу», в Малом зале появился Дирдом.

— Я пришел, чтобы сообщить вам приятнейшее известие! — начал он. Испугался, что мы не поняли, и пояснил: — Если перифразировать реплику городничего из комедии «Ревизор»... — Потом он гордо оглядел нас всех. — Только что я подписал приказ о создании ансамбля «Взвесьтесь кострами!...». Он органично включил в себя вас, всю нашу хореографию и оркестр.

— Ураль — крикнул я.

Меня поддержала средняя группа.

— Вы на репетиции, — произнесла Маргарита Васильевна, взглянув на меня.

— Продолжайте работать, — сказал Дирдом и удалился.

— Маргарита Васильевна, разрешите мне выйти, — сказал я.

— Но ведь репетиция не окончена.

— Я должен выйти. Простите, пожалуйста...

Она сделала вид, что очень удивлена.

Я вышел из Малого зала и помчался по коридору. Внизу, возле кассы, был автомат... Я должен был сообщить Виктору Макаровичу о том, что мы победили!

Пробегая мимо доски приказов, я притормозил, остановился...

В центре доски висел новенький «Приказ по Дому культуры». Он сообщал о том, что создается пионерский ансамбль «Взвесьтесь кострами!». А во втором пункте было написано: «Художественным руководителем утвердить Евгения Аркадьевича Наливина, заслуженного артиста республики».

— Ты что, услыши? — спросила меня уборщица, подметавшая коридор.

Десятый или двадцатый раз перечитывал второй пункт приказа. Нельзя сказать, что я не верил своим глазам... Я не верил тому, что это кто-то мог написать, кто-то напечатать на машинке и вывесить в коридоре.

«Как же так? — спрашивал я себя. — Как же так?»

Я без разрешения вошел в кабинет. Дирдом разглядывал афиши, висевшие на стене.

— Художественным руководителем должен был стать Виктор Макарович... — сказал я. — Это ведь было решено!

— Кем решено? — спокойно спросил Дирдом.

— Об этом все знали. И мама и я...

— Вы с мамой? — рассмеялся Дирдом. — Вы назначили художественного руководителя? Исходя из чего?..

— Виктор Макарович всю свою жизнь... Он сорок лет...

— Стаж работы — это еще не все, — ответил Дирдом. — Исходить надо из интересов Дома культуры. Заслуженный артист, всему городу известный певец приходит к детям! Руководят нашим ансамблем!.. Неужели ты не понимаешь, как это прекрасно? Для афиши, для лица нашего Дома, для зрителей...

— Это невозможно, — сказал я.

— То есть как... невозможно? В коридоре висят приказы.

— А Наливин? Неужели он согласился?!

— Я ему объяснил. И он понял. В отличие от тебя... Искусство — жестокая вещь.

— Это ты — жестокая вещь! — сказал я.

Дирдом испугался. Наверно, у меня было такое лицо... Он ничего не ответил, не выгнал меня из комнаты.

— Но ведь Наливин сказал, что не хочет работать с детьми. Я сам слышал...

— Он пошутил. Кто же не любит детей? Ты пойми... Виктор Макарович — это пройденный этап. Будущее — за Наливинами!

— Потому что он заслуженный?

— Заслуженный! Как сказал Виктор Макарович, которого я уважаю не меньше, чем ты. К тому же и молодой! Или, как говорят, «перспективный». На таком имени наш «Костер» взовьется гораздо выше и ярче.

Очень довольный последней фразой, Дирдом как бы опять проглотил стакан сладкого морса и заулыбался.

— Но Наливин собирался идти туда, где учатся вокалу. Я сам слышал.

— На наше счастье, там не оказалось вакантного места!

— А Лукьяннов?

— Откуда ты знаешь Лукьяннова? — Дирдом внимательно взглянул на меня.

— И он согласился?

— Он всегда исходит из интересов дела. А откуда ты его знаешь?

Мне казалось, что ждать нельзя, что дорога каждая минута. Как будто речь шла о спасении тяжелобольного. «Надо разыскать маму и папу Немедленно!..» — решил я. И выбежал из кабинета.

Бухгалтерия находилась на втором этаже Управления строительством, а отец работал на третьем. Но не только поэтому решил сперва побежать к маме.

Просто я знал, что она-то уж не растеряется и найдет выход из положения. И потом... в трудные минуты мама всегда умеет взять себя в руки. «Соберитесь!» — как говорит отец.

«Этого не может быть! — рассуждал я сам с собой по дороге. — Мама придумала все это ради того, чтобы Виктор Макарович... не уходил, не расставался с нами. Разве сможет Наливин?.. Но он согласился! А Виктор Макарович обнаружил у него голос... Наливин сам говорил. Называл учителем... Он, должно быть, не знает, что в ад попадают



«предатели своих благодетелей». Люди, не помнящие добра! Но не в этом дело! Надо исправить... Пока Виктор Макарович не узнал!»

Нужен был пропуск. Я стал звонить снизу... Но телефон бухгалтерии, конечно, был занят.

И вдруг я увидел маму. Она шла как ни в чем не бывало, держка в руках лягушку бумаги.

— Что случилось? — спросила она, заранее беря себя в руки.

— Высыпал приказ! Его Дирдом написал... Художественным руководителем будет Наливин!

— Что? Чего?

— Наливин... Он согласился! Дирдом ему объяснил, что это хорошо для афиши. А Виктора Макаровича... мы обманули.

— Не повторяй моей обычной ошибки. Не паникуй раньше времени!

На самом деле мама никогда не владела в панику. Просто в последнее время она все чаще стала приписывать себе то, чего я, по ее мнению, не должен был делать.

Маме кажется, что до меня быстрее дойдет, если я буду знать, что она испытала эти ошибки на собе самой и сама убедилась в их ужасных последствиях.

— Надо идти к Лукьянину, — сказала мама. — У него совещание. Но это неважно. Пойдем... Ты скажешь свое мнение от имени хора!

— И папу захватим.

— Он разволится. А впрочем...

Отец перевордил взгляд с мамы на меня, будто спрашивал: «Грабеж ли это?»

— А Лукьянин разве не знал? — уже вслух спросил папа. — Ты не говорила ему о Викторе Макаровиче?

— Говорила... Но не акцентировала на этом. Я знаю Лукьянину. У него свои принципы. Ставку надо было выбивать не ради определенного человека, тем более пенсионного возраста, а ради дела. Но ведь другой кандидатуры и не было!

— Идем к нему! — решительно заявил отец и пошел впереди, хотя обычно в таких случаях нас за собой ведет мама.

У Лукьянина шло совещание.

— Я загляну..., — сказал папа.

Секретарша как бы защитилась от него обеими руками:

— Ну, это уж на вашу ответственность!

Через минуту Лукьянин вышел в приемную.

Как я и предполагал, он был высоким, стремительным. Лицо его было не просто приятным и открытым, как у меня на концертах, но еще и красивым. И загорелым...

— Что такое? — не здороваясь, спросил он.

— Надо вам рассказать... — начала мама.

— Это срочно?

— Да! — сказал я.

Он взглянул на меня с удивлением, но даже не спросил, кто я такой.

— Давайте!

Он распахнул дверь, которая была напротив его кабинета.

— В чем дело?

— Речь идет о художественном руководителе ансамбля, — сказала мама.

— Этот вопрос решен положительно.

— В том-то и дело, что нет!

— Как не нет? Единица утверждена.

— Но персональное назначение... неверное, — продолжала мама. — Утвержден не Виктор Макарович, а другой человек.

— Ну, в такие детали я вникать не могу...

Тут произошло неожиданное: папа повысил голос.

— Нет, вы прекрасно знаете, что любой проект, любая машина состоят из деталей. И мы постоянно винимаем... Но и художественное произведение и человеческая жизнь — все, все состоят из деталей!

— Директор Дома сообщил мне вчера, что Виктор Макарович сам решил отдохнуть. Что ему врачи запретили...

— Дебет с кредитом явно не сходятся! Он обманул вас..., — сказала мама.

Отец передвинул письменный прибор на столе.

— Тот же самый директор Дома сказал, что Виктор Макарович — уже «пройденный этап». Это — ваше любимое выражение. Но человек не может быть пройденным этапом! — Отец решительно вернул письменный прибор на прежнее место. — И вообщем я должен сказать... Что значит «пройденный этап»? Наша с вами жизнь покоятся на «пройденных этапах». Как на фундаменте! Не надо быть строителем, чтобы знать: без фундамента здание рухнет.

Недавно я слышал что-то очень похожее. Но Виктор Макарович говорил о книге, а отец о фундаменте. Потому что был инженером.

Лукьянин папу не узнавал.

— А я держал вас за чересчур деликатным чоловеком. Это мне нравится!

Отца многие считают чересчур деликатным.

«Ты немного недопонимаешь», — говорит папа в тех случаях, когда я вообще ничего не понимаю. Например, если он помогает мне решать математические задачки. «Вот видишь, как у тебя все получилось!» — говорит он. А на самом деле, получилось не у меня, а у него. «Это не совсем так», — говорит папа, когда что-нибудь совсем уж не так. Он умеет подсказывать, вроде бы не подсказывая. Так бывает и с моими задачками и со звонками Лукьяннова.

— Вот видите, как вы отлично придумали! — говорит он Лукьянину по телефону.

— Это же ты придумал, — возражает мама, когда папа вешает трубку.

— Он и без меня все это знал.

— Знал бы, так не звонил!..

Возражает папа людям так, что кажется, он просто дополняет их собственные мысли.

А тут он почти кричал. И на кого? На Лукьянинова...

— Разве можно не ценить людей, которые уже сыграли свою роль, выполнили, так сказать, свою функцию? — продолжал папа. — Так, простите, и мать с отцом недолго вычеркнут из памяти. Они ведь тоже выполнили свою функцию: родили нас, подняли на ноги. Отговариваться назад — вовсе не значит отступить! — Лукьянин продолжал не узнавать его. — А Виктор Макарович мог бы еще долгие годы исполнять свою роль. Назвать его «пройденным этапом»?

— Это не я назвал, а директор Дома культуры. — Лукьянин оправдывался перед отцом! — Виктора Макаровича я давно знаю. Очень давно! Я пел у него в хоре.

— Вы... пели? — переспросила мама.

— Недолго. Певцом я не стал. Так что практически это не имело значения.

— Это не могло не иметь значения, — сказал папа. — Не надо делать вид, что мы появились на свет такими же, какие мы с вами сейчас. Все имело значение! Мы часто слышим: «Никто не забыт, и ничто не забыто!» Разве это должно относиться только к военным подвигам? По-моему, ко всему добруму, что делают люди... Я это давно вам хотел сказать.

— Вот и сказали, — ответил Лукьянин.

— Но как же, если вы пели... можно было не позвонить Виктору Макаровичу? Не проверить?.. — спросил отец.

— Вы знаете, какие сейчас напряженные дни! — ответил Лукьянин. — У меня на календаре... там, в кабинете, записано: «Позвонить Караваеву». Хотел узнать о здоровье. В таком вот плане. Потому что директор Дома меня заверил... — Лукьянин зашагал по комнате. — Данко я видел Виктора Макаровича. Должно быть, лет двадцать. В Дом культуры хожу главным образом на совещания. Времени нет. К сожалению... — Лукьянин остановился. — А он-то что же, не мог о себе напомнить?

— Неудобно, наверное... напоминать, — сказала мама.

— У меня тоже одна голова! И в ней иногда не хватает места...

Сердце в этом смысле гораздо властительней, — уверенно сказал папа.

— Да, понимаю, — Лукьянин сел за стол, на котором стояли целых три телефона. Он уже не был таким напряженным, стремительным. И хотя в кабинете у него шло совещание, он как будто не торопился. — Нехорошо получилось...

— Дирдом во всем виноват! — крикнул я.

— Кто?

— Директор...

— Дирдом! — Лукьянин громко захлопотал. — Это мне нравится! Очень подходит... Я думаю, еще не поздно перенести!

Лукьянин нажал на кнопку. Воршила секретарша, и он сказал, чтобы она соединила его с Дирдомом.

Я думал, что Лукьянин будет кричать на Дирдома, стучать по столу. Но он не кричал.

Не поздоровавшись, он тихо и четко произнес:

— Всему виноват, — в заблуждение. Виктор Макарович мог остаться! — Дирдом что-то ответил. — Кончили? — Дирдом отточил что-то сказал. — Сейчас у меня нет времени. Потом я вину во все детали. А пока отмечены приказы... То есть как — поздно?

Дирдом что-то объяснял.

Ничего больше не сказав ему, Лукьянин повесил трубку.

— В сегодняшней вечерней газете будет заметка: «Добрый почин. Из театра — в самодеятельность. Заслуженный артист приходит к детям! Или что-то в этом роде...» — сообщила он. И взглянула на часы. Уже пять. Газета печатается.

— Виктор Макарович говорил: «Я счастливый человек: никогда не расстась с детством!» Теперь, значит, придется расстась... — сказала мама.

— Ни в коем случае! — Лукьянин поднялся — Мы найдем другое место.

— Другого места для него быть не может, — сказала мама.

— А не вернуть ли его на прежнюю должность?

— Директором? Там ведь Маргарита Васильевна... осмелился возразить я.

— Она вернется на свое и прежнее место.

— Виктор Макарович не согласится,

— Почему?

— Я вам не могу... объяснить...

Лукьянин почему-то поверил мне.

— Надо пораскинуть мозгами! — По примеру отца он чуть не смахнул на пол письменный прибор. И обратился к маме: — Вы зайдите ко мне завтра по этому вопросу. — Потом обратился к отцу: — А вы зайдите сегодня. По поводу третьего цеха... Надо пораскинуть мозгами!

Он ушел к себе в кабинет, там и не поинтересовался, кто я такой. Может быть, он догадался?

— И все-таки я люблю его, — сказал папа. — Он — голова.

— А душа!.. — тихо спросила мама.

— И душа есть. Только си никогда себя проявлять...

**K**огда я вечером пришел к Виктору Макаровичу, он уже все знал.

— Откуда? — спросил я.

— Мне позвонил Петя Лукьянин.

Своих бывших учеников он называл так же, как называл раньше, когда они были детьми.

— Но почему же вы не сказали нам, что Лукьянин пел у вас в хоре?

— Он сам об этом никогда не вспоминал... Я думал, что эта страница биографии ему почему-либо неприятна.

— Неприятна? Ничего подобного! Просто он не стал певцом. Значит, практически это для него не имело значения!

— Он был очень способным мальчиком. Не у меня... а потом. Побеждал на математических олимпиадах. Я на него не сердусь.

— А на этого певца?

— На Женко Наливина? — Виктор Макарович помолчал. — В ошибках учеников, вероятно, и учитель виноват.

— Ну, уж нет! — возмутился я. — Только он виноват. Только он! И еще Дирдом...

— Хорошо, что Маргарита Васильевна дирижирует хором, — неожиданно сказал Виктор Макарович. — Она все сберегет... Я уверен.

— Сберегет! Она сбережет! — закричал я. — А с этим художественным руководством... Лукьянин сказал: «Нехорошо получилось». Он хотел все абсолютно перепеть. Но опоздал...

— Это было бы невозможно, — сказал Виктор Макарович.

— Почему?

— Ну, во-первых, Женя Наливин — мой ученик. А, во-вторых, победа за чужой счет... это почти поражение. — Он подошел к окну. Мне показалось, для того, чтобы скрыть от меня лицо. — Кажется, пора подводить итоги...

— Ни за что! — закричал я. — Ни за что... Лукьянин с мамой еще такое придумают! А вы пока отдохните... Вот если бы мне предложили сейчас отдохнуть, я был бы счастливейшим человеком! А помните, вы сочинили две песни? Они ведь имели огромный успех. Еще сочините!.. А мама напишет текст. Она сейчас как раз в литературном кружке!

— Добрый ты мой «объявляя», — сказал он, не отрываясь от окна.

## Вадим Шефнер



### Венчанье

Ни строчки о войне  
Нет в книжке у поэта:  
Убит он на войне  
Под Кингисеппом где-то.  
...Лишь строчки мирных лет  
О девушке, о лете —  
А девушки тон нет:  
Погибла в сорок третьем.  
...Могильная трава  
Копытщется над вами,  
Но тихие слова  
Прошли сквозь гром и пламя.  
От этих мирных слов,  
От скромных чай-то вздох,  
Протяжкин чай-то вздох,  
Кому-то жизнь желанней.  
Не ждёт вас общий дом,  
Не ждут от вас известий,  
Но вы вдвоём, вдвоём,  
В стихах — навеки вместе.

### Счастье

Идём за надеждою вслед,  
За древней скрипучей арбою...  
А счастье не там, где нас нет,  
А там, где мы рядом с тобою.

В судьбу к нам оно не влетит  
Кичливой и пышной жар-птицей,  
Но вплавлены в будничный быт  
Его золотые частицы.

### Размышление

Пойми: не в том бессмертие, не в том,  
Чтоб уцепить из многих одному,  
А в том, что в день, когда покинешь дом,  
Не станет пусто в мире и в дому.  
Как прежде, будет колоситься рожь  
И вздрогивать на стрелках поездов,  
И город тот, в котором ты живешь,  
Не сдвигнется; не канет никуда.  
Весь этот мир, что на коротких миг  
Открыли для тебя отец и мать,  
Весь этот мир — бессмертный твой  
— двойник —  
Останется навек существовать.

## Бочка

Надежды громоздкую бочку  
Катил я с давнишней поры  
На эту найвысшую точку  
Вот этой высокой горы.  
Все было — солнечnya, страданья,  
И зной, и холодная дронь,  
Но трудное самозаданье  
Под старость я выполнил все же.  
— Эй, мусы! Готовьте посуду!  
Готовьте стопы и цветы!  
Я с вами застольничать буду,  
Я с Вечностью чокнусь на «ты»!  
...Никто отзоваться не хочет,  
Лишь ветер гудит в бороде.  
Полно здесь полнехоньких бочек,  
Дже же гости! Хозяева где!

### Зарытый канал

Я с вокзала иду, как бывало,  
Яступаю на старенький мост;  
Он теперь над зарытым каналом  
Будто странный, ненужный нарост.

Вспоминаю, что было и сплыло,  
Необъятное смыслою обять  
И невольно гляжу за перила:  
Вдруг себя там увижу опять.

Сколько тысяч моих отражений  
Там осталось в зарытой воде...  
Неужели теперь, неужели  
Нет меня уже больше нигде!

...Торопясь под вокзальные своды,  
За перилами, взвесен со мной,  
Молодые идут пешеходы  
По утоптанной тверди земной.

### Иносказание

Не застраивай летного поля,  
Хоть пустынно и голо оно.  
Не застраивай летного поля,  
Ведь другого не будет дано.

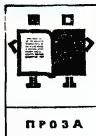
Пусть жалеет, сочувствует кто-то,  
Пусть другим твоя бедность смешна,  
Но тебе для разгона, для взлета  
Только ровная местность нужна.

### Обычный сон

Никто не скажет, почему во сне  
Вдруг возникали рощи и обрывы,  
И давни враг, как друг, пришел ко мне,  
И был я то несчастным, то счастливым.

И мой двойник со мною говорил,  
Подсказывал таинственные числа,  
И вел меня лестницами без перил  
Над безднами — без умысла и смысла.

Был так обычнo необычен сон,  
А мудрый опыт шлялся в самоволке,  
И сам в себе был разум отражен,  
Как в зеркале, разбитом на осколки.



# В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ

РОМАН

I



Рисунки  
Саввы БРОДСКОГО.

Часть третья

**С**клад, в котором на рассвете 22 июня пили чай старшина Степан Матвеевич, старший сержант Федорчук, красноармеец Вася Волков и три женщины, накрыто тяжелым снарядом в первые минуты артподготовки. Снаряд разорвался над входом, перекрытия выдержали, но лестницу завалило, отрезав единственный путь на-вверх — путь к спасению, как тогда считали они. Плужников помнил этот снаряд: взрывная волна швырнула его в свежую воронку, куда потом, когда он уже очухался, ввалился Сальников. Но для него этот снаряд разорвался сзади, а для них — впереди, и пути их надолго разошлись.

Вся война для них, заживо замурованных в глухом каземате, шла теперь наверху. От нее ходумы ходили старые, метровой кладки стены, склад засыпало новыми пластами песка и битых кирпичей, отдушину обвалились. Они были отрезаны от своих и от всего мира, но у них была еда, а воду уже на второй день они добыли из колодца. Мужчины вырыли его, взломав пол, и за сутки там скапливалось до двух котелков. Было что есть, что пить и что делать: они во все стороны, наугад долбили стены, надеясь прорыть ход на поверхность или проникнуть в соседние подземелья. Ходы эти заваливало при очередных бомбежках, и они рыли снова и однажды пробились в запутанный лабиринт подземных коридоров, тупиков и глухих казематов. Оттуда пробрались в оружейный склад, выход из которого тоже был замурован прямым попаданием, и в дальний отсек, откуда вверх вела узкая дыра.

Впервые за много дней они поднялись наверх: заживо погребенные неистово стремились к свободе, воздуху, своим. Один за другим они вылезали из подземелья — все шестеро — и замирали, не решаясь сделать шаг от той щели, что, как им казалось, вела к жизни и спасению.

Крепость еще жила. Кое-где у кольцевых казарм, на той стороне Мухавца и за костелом еще стреляли, еще что-то горело и рушилось. Но здесь, в центре, этого ночью было тихо. И неизвестно. И не было ни своих, ни воздуха, ни свободы.

— Хана, — прохрипел Федорчук.

— Разведка нужна, — сказал старшина. — Куда идти, где они, наши?

Тетя Христи плакала, по-крестьянски собирая слезы в уголок голобиного платка. Мирра прижалась к ней, от трупного смрада ее душили слезы. И только Анна Петровна, сухо глянув глазами даже в темноте глазами, молча пошла через двор.

— Аня! — окликнул Степан Матвеевич. — Куда ты, Аня?

— Дети, — она на секунду обернулась. — Дети там. Мои дети.

Анна Петровна ушла, а они, растерянные и подавленные, вернулись в подземелье.

Окончание. Начало см. в № 2 и в № 3 за 1974 год.

А мать шла, спотыкаясь о трупы, сухими, уже тронытыми безумием глазами взглядавшись в фиолетовый отблеск ракет. И никто не окликнул ее и не остановил, потому что она по участку, уже оставленному нашими, уже взорванному немецкими саперами и вздыбленному многодневной бомбежкой. Она миновала трехарочные ворота и вспомнила на мост, еще скользкий от крови, еще заваленный трупами, и упала здесь, среди своих, в трех местах простреленная случайной очередью. Упала, как шла: прямая и строгая, протянув руки к детям, которых давно уже не было в живых.

Но об этом никто не знал. Ни оставшиеся в подземелье, ни тем более лейтенант Плужников.

Опомнившись, он потребовал патронов. И когда через проломы в стенах, через подземный лаз его провели в склад — тот склад, куда в первые часы войны бежал Сальников, — он увидел новенькие, туksильные от смазки автоматы, полные диски и запечатанные, нетронутые цинки, он с трудом удержал слезы. То оружие, за которое столько ночей они платили жизнями своих товарищей, лежало сейчас перед ним, и большего счастья он не ждал и не хотел. Он всех заставил чистить оружие, снимать смазку, готовить к бою, и все лихорадочно проторали стволы и затворы, заряжавшие его яростной энергии.

К вечеру все было готово: автоматы, запасные диски, цинки с патронами. Все было перенесено в тупик над щелью, где днем лежал он, задыхаясь, не веря в собственное спасение и слушая шаги. Всех мужчин он забирал с собой: каждый, кроме оружия и патронов, нес по фляжке воды из колодца. Женщины оставались подземельем.

— Вернемся, — сказал Плужников.

Он разговаривал коротко и зло, и они молча подчинялись ему. Кто — с уважением и готовностью, кто — со страхом, кто — с плохо скрытым неудовольствием, но возражать никто не осмеливался. Уж очень страшен был этот черный от голода и бесконечности, заросший лейтенант в изодранной, окровавленной гимнастёрке.

Только раз старшина негромко вмешался:

— Убери все. Сухарь ему и кипятка стакан.

Это когда сердобольная тетя Христа выволокла на дощатый стол все, что берегла на черный день. Голодные спазмы скакали горло Плужникова, и он пошел к этому столу, протянув руки. Пощел, чтобы все съесть, все, что видят, чтобы набить живот до отказа, чтобы наконец-то заглушить судороги, от которых он не раз катался по земле, грызя руки, чтобы не кричать. Но старшина твердо взял его за руки, загородил стол.

— Убрай, Яновна. Нельзя вам, товарищ лейтенант. Помрете. Теперь понемногу надо — живот заново приучать надо.

Плужников сдержался. Проглотил судорожный ком, увидел круглые, полные слез глаза Мирры, потребовал улыбнуться, понял, что улыбаться разумно выполз из щели. Долго лежал, вслушиваясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, разговор.

Как только стемнело, он вместе с молоденьким, испуганно-молчаливым бойцом Васей Волковым осторожно выполз из щели. Долго лежал, вслушиваясь в далекую стрельбу, ловил звуки шагов, разговор, разговор. Но здесь было тихо.

— За мной. И не спеши, слушай сначала.

Они облизали все воронки, проверили каждые щели, опустили каждый труп. Сальникова не было.

— Живой, — с облегчением сказал Плужников, когда они спустились к своим. — В плен ушли: наших убитых они не закапывают.

Все же он чувствовал себя виноватым, виноватым не по разуму, а по совести. Он воевал не первый

день и уже хорошо понял, что у войны свои законы, свою мораль и то, что в мирной жизни считается недопустимым, в бою бывает просто необходимо. Но, понимая, что не мог спастись Сальникова, что должен был, обязан был — не перед собой, нет: перед теми, кто послал его в этот поиск, — попытаться уйти и ушел. Плужников очень боялся найти Сальникова мертвым. А немцы увели его в плен, и, значит, оставался еще шанс, что везучий, неунывающий Сальников выживет, выкрутится, а может быть, и убежит. За дни и ночи нескончаемые боев из перепуганного парнишки с расщепленной щекой он вырос в отчаянного, умного, хитрого и изворотливого бойца. И Плужников вздохнул облегченно: «Живой!»

Они натаскали в тупик под щель много оружия и боеприпасов: прорыв следовало обеспечить неожиданный для противника огневой мощью. Все перенести к своим, зараза было не под силу, и Плужников рассчитывал вернуться в эту же ночь. Поэтому он и сказал женщинам, что вернется, но чем ближе подступало время вылазки, тем все больше Плужников начинал нервничать. Оставалось решить еще один вопрос, решить безотлагательно, но как подступиться к нему, Плужников не знал.

Женщин нельзя было брать с собой на прорыв: слишком опасной и трудной даже для обстрелянных бойцов была эта задача. Но нельзя было и оставлять их здесь на произвол судьбы, и Плужников все время мучительно искал выход. Но как он ни прикидывал, выход был один.

— Вы останетесь здесь, — сказал он, стараясь не встречаться взглядом с девушкой. — Завтра днем — у немцев с четырнадцати до шестнадцати обед, самое тихое время, — завтра выйдите нахер с белыми трапезами. И сидитесь в плен.

— В плен? — тихо и недоверчиво спросила Мирра.

— Еще чего выдумали! — не дает ему ответить, громко и возмущенно сказала тетя Христа. — В плен — еще чего выдумали! Да кому я, старуха, в плунуто этом нужна? А девочка? — Она обняла Мирру, прижалась к себе. — С сухой-то ножкой, на деревянки?. . Да будет тебе, товарищ лейтенант, выдумывать, будет!

— Не дойду я, — еле слышно сказала Мирра, и Плужников почему-то сразу понял, что говорит она не о пути до немцев, а о том пути, каким погонят ее эти немцы в плен.

Поэтому он не нашелся сразу, что возразить, и угрюмо молчал, соглашаясь и не соглашаясь с доводами женщин.

— Ишь, чего выдумали! — иным тоном, теперь уже словно удивляясь, продолжала тетя Христа. — Него-дно твое решение, хоты и командир.

— Нельзя вам тут оставаться, — неуверенно сквозил он. — И было решение командования, все женщины ушли...

— Так они вам обузой были, потому и ушли! И я уйду, коли почту, что в тягость. А сейчас-то, сейчас, сынок, кому мы тут с Миррою помешаем, в норе-то нашей? Да никому, воюйте себе на здоровье! А у нас и место есть и еда, и никому мы не в обузу, и отсидимся тут, покуда наши не вернутся.

Плужников молчал. Он не хотел говорить, что немцы каждый день сообщают о взятии все новых и новых городов, о боях под Москвой и Ленинградом, о разгроме Красной Армии. Он не верил немецким речам, но он уже давно не слышал и грохота наших орудий.

— Девчонка-то — жидовочка, — вдруг сказал Федорчик. — Жидовочка да калека — прихлопнут они ее, как пить дать.

— Не смейте так говорить! — крикнул Плужников. — Это их слово, их! Фашистское это слово!

— Тут не в слове дело, — вздохнул старшина. — Федорчук правду говорит. Не любят они еврейской нации.

— Знаю! — разозлился Плужников. — Понял. Все. Остается. Может, они войска из крепости выведут, тогда уходите. Уж как-нибудь.

Он принял решение, но был им недоволен. И член больше думал об этом, тем все больше внутренне противостоял, но предложить что-либо другое не мог. Поэтому он хмуро отдал команду, хмуро пообещал вернуться за боеприпасами, хмуро полез наверх вслед за посланным в разведку Васей Волковым.

Волков был пареньком исполнительным, но всем земным радостям предпочитал сон и использовал для него любые возможности. Перекус укус в первые минуты войны — ужас заживо погребенного — он все же сумел подавить его в себе, но стал еще незаметно и еще исполнительнее. Он решил во всем полагаться на старших и внезапное появление лейтенанта встретил с огромным облегчением. Он плохо понимал, на что сердится этот грязный, оборванный, худой командир, но твердо был убежден, что отныне именно этот командир отвечает за него, Волкова, жизнь. Он старательно исполнил все, что было приказано: тихо выбрался наверх, послушал, оглянулся, никого не обнаружил и начал вытаскивать из дыры оружие и боеприпасы.

А немецкие автоматачи прошли рядом. Они не заметили Волкова, а он, заметив их, не проследил, куда они направлялись, и даже не доложил, потому что это выходило за рамки того задания, которое он получил. Немцы не интересовались их убежищем, шли куда-то по своим делам, и их путь был свободен. И пока он вытаскивал из узкого лаза цинки и автоматы, пока все выбрались на поверхность, немцы уже прошли, и Плужников ничего подозрительного не обнаружил. Где-то стреляли, где-то бросали мины, где-то ярко светили ракетами, но развороченный центр цитадели был пустынен.

— Волков со мной, старшина и сержант — замыкающие. Быстро вперед!

Притгнувшись, они двинулись к темным далеким развалинам, где еще держались свои, где умирал Деницик, где у сержанта оставалось три диска к «дегтярю». И в этот момент в развалинах ярко полыхнуло белое пламя, донесся грохот и вслед за ним короткие и сухие автоматные очереди.

— Подорвали! — крикнул Плужников. — Немцы стены подорвали!

На голос ударили пулемет, трассы пронзили черное небо. Волков упал, выронив цинки, а Плужников, что-то крича, бежал на встречу цветным пулеметным нитям. Старшина дотянул его, сбил с ног, навалился:

— Тихо, товарищ лейтенант, тихо! Опомнись!

— Пусти! Там ребята, там патронов нет, там раненые...

— Куда пустить-то, куда?

— Пусти!..

Плужников бился, стараясь высвободиться из-под тяжелого, сильного тела. Но Степан Матвеевич держал крепко и отпустил только тогда, когда Плужников перестал рваться.

— Поздно уже, товарищ лейтенант, — вздохнул он. — Поздно. Послушай,

Бой в развалинах затихал. Кое-где редко били еще немецкие автоматы: то ли пристреливали темные отсеки, то ли добивали защитников, но ответного огня не было, как Плужников им вслушивался. И пулемет, что стрелял в темноту на его голос, тоже замолчал, и Плужников понял, что не успел, что не выполнил последнего приказа.

Он все еще лежал на земле, все еще надеясь, все еще вслушиваясь в теперь уже совсем редкие очреди. Он не знал, что делать, куда идти, где искать своих. И старшина молча лежал рядом и тоже не знал, куда идти и что делать.

— Обходят. — Федорчук поддергал старшину. — Отрежут еще. Убили этого, что ли?

— Помоги.

Плужников не протестовал. Молча спустился в подземелье, молча лег. Ему что-то говорили, успокаивали, укладывали поудобнее, поили чаем. Он покорно поворачивался, поднимался, ложился, пил, что давали, и молчал. Даже когда девушка, укрывая его шинелью, сказала:

— Это ваша шинель, товарищ лейтенант, помните?

Да, это была его шинель. Новенькая, с золочеными командирскими пуговицами, подогнанная по фигуре шинель, которой он так гордился и которую ни разу не надевал. Он узнал ее сразу, но ничего не сказал: ему было уже все равно.

Он не знал, сколько суток лежит вот так, без слов, дум и движений, и не хотел знать. Днем и ночью в подземелье стояла могильная тишина; днем и ночью тускло светили жировые лампы; днем и ночью за желтым чадным светом дежурила темнота, вязкая и непроницаемая, как смерть. И Плужников неотрывно смотрел в нее. Смотрел в ту смерть, в которой был виновен.

С удивительной ясностью он видел сейчас их всех. Всех, кто, прикрывая его, бросился вперед, бросался, не колеблясь, не раздумывая, дваждымим чем-то непонятным, непостижимым для него. И Плужников не пытался сейчас понять, почему все они — все, погибшие по его вине, — поступали именно так: он просто заново пропускал их перед своими глазами, просто взглядался. Вглядывался неторопливо, внимательно и беспощадно.

Он замешкался тогда у сводчатого окна костела, из которого нестерпимо ярко были автоматные очередь. Нет, не потому, что растерялся, не потому, что собирался с силами: это было его окно, вот и вся причина. Это было его окно, в его бьющую наружу смерть кинулся на он, а тот пограничник с неостывшим ручным пулеметом. И потому — уже мертвый — он продолжал прикрывать Плужникова от пули, и его загустевшая кровь била Плужникову в лицо, как напоминание.

А наутро он бежал из костела. Бежал, бросив сержанта с перевязанной головой. А сержант этот остался, хотя был у самого пролома. Он мог уйти и не ушел, не отступил, не затаился, и Плужников добежал тогда до подвалов только потому, что сержант остался в костеле. Так же, как Володя Деницик, грудью прикрывший его в ночной атаке на мосты. Так же, как Салников, сваливший немца тогда, когда Плужников уже не думал о сопротивлении, уже икал от страха, покорно задрав в небо обе руки. Так же, как те, кому он обещал патрон и не принес их вовремя.

Он недвижимо лежал на скамье под собственной шинелью, ел, когда давали, пил, когда подносили кружку ко рту. И молчал, не отвечая на вопросы. И даже не думал — просто считал долгом.

Он остался в живых только потому, что кто-то побил за него. Он сделал это открытие, не понимая, что это закон войны. Простой необходиимый, как смерть: если ты уцелел, значит, кто-то погиб за тебя. Но он открывал этот закон не отвлеченно, он открыл его на собственном опыте, и для него это было не только вопрос совести, но и вопрос жизни.

— Тронулся лейтенант, — говорил Федорчук,

мало заботясь, слышит его Плужников или нет. — Ну, чего будем делать? Сомим надо думать, старшина.

Старшина молчал, но Федорчук уже действовал. И первым делом старательно запложил кирпичами ту единственную щель, которая вела наверх. Он хотел жить, а не возврат. Просто жить. Жить, пока есть жрата и это глухое, неизвестное немцам подземелье.

— Ослаб он,— вздыхал старшина.— Ослаб лейтенант наш. Ты кормы его помаленьку, Яновна.

Тетя Христина кормила, плача от жалости, а Степан Матвеевич, дав этот совет, сам в него не верил, сам понимал, что ослаб лейтенант не телом, а сломлен духом, и как тут быть, не знал.

И только Мирра знала, что ей делать: необходимо было вернуть к жизни этого человека, заставить его говорить, действовать, улыбаться. Ради этого она притягивала ему шинель, о которой давно забыли все. И ради этого она в одиночестве, ничего никому не объясняясь, терпеливо разбирала рухнувшие с дверного гвоздя кирпичи.

— Ну, чего ты там грохочешь? — ворчал Федорчук.— Обвалов давно не было, соскучилась? Тихо жить надо.

Она молча продолжала копаться и на третий день с торжеством вытащила из-под обломков грязный, покореженный чемодан. Тот, который так упорно и долго искала.

— Вот! — радостно сказала она, притягивая его к столу.— Я помнила, что он у дверей стоял.

— Вот чего ты искала? — вздохнула тетя Христина.— Ах, девка, девка, не ко времени сердечко, твоё прогнуло.

— Сердцу, как говорится, не прикажешь, а только к зря, — сказал Степан Матвеевич.— Ему бы забыть все в пору; и это слишком много помнит.

— Рубаха лишняя не помешает, — сказал Федорчук.— Ну, неси, чего стоишь? Может, улыбнется, хотя и сомневается.

Плужников не улыбнулся. Неторопливо осмотрел все, что перед отъездом уложила матерь: белье, пакеты обмундирования, фотографии. Закрыл кривую, продавленную крышкой.

— Это ваши вещи. Ваши, — тихо сказала Мирра.

— Я помню.

И отвернулась к стене.

— Все, — вздохнул Федорчук.— Теперь уж точно все. Кончились паренек.

И выругался длинно и забористо. И никто его не одернул.

— Ну что, старшина, делать будем? Решать на-до: в этой могиле лежать или в другой какой?

— Чего решать? — неуверенно сказала тетя Христина.— Решено уж: дождемся.

— Чего? — закричал Федорчук.— Чего дождемся? Смерти? Зимы? Немцев? Чего, спрашивай?

— Красной Армии дождемся, — сказала Мирра.

— Красный! — насмешливо переспросил Федорчук.— Дурал! Вот она, твоя Красная Армия: без памяти лежит. Всё! Поражение ей! Поражение ей, по-нятно это!

Он кричал, чтобы все слышали, и все слышали, но молчали. И Плужников тоже слышал и тоже молчал. Он уже все решил, все продумал и теперь терпеливо ждал, когда все заснут. Он научился ждать.

Когда все стихло, когда захрапел старшина, а из трех плоских дверей погасили на ночь, Плужников поднялся. Долго сидел, прислушиваясь к движению спящих и ожидая, когда перестанет кружиться голова. Потом сунул в карман пистолет, бессущим прошел к полке, где лежали заготовленные старшиной фланелевые, взял один и, не зажигая, ощупью направился

к лазу, что вел в подземные коридоры. Он плохо знал их и без света не надеялся выбраться.

Он ничем не брякнул, не скрипнул, он умел бесшумно двигаться в темноте и был уверен, что никто не проснется и не помешает ему. Он обдумал все обстоятельно, он все взял, под всем подвел черту, и тот итог, который получил он под этой чертой, называл его неисполненный долг. И лишь одного не мог он учесть: человека, который уже много ночей спал вполглаза, прислушиваясь к его дыханию там же, как он прислушивался сегодня к дыханию других.

Через узкий лаз Плужников выбрался в коридор и запалил факел: отсюда свет его уже не мог проникнуть в каземат, где спали люди. Держа факел над головой, он медленно шел по коридорам, разгоняя крысы. Странно, что они до сих пор все еще пугали его, и поэтому он не гасил факел, хотя уже сориентировался и знал, куда идти.

Он пришел в туничок, куда ввалился, спасаясь от немцев; здесь до сих пор лежали патронные цинки. Он поднял факел, осветил свод: по дыре оказались плотно забиты кирпичами. Пошатал кирпичи: они не поддавались. Тогда он укрепил факел в обломках и стал раскалывать эти кирпичи двумя руками. Ему удалось выбить несколько штук, но остальные сидели намертво: Федорчук потрудился основательно.

Выяснив, что выход завален, прочно, Плужников прекратил бессмыслицкие попытки: Ему очень не хотелось делать то, что он решил, здесь, в подземелье, потому что тут жили эти люди. Они могли неверно истолковать его решение, посчитать это результатом слабости или умственного расстройства, и это было ему неприятно. Он предпочитал бы просто исчезнуть. Исчезнуть без объяснений, уйти в никуда, но его лишили этой возможности. Значит, им придется возиться с его телом, придется обсуждать его смерть.

Придется, потому что заваленный выход николько не поколебал его в справедливости того приговора, который он сам себе вынес.

Подумал, что он достал пистолет, передернул затвор, мгновение помешкал, не зная, куда лучше стрелять, и поднес к груди: всё-таки ему не хотелось вляться здесь с раздробленным «черепом». Левой рукой он нащупал сердце: оно билось часто, но ровно, почти спокойно. Он убрал ладонь и поднял пистолет, стараясь, чтобы ствол точно уперся в сердце...

— Коля!..

Если бы она крикнула любое другое слово — даже тем же самым голосом, звонким от страха. Любое иное слово — и он бы нажал на спуск. Но то, что крикнула она, было оттуда, из того мира, где был мир, а здесь, здесь не было и не могло быть женщины, которая вот так страшно и призывающе кричала бы его имя. И он невольно опустил руку, чтобы глянуть, кто это кричит. Опустил всего на секунду, но она, волоча ногу, успела добежать.

— Коля! Коля, не надо! Колечка, милый!

Ноги не удержали ее, и она упала, изо всех сил вцепившись в руку, в которой он держал пистолет. Она прижалась мокрым от слез лицом к его руке, целовала грязный, пропахший порохом и смертью руки гимнастёрки, она вжимала его руку в собственную грудь, вжимала, забыв о стыдливости, инстинктивно чувствуя, что там, в девичьем упрогом тепле, он не нажмет на спусковой крючок.

— Брось его. Брось. Я не отпущу. Тогда стреляй сначала в меня. Стреляй в меня.

Густой желтый свет пропитанный салом пакли освещал их. Горбатые тени метались по сводам, уходя

дившим во мглу, и Плужников слышал, как бьется ее сердце.

— Зачем ты здесь? — с тоской спросил он.

Мирра впервые подняла лицо: свет факела дрожал в глазах.

— Ты Красная Армия, — сказала она. — Ты моя Красная Армия. Как же ты можешь? Как же ты можешь бросить меня? За что?

Его не смущила красота ее слов, смущило другое. Оказывается, кто-то нуждался в нем, кому-то он был еще нужен. Нужен, как защитник, как друг, как товарищ.

— Отпусти руку.

— Сначала бросяс пистолет.

— Он на боевом взводе. Может быть выстрел.

Плужников помог Мирре встать. Она поднялась, но по-прежнему стояла вплотную, готовая каждую секунду перехватить его руку. Он усмехнулся, поставил пистолет на предохранитель и сунул в карман, И взял факел.

— Пойдем!

Она шла рядом, держась за руку. Возле лаза остановилась.

— Я никому не скажу. Даже тете Христе.

Он молча погладил ее по голове. Как маленький. И загасил факел в песке.

— Спокойной ночи! — шепнула Мирра, ныряя в наз.

Следом за нею Плужников пролез в каземат, где по-прежнему мощно хранил старшина и чадила плошка. Прошел к своей скамье, укрылся шинелью, хотел подумать, как быть дальше, и заснул. Крепко и спокойно.

Утром Плужников встал вместе со всеми. Убрал свои вещи со скамьи, на которой столько суток пролежал, глядя в одну точку.

— На поправку вернуло, товарищ лейтенант? — недоверчиво улыбаясь, спросил старшина.

— Вода найдется! Кружки три бы.

— Есть вода, есть! — засуетился Степан Матвеевич.

— Польвете мне, Волков! — Плужников впервые за много дней содрал с себя перевернутую гимнастерку, надетую на голое тело: майка давно пошла на бинты. Вынул из продавленного чемодана смену белья, мыло, полотенце. Мирра, пришедшая мне подвортничком к летней гимнастерке,

Вылез в подземный ход, долго, старательно мылся, все время думая, что трябит воду, и впервые сознательно не жалел этой воды. Взрнулся и так же молча побрился, тщательно и ненужно, новенькой бритвой, купленной в училищном военторге не по надобности, а про запас. Растря одеколоном худое, изрезанное непривычной бритвой лицо, надел гимнастерку, что подала Мирра, тут затянулся ремнем. Сел к столу, худая мальчишеская шея торчала из воротника, ставшего непомерно широким.

— Докладывайте.

Переглянувшись. Старшина спросил неуверенно:

— Что докладывают?

— Все. — Плужников говорил жестко и коротко — рубил. — Где наши, где противник.

— Так это... — Старшина замялся. — Противник известно где: наверху. А наши... Наши неизвестно.

— Почему неизвестно?

— Известно, где наши, — угрюмо сказал Федорчик. — Внизу. Немцы наверху, а наши внизу.

Плужников не обратил внимания на его слова. Он говорил со старшиной, как со своим заместителем, и всячески подчеркивал это.

— Почему не знаете, где наши?

Степан Матвеевич виновато вздохнул.

— Разведку не производили.

— Догадываюсь. Я спрашиваю: почему?

— Да ведь как сказать. Болели вы. А мы выход заположили.

— Кто заложил?

Старшина промолчал. Тетя Христя хотела что-то

пояснить, но Мирра остановила ее.

— Я спрашиваю, кто заложил?

— Ну, я! — громко сказал Федорчук.

— Не понял.

— Я!

— Еще раз не понял, — тем же тоном сказал Плужников, не глядя на старшего сержанта.

— Старший сержант Федорчук.

— Так вот, товарищ старший сержант, через час доложите мне, что путь наверх свободлен.

— Днем работать не буду.

— Через час доложите об исполнении, — повторил Плужников. — А слова «не буду», «не хочу» или «не могут» приказываю забыть. Забыть до конца войны. Мы подразделение Красной Армии. Обыкновенное подразделение, только и всего.

Еще час назад, проснувшись, он не знал, что скажет, но понимал, что говорить обязан. Он нарочно оттягивал эту минуту — минуту, которая должна была либо все поставить по своим местам, либо лишить его права командовать этими людьми. Поэтому он и затягивал умывание, переводование, бритье: он думал и готовился к этому разговору. Готовился промолчать войну, и в нем уже не было ни сомнений, ни колебаний.

Все осталось там, во вчерашнем дне, пережитый который ему было суждено.

2

**В** тот день Федорчук выполнил приказание Плужникова: путь наверх стал свободным. В ночь они провели тщательнейший разведку двумя парами: Плужников шел с красноармейцем Волковым, Федорчук — со старшиной. Крепость еще жила, еще огрызались редкими вспышками пер斯特рек, но пер斯特реки эти вспыхивали далеко от них, за Мухавцом, и наладить с кем-либо связи тогда не удалось. Обе группы вернулись, не встретив ни своих, ни чужих.

— Одни побитые, — вздыхал Степан Матвеевич. — Много побито нашего брата. Ой, много!

Плужников повторил поиск днем. Он не очень рассчитывал на связи со своими, понимая, что разрозненные группы уцелевших защитников отшли в глухие подземелья. Но он должен был найти немцев, определить их расположение, связь, способы передвижения по разгромленной крепости. Должен был, иначе их прекрасная и сверхнадежная позиция оказывалась попросту бессмысленной.

Он сам ходил в эту разведку. Добрался до Тереспольских ворот, сутки прятался в соседних развалинах. Немцы входили в крепость именно через эти ворота: регулярно, каждое утро, в одно и то же время. И вечером столь же аккуратно уходили, оставив усиленные караулы. Судя по всему, тактика их изменилась: они уже не стремились атаковать, а обнаружив очаги сопротивления, блокировали их и вызывали оттемечников. Да и ростом эти немцы явно побеждали: карауны стояли более обычным оружием.

— Либо я вырос, либо немцы съелись, — невесело пошутил Плужников вечером. — Что-то в них изменилось, а вот что — не пойму. Завтра с вами

пойдем, Степан Матвеевич. Хочу, чтобы вы тоже поглядели.

Вместе со старшиной они затемно перебрались в обгоревшие и разгромленные коробки казарм восьмидесятого четвертого полка. Степан Матвеевич хорошо знал эти казармы. Заранее расположились почти с удобствами: Плужников наблюдал за берегами Буга, старшина — за внутренним участком крепости возле Холмских ворот.

Утро было ясным и тихим; лишь иногда лихорадочная стрельба вспыхивала вдруг где-то на Кобринском укреплении, возле внешних валов. Внезапно вспыхивала, столь же внезапно прекращалась, и Плужников никак не мог понять, то ли немцы на всякий случай постреливают по казематам, то ли где-то еще держатся последние группы защитников крепости.

— Говариц лейтенант! — напряженным шепотом окликнул старшина.

Плужников перебрался к нему, выглянув: совсем рядом строился шеренгой немецких автоматчиков. И вид их, и оружие, и манера вести себя — манера бывших солдат, которым многое прощается, — все было вполне обычным. Немцы не съежились, не стали меньше, они оставались такими же, какими впервые увидел их лейтенант Плужников.

Три офицера приближались к шеренге. Прозывчала короткая команда, строй вытянулся, командир доложил шедшему первым — высокому и немолодому, видимо, старшему. Старший принял рапорт и медленно пошел вдоль замершего строя. Следомшли офицеры: один держал коробочки, которых старший вручал вышагивающим из строя солдатам.

— Ордена выдает, — сказал Плужников. — Награды на поле боя! Ах, спачку ты фашистская, тебе покажу награды...

Он забыл сейчас, что не один, что вышел не для боя, что развалины казарм за спиной — очень небудничная позиция. Он помнил сейчас тех, за кого получали кресты эти рослые парни, замершие в радионом строю. Вспомнил убитых, умерших от ран, сошедших с ума. Вспомнил и поднял автомат.

Короткие очереди ударили почти в упор, с десятка шагов. Упал старший офицер, выдававший награды, упали оба его ассистента, кто-то из только что награжденных. Но ордена эти парни получали недаром: растерянность их была легковенной, и не успела смолкнуть очередь Плужникова, как строй рассыпался, укрылся и ударил по развалинам изевых автоматов.

Если бы не старшина, они бы не ушли тогда живыми: немцы рассвирепели, никого не боялись и быстро замкнули кольцо. Но Степан Матвеевич знал эти помещения еще по мирной жизни и сумел вывести Плужникова. Воспользовавшись стрельбой, беготней и сумятицей, они проборались через двор и юркнули в свою дыру, когда немецкие автоматы еще простирали каждый закуток в развалинах казарм.

— Не изменился немец! — Плужников попытался засмеяться, но из пересохшего горла вырывался хрип, и он сразу перестал улыбаться. — Если бы не я, старшина, мне бы пришлося туто.

— Про ту дверь в полку только старшины знали, — вздохнул Степан Матвеевич. — Вот она, знает, и пригодилась.

Он с трудом стягивал сапог, портняжка набухала от крови. Тетя Христи закричала, замахала руками.

— Пустяк, Яновна, — сказал старшина. — Мясо зацепило, чувствую. А кость цела. Кость цела, это главное, дырка зарастет.

— Ну и зачем это? — раздраженно спросил Федорчук. — Постреляли, побегали, а зачем? Что,

война от этого скорее кончится, что ли? Мы скорее кончимся, а не война. Война, она в свой час завершится, а вот мы...

Он замолчал, и все тогда промолчали. Промолчали потому, что были полны победного торжества и боевого азарта и спорить с угрюмым старшим сержантом попросту не хотелось.

А на четвертые сутки Федорчук пропал. Он очень не хотел идти в секрет, волынил, и Плужникову пришлося прикрикнуть.

— Ладно, иду, иду, — проворчал старший сержант. — Нужны эти наблюдения, как...

Секреты уходили на весь день: от темна до темна. Плужников хотел знать о противнике все, что мог, прежде чем переходить к боевым действиям. Федорчук ушел на рассвете, не вернулся ни вечером, ни ночью, и обеспокоенный Плужников решил искать невесту куда сгинувшего старшего сержанта.

— Автомат оставил, — сказал он Волкову, — Возьми карабин.

Сам оншел с автоматом, но именно в эту вылезли впервые приказал напарнику взять карабин. Он не верил ни в какие предчувствия, но приказал так и не поклонясь, потому, хотя ползать с винтовкой было неудобно, и Плужников все время шел на покорного Волкова, чтобы он не бржал и не высывал ее где попало. Но сердился Плужников совсем не из-за винтовки, а из-за того, что никаких следов старшего сержанта Федорчука им так и не удалось обнаружить.

Светало, когда они проникли в полуразрушенную башню над Тереспольскими воротами. Судя по прежним наблюдениям, немцы избегали на нее подниматься, и Плужников рассчитывал спокойно оглядеться с высоты и, может быть, где-нибудь да обнаружить старшего сержанта Живого, раненного или мертвого, но обнаружить и успокоиться, потому что неизвестность была хуже всего.

Приказав Волкову держать под наблюдением противоположный берег и мост через Буг, Плужников тщательно осматривал изрытый воронками крепостной двор. В нем по-прежнему валялось множество неубранных трупов, и Плужников подолгу всматривался в каждый, пытаясь издалека определить, но Федорчук ли это. Но Федорчука пока никогда не было видно, и трупы были старыми, уже заметно тронутыми тленiem.

— Немцы...

Волков выдохнул это слово так тихо, что Плужников понял его потому лишь, что сам все время ждал этих немцев. Он осторожно перебрался на другую сторону и выглянул.

Немцы — человек — десять — стояли на противоположном берегу у моста. Стояли свободно: галдели, смеялись, размакивали руками, глядя куда-то из этого берега. Плужников вытянулся, скосил глаза, заглянул вниз, почти пэд корень башни, и увидел то, о чём думал и что так боялся увидеть.

От башни к немцам по мосту шел Федорчук. Шел, подняв руки, и белые марлевые тряпочки колыхались его кулаках в таки грузным, уверенным шагам. Он шел в плен там спокойно, так обдуманно и неторопливо, словно возвращался домой после тяжелой и нудной работы. Все его существо излучало такую преданную готовность служить, что немцы без слов поняли его и ждали с шуточками и смехом, и винтовки их мирно висели за плечами.

— Товарищ Федорчук, — удивленно сказал Волков. — Товарищ старший сержант...

— Товарищ! — Плужников, не глядя, требовательно протянул руку. — Винтовку.

Волков привычно засуетился, но замер вдруг. И глупо глядел:

— Зачем?

— Винтовку! Живо!

Федорчук уже подходил к немцам, и Плужников торопился. Он хорошо стрелял, но именно сейчас, когда никак нельзя было промахиваться, он через чур резко развел спуск. Чересчур резко, потому что Федорчук уже миновал мост и до немцев ему оставалось четыре шага.

Пуля ударила в землю позади старшего сержанта. То ли немцы не слыхали одиночного выстрела, то ли просто не обратили на него внимания, но появление их не изменилось. А для Федорчука этот прогремевший за спиной выстрел был его выстрелом: выстрелом, которого ждала амиг взмокшая спина, туго обтянутая гимнастеркой. Услышав его, он прыгнул в сторону, упал, на четвереньках кинулся к немцам, а немцы, гогота, вселись, патились от него, а он то припадал к земле, то метался, то полз, то поднимался на колени и тянул к немцам руки с закутыми в кулаках белыми марлевыми тряпками.

Вторая пуля нашла его на коленях. Он сунулся вперед, он еще корчился, еще полз, еще кричал что-то дико и непонятно. И немцы ничего не успели понять, хохотали, потешаясь над здоровенным мужиком, которому так хотелось жить. Никто ничего не успел сообразить, потому что три следующих выстрела Плужникова сделали, как на учлищных соревнованиях по скоростной стрельбе.

Немцы открыли беспорядочный ответный огонь, когда Плужников и растерянный Волков уже были внизу, в пустых, разрушенных казематах. Где-то над головой взорвалась несколько мìn, Волков попытался забриться в щель, но Плужников поднял его, и они снова куда-то бежали, падали, ползли и успели пересечь двор и завалиться в воронку за подбитым броневиком.

— Вот так,— задыхаясь, сказал Плужников.— Гад он. Гадина. Предатель.

Волков глядел на него круглыми, перепуганными глазами и кивал послепишно и непонимающе. А Плужников все говорил и говорил, повторяя одно и то же:

— Предатель. Гадина. С платочком шел, видел? Чистенькие нашел марлечки, у тети Христи, наверно, стащил. За жизнь свою поганую все бы продали, все. И нас бы с тобой продали. Гадюка. С платочками, а? Видел? Ты видел, как он шел, Волков? Он спокойненько шаг, обдуманно.

Ему хотелось выговориться, просто произнестить слова. Он убивал врагов и тогда не чувствовал потребности объяснять это. А сейчас не мог молчать. Он застrelил человека, с которым не один раз сидел за общим столом.

Но Плужников не испытывал угрызений совести, наоборот, он ощущал злое, радостное возбуждение и поэтому говорил и говорил.

А красноармеец первого года службы Вася Волков, призванный в армию в мае сорок первого, покорно кивая, слушал его, не слыша ни единого слова. Он ни разу не был в боях, и для него даже немецкие солдаты еще оставались людьми, в которых нельзя стрелять, по крайней мере пока не прикажут. И первая смерть, которую он увидел, была смертью человека, с которым он, Вася Волков, прожил столько дней, самых страшных дней в своей короткой, тихой и покойной жизни. Именно этого человека он знал ближе всех, потому что еще до войны они служили в одном полку и спали в одной казарме. Этот человек ворчливо учил его оруженному делу, поил чаём с сахаром и позволял немножко поспать во время скучных армейских нарядов. А сейчас этот человек лежал на том берегу, ле-

жал ничком, зарывшись лицом в землю и вытянув вперед руки с зажатыми кусками марли. Волкову не хотелось плохо думать о Федорчуке, хотя он и не понимал, зачем старший сержант шел к немцам. Волков подумал, что у Федорчука могли быть свои причины для такого поступка, и причины эти следовало узнать, прежде чем стрелять в спину. Но этот лейтенант — худой, страшный и непонятный,—этот чужой лейтенант не хотел ни в чем разбираться. С самого начала, как он появился у них, он начал угрожать, пугать, расстрелять, размахивать оружием.

Думая так, Волков не испытывал какого-то особого страха: стран его был нормальным и естественным. А вот одиночество, которое ощущал он сейчас, было ненормальным и неестественным. Оно мешало Волкову почтительно себя человеком и бойцом, он неподелимой стеною вставало между ним и Плужниковым. И Волков боялся своего командира, не понимал его и потому уже не верил.

Немцы появились в крепости, пройдя через Тереспольские ворота — много, до звезд. Вышли строем, но тут же рассыпались, пронесывая примыкающие к Тереспольским воротам отсеки колцевых казарм; вскоре оттуда стали доноситься взрывы гранат и тут же огнеметные запалы. Но Плужников не успел порадоваться, что противник ищет его совсем не в той стороне, потому что из тех же ворот вышел еще один немецкий отряд. Вышел, тут же развернулся цепь и направился к развалинам казарм тридцати третьего полка. И там тоже загрохотали взрывы и тяжко заухали огнеметы.

Именно этот немецкий отряд должен был рано или поздно выйти на них. Надо было немедленно отходить, но не к своим, не к дыре, ведущей подземелье, потому что этот участок двора легко проматывался противником. Отходить следовало в глубину, в развалины казарм за костелом.

Плужников обстоятельно растолковал бойцу, куда и как следует отходить. Волков выслушал все с молчаливой покорностью, ни о чем не переспросил, ничего не уточнил, даже не кивнул. Это не понравилось Плужникову, но он не стал терять времени на расспросы. Боец был без оружия (его винтовку сам Плужников бросил еще там, в башне), чувствовал себя неуютно и, наверно, побаивался. И чтобы подбодрить его, Плужников подмигнул и даже улыбнулся, но и подмигивание и улыбка вышли такими натянутыми, что могли напугать и более отважного, чем Волкова.

— Ладно, добудем тебе оружие,— хмуро буркнул Плужников, поспешно перестав улыбаться.— Пошел вперед. До следующей воронки.

Короткими перебежками они миновали открытое пространство и скрылись в развалинах. Здесь было почти безопасно, можно передохнуть и осмотреться.

— Здесь не найдут, не бойся.

Плужников опять попытался улыбнуться, а Волков опять промолчал. Он вообще был молчаливым, и поэтому Плужников не удивился, но почему-то вдруг вспомнил о Сальникове. И вздохнул.

Где-то за развалинами — не сзади, где остались немецкие поисковые группы, а впереди, где никаких немцев не должно было быть, — послышался шум, неясные голоса, шаги. Судя по звукам, людей там было много, они не скрывались и уже поэтому не могли быть своими. Скорее всего сюда двигался еще какой-то немецкий отряд, и Плужников насторожился, пытаясь понять, куда он направляется. Однако люди нигде не появлялись, а неясный шум, гул голосов и шарканье продолжались, не приближаясь, но и не удаляясь от них.

— Сиди здесь, — сказал Плужников. — Сиди и не высовывайся, пока я не вернусь.

И опять Волков промолчал. И опять глянул странными, напряженными глазами.

— Жди, — повторил Плужников.

Он осторожно крахся через развалины. Пробирался по кирпичным осколкам, не сдвигнув ни одного обломка, перебегая открытые места, часто останавливался, замирая и вслушиваясь. Он шел на странные шумы, и шумы эти теперь приближались, делались все яснее, и Плужников уже догадывался, кто бродит там, по ту сторону развалин. Догадывался, но еще сам не решался поверить.

Последние метры он прополз, обдирая колени об острые грани кирпичных осколков и закаменевшей штукатурки. Выскольз убежище, заполз, перевел автотом на боевой взвод и выплынул.

На крепостном дворе работали люди. Стаскивали в глубокие воронки полуразложившиеся трупы, засыпали их обломками кирпичей, песком. Не осмотрев, не собирая документов, не сняв медальонов. Неторопливо, устало и равнодушно. И, еще не замечав охраны, Плужников понял, что это пленные. Он сообразил это еще на бегу, но почему-то не решался поверить в собственную догадку, боялся в упор, воочию, в трех шагах увидеть своих, советских, в знакомой, родной форме. Советских, но уже не своих, уже отданных от него, кадрового лейтенанта Красной Армии Плужникова, зловещим словом «пленка».

Он долго следил за ними. Смотрел, как они работают: безостановочно и равнодушно, как автомобили. Смотрел, как ходят: ссутулившись, шаркая ногами, точно втрой вдруг постарев. Смотрел, как они тупоглядят перед собой, не пытаясь даже сориентироваться, определиться, понять, где находятся. Смотрел, как лениво поглядывает на них немногочисленная охрана. Смотрел и никак не мог понять, почему эти пленные не разбегаются, не пытаются уйти, скрываться, вновь обрести свободу. Плужников не находил этому объяснений и даже подумал, что немцы делают пленным какие-то уколы, которые и превращают вчерашних активных бойцов в тупых исполнителей, уже не мечтающих о свободе и оружии. Это предположение хоть как-то примиряло его с тем, что он видел собственными глазами и что так противоречило его личным представлениям о чести и гордости советского человека.

Объяснив для себя странную пассивность и странное послушание пленных, Плужников стал смотреть на них несколько по-другому. Он уже жалел их, сочувствовал им, как жалеют и сочувствуются тяжелым заболевшим. Он подумал о Сальникове, поискав его среди тех, кто работал, но нашел — и обрадовался. Он не знал, жив ли Сальников или уже погиб, но здесь его не было, и, значит, в покорного исполнителя его не превратили. Но какой-то другой знакомый — крупный, медлительный и старательный — здесь был, и Плужников, приметив его, все время мучительно напрягал память, пытаясь вспомнить, кто же это такой.

А рослый пленный, как назло, ходил рядом, в двух шагах от Плужникова, огромной совковой лопатой подгребая кирпичную крушку. Ходил рядом, царапал своей лопатой возле самого уха и все никак не поворачивался лицом...

Впрочем, Плужников и так узнал его. Узнал, вдруг припомнил и бой в костеле, и ночной уход оттуда, и фамилию этого бойца. Вспомнил, что боец был приписанником, из местных, и жалел, что добровольно пошел на армянскую службу в мае вместо октября, и как Сальников утверждал тогда, будто у

погиб в той внезапной ночной перестрелке. Все это Плужников вспомнил очень ясно и, дождавшись, когда боец вновь подошел к его норе, позвал:

— Прижнок!

Вздрогнула и еще ниже согнулась широкая спина. И замерла испуганно и покорно.

— Это я, Прижнок, лейтенант Плужников. Помнишь, в костеле?

Пленный не поворачивался, ничем не показывал, что слышит голос своего бывшего командира. Просил согнуться над лопатой, подставив широкую покорную спину, тут обтянутую грязной изодранной гимнастёркой. Эта спина была сейчас полна ожидания: так напряглась она, так выгнулась, так замерла. И Плужников понял вдруг, что Прижноку с ужасом ждет выстрела и спина его — огромная и незащищенная спина — стала сутулой и покорной именно потому, что уже давно и привычно каждое мгновение ждала выстрела.

— Ты Сальникова видел? Сальникова в пленах встречал? Отвечай, нет тут никого.

— В лазарете он.

— Где?

— В лазарете лагерном.

— Болен, что ли?

Прижнок промолчал.

— Что с ним? Почему он в лазарете?

— Товарищ командир, товарищ командир... — воровато оглянувшись, зашептал вдруг Прижнок. — Не губите, товарищ командир, богом прошу, не губите меня. Нам, которые работают хорошо, которые стараются, нам послабление будет. А которые местные, тех домой отпустят, обещали, что непременно дойдут...

— Ладно, не причитай, — зло перебил Плужников. — Служи им, зарабатывай свободу, беги домой — все равно не человек ты. Но одно ты сделаешь, Прижнок: Сделаешь, или пристрели тебя сейчас к чертовой матери.

— Не губите... — В голосе пленного звучали рты ния, но Плужников уже подавил в себе жалость к этому человеку.

— Сделаешь, спрашиваю? Или — или, я не шучу.

— Ну что могу я, что? Подневольный я. — Пистолет Сальникову передашь. Передашь и скажешь, пусть на работу в крепость просится. Понял?

Прижнок молчал.

— Если не передашь, смотри. Под землей найду, Прижнок. Держи.

Размакнувшись, Плужников перебросил пистолет прямо на лопату Прижнока. И как только звякнул этот пистолет о лопату, Прижнок вдруг метнулся в сторону и побежал, громко крича:

— Сюда! Сюда, человек тут! Господин немец, сюда! Лейтенант тут, лейтенант советский!

Это было так неожиданно, что на какое-то мгновение Плужников растерялся. А когда опомнился, Прижнок уже выбежал из сектора его обстрела; к норе, грохоча подкованными сапогами, бежала лагерная охрана, и первый сигнальный выстрел уже ударил воздух.

Отступать назад, туда, где прятался безоружный и напуганный Волков, было невозможно, и Плужников бросился в другую сторону. Он не пытался отстреливаться, потому что немцев было много, он хотел оторваться от преследования, забыться в глухой каземат и отлежаться там до темноты. А ночью отыскать Волкова и вернуться к своим.

Ему легко удалось уйти: немцы не очень-то стрелялись в темные подавальни, да и беготня по развалинам их тоже не устраивала. Постреляли вдогонку,

покричали, пустили ракету, но ракету эту Плужников увидел уже из надежного подвала.

Теперь было время подумать. Но и здесь, в чуткой темноте подземелья, Плужников не мог думать ни о расстрелянном им Федорчуке, ни о растерзанном Волкове, ни о покорном, уже согнутом приписнике. Он не мог думать о них не потому, что не хотел, а потому, что неоступно думал совсем о другом и куда более важном: о немцах.

Он опять не узнал их сегодня. Не узнал в них сильных, самоуверенных, до наглости отчаянных молодых парней, упрямых в атаках, цепких в преследовании, упорных в рукопашном бою. Нет, те немцы, с которыми он до этого драился, не выпустили бы его живым после крика Приянкона. Те немцы не стояли бы в открытию на берегу, поджидали, когда к ним подойдет поднявший руки красноармеец. И не ходили бы после первого выстрела. И уж наверняка не позволили бы им с Волковым безнаказанно улизнуть после расстрела первебежника.

Те немцы, эти немцы... Еще ничего не зная, он уже сам предполагал разницу между немцами периода штурма крепости и сегодняшнего дня. По всей вероятности, те активные «штурмовые» выведены из крепости, а их место заняли немцы другого склада, другого боевого почерка. Они не склонны проявлять инициативу, не любят риска и откровенно побаиваются темных стреляющих подземелий.

Сделав такой вывод, Плужников не только повеселел, но и определенным образом обнаглев. Вновь созданная им концепция требовала опытной проверки, и Плужников сознательно сделал то, на что никогда бы не решился прежде: пошел к выходу из тоннеля, не скрываясь и нарочно грочкока сапогами.

Так он и вышел из подвала: только автомат держал под рукой на боевом взводе. Немцев у выхода не оказалось, что лишний раз подтверждало его догадку и значительно упрощало его положение. Теперь следовало подумать, посоветоваться со старшиной и выработать новую тактику сопротивления. Новую тактику их личной войны с фашистской Германией.

Думая об этом, Плужников далеко обошел пленных — за развалинами по-прежнему слышалось унылое шарканье — и подошел к месту, где оставил Волкова, с другой стороны. Места эти были ему знакомы, он научился быстро и точно ориентироваться в развалинах и сразу вышел к наклонной кирпичной глыбе, под которой спрятан Волков. Глыба была там же, но самого Волкова ни под ней, ни подле нее не оказалось.

Не веря глазам, Плужников ощупал эту глыбу, излил соседние развалины, заглянул в каждый камертак, рискнул даже несколько раз окликнуть прошедшего молодого, необстрелянного бойца со странными, почти не мигающими глазами, но отыскать тайи не смог. Болок исчез неизъяснимо и таинственно, не оставив после себя ни клочка одежды, ни капли крови, ни крика и ни вздоха.

— Застрелил?..

Она с запинкой, с трудом произнесла это слово. Оно было чужим, не из того обихода, который сложился в ее семье. Там говорили о детях и хлебе, о работе и усталости, о дровах и о картошке. И еще о болезнях, которых всегда хватало.

— Застрелил!

Плужников кивнул. Он понимал, что она спрашивает, жалея его, а не Федорчука. Жалея и ужасаясь тяжести совершенного, хотя сам он не чувствовал никакой тяжести — только усталость.

— Боже мой, — вздохнула Мирра. — Боже мой, все походили на ума.

Она сказала это по-взрослому, горяко и спокойно. И так же, по-взрослому, спокойно протянула к себе его голову и трижды поцеловала: в лоб и в оба глаза.

— Я возьму твоё горе, я возьму твои болезни, я возьму твои несчастья.

Так говорила ее мама, когда заболевал кто-либо из детей. А детей было много, очень много вечно голодных детей, и мама не знала ни своего горя, ни своих болезней: ей хватало хлеба и горя детей. И всех своих девочек она учila сначала думать не о своих бедах. И Миррочку тоже, хотя всегда вздыхала при этом:

— А тебе вез как чужих болеть: своих не будет, доченька.

Мирра с детства свыкалась с мыслью, что ей суждено идти в изнанки к более счастливым сестрам. Свыкалась и уже не горевала, потому что ее особое положение — положение увечной, на которую никто не позверится, — тоже имело свои преимущества, и прежде всего свободу.

А тетя Христа все бродила по подвалу и пересчитывала изгрызенные крысами сухари. И шептала при этом:

— Двоих нету. Двоих нету. Двоих нету.

В последнее время она ходила с трудом. В подземельях было прохладно, у тети Христи отекли ноги, да и сама она без солнца, движений и свежего воздуха стала еще более рыхлой, плохо спала и задыхалась. Она чувствовала, что здоровье ее вдруг надломилось, понимала, что с каждым днем ей будет все хуже и хуже, и втайне решила уйти. И плакала по ночам, жалея не себя, а девушку, которая вскоре должна была остаться одна. Без материнской руки и женского совета.

Она и сама была одинокой. Трое ее детей померли еще в младенчестве, муж уехал на заработки да так и сгинул, дом отобрали за долги, и тетя Христа, спасаясь от голода, перебралась в Брест. Служила в прислугах, перебивалась кое-как, пока не пришла Красная Армия. Эта Красная Армия — веселая, щедрая и добрая — впервые в жизни дала тете Христе постоянную работу, достаток, товарищей и комната по уплатлению.

— То божье войско, — важно поясняла тетя Христа непривычно тихому брестскому рынку. — Молитесь, панове.

Сама она давно не молилась не потому, что не верила, а потому, что обиделась. Обиделась на великую несправедливость, лишившую ее детей и мужа, и разом прекратила всякое общение с небесами. И даже сейчас, когда ей было очень плохо, она изо всех сил сдерживала себя, хотя очень хотелось помолиться и за Красную Армию, и за молоденского лейтенанта, и за девочку, которую так жестоко обидел ее собственный еврейский бог. Она была переполнена этими мыслями, внутренней борьбой и ожиданием близкого конца. И все делала по многолет-

### 3

**C**тало быть, снял ты Федорчука, — вздохнул Степан Матвеевич. — А пернишку жалко. Проладил парнишка, товарища лейтенант, больно ух с действа он нагуяни.

Тихого Васю Волкова вспомнили еще нескользко раз, а Федорчуке больше не говорили. Словно не было его, словно не ел он за этим столом и не спал в соседнем углу. Только Мирра спросила, когда оставались одни:

ней привычке к труду и порядку, не прислушиваясь более к разговорам в каземате.

— Считаете, другой немец пришел?

От постоянного холода у старшины нестерпимо ныла простреленная нога. Она распухла и горела непрестанно, но об этом Степан Матвеевич никому не говорил. Он упрямо верил в собственное здоровье, а поскольку кость на ноге была цела, то дырка обшивки была застята сама собой.

— А почему они за мной не побежали? — размышил Плужников. — Всегда бегали, а тут выпустили, Почемуч?

— А могли и не менять немцев, — сказал старшина, подумав. — Могли.

— Могли, — вздохнул Плужников.

Передохнув, он опять выскользнул наверх искать таинственно пропавшего Волкова. Вновь попал, застыдясь от пыли и трутного смрада, звал, вслушивался. Ответа не было.

Встреча с немцами произошла неожиданно. Мирно разговаривая, они вышли на него из-за ущелившей стены. Карабины висели за плечами, но даже если бы они держали их в руках, Плужников и тогда успел бы выстрелить первым. Он уже выработал в себе молниеносную реакцию, и она до сих пор спасала его.

Автомат Плужникова выпустил короткую очередь, один немец рухнул на кирпичи, и патрон перекосился при подаче. Пока Плужников судорожно дергал затвор, второй немец мог бы давно прикончить его или убежать, но вместо этого он упал на колени. И покорно ждал, пока Плужников вышиб застрявший патрон.

Солнце давно уже село, но было еще светло: эти немцы приподнялись что-то сегодня и не успели вовремя покинуть мертвый, перепеханный снарядами крепостной двор. Не успели, и теперь один уже перестал вздрагивать, а второй стоял перед Плужниковом на коленях, склонив голову. И молчал.

И Плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет застрелить ставшего на колени противника, но что-то мешало ему вдруг повернуться и исчезнуть в развалинах. Мешал все тот же вопрос, который занимал его не меньше, чем пропавший боев: почему немцы стали такими, как вот этот, послушно рухнувший на колени. Он не считал свою войну законченной, и поэтому ему необходимо было звать о враге все. А ответ — не предположения, не догады, а точный, реальный ответ! — ответ этот стоял сейчас передnim, ожидая смерти.

— Комм<sup>1</sup>, — сказал он, указав автоматом, куда следовало идти.

Немец что-то говорил по дороге, часто оглядываясь, но Плужникову некогда было припомнить немецкие слова. Он гнал пленного к дыре кратчайшим путем, ожидая стрельбы, преследования, окриков. И немец, пригнувшись, рысил впереди, затравленно втянув голову в узкие штатские плечи.

Так они перебежали через двор, пробрались в подземелья, и немец первым влез в тускло освещенный каземат. И здесь вдруг замолчал, увидев бородатого старшину и двух женщин у длинного дощатого стола. И они тоже молчали, удивленно глядя на сутулого, насмешливо перегуленного и далеко не молодого врага.

— Языка добей, — сказал Плужников и с мальчишеским торжеством поглядел на Мирру. — Вот сейчас все загадки и выясним, Степан Матвеевич.

Немец опять заговорил громким плачущим голосом, захлебываясь и глотая слова. Протягивал впе-

ред дрожавшие руки, показывая ладони то старшине, то Плужникову.

— Ничего не понимаю, — растерянно сказал Плужников. — Терехти.

— Рабочий он, — сообразил старшина. — Видите, руки показывает?

— Лянгзам<sup>2</sup>, — сказал Плужников. — Битте, лянгзам<sup>3</sup>.

Он напряженно припоминал немецкие фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец поспешно покивал, выговорил несколько фраз медленно и старательно, но вдруг, всхлипнув, вновь сорвался на лихорадочную скороговорку.

— Испуганный человек, — вздохнула тетя Христя. — Дрожком дрожит.

— Он говорит, что он не солдат, — сказала вдруг Мирра. — Он охранник.

— Понимаешь по-немецму? — удивился Степан Матвеевич.

— Немножко.

— То есть как так — не солдат? — нахмурился Плужников. — А что он в нашей крепости делает?

— Нихт зольдат! — закричал немец. — Нихт зольдат, нихт вермахт!

— Дела... — озадаченно протянул старшина. — Может, из наших пленных охраняет?

Мирра перевела вопрос. Немец слушал, часто кивая, и разразился длинной tirадой, как только она замолчала.

— Пленных охраняют другие, — не очень уверенено переводила девушка. Этим приказано охранять входы и выходы из крепости. Они караульная команда. Он настоящий немец. А крепость штурмовали австрийцы из сорок пятой дивизии, земляки фюрера. А он рабочий, мобилизован в апреле...

— Я же говорил, что рабочий! — с удовольствием отметил старшина.

— Как же он, рабочий, пролетарий, как он мог против нас... — Плужников замолчал, махнув рукой. — Даю, об этом не спрашивай. Спроси, есть ли в крепости боевые части или их уже отвели.

— А как по-немецки боевые части?

— Ну, не знаю... спроси, есть ли солдаты.

Медленно подбирая слова, Мирра начала переводить. Немец слушал, от старшины свесив голову. Несколько раз уточнял, что-то переспросил, а потом опять зачесался, затараторил, то тыча себе в грудь, то изображая автоматика: «Ту-ту-ту!..»

— В крепости остались настоящие солдаты: саперы, автоматчики, огнеметчики. Их вызывают, когда обнаруживают русских: таков приказ. Но он не солдат, он караульная служба, он ни разу не стрелял по людям.

Немец опять что-то затараторил, замахал руками. Потом вдруг торжественно погрозил пальцем Христине Яновне и неторопливо, важно достал из кармана на мятого мундира черный пакет, склеенный из автомобильной резины. Вытащил из пакета четыре фотографии и положил на стол.

— Дети, — вздохнула тетя Христя. — Детишек своих кажет.

— Киндер! — крикнул немец. — Майнен киндер! Драй!

И гордо тыкал пальцем в неказистую узкую грудь — руки его больше не дрожали.

Мирра и тетя Христа рассматривали фотографии, рассказывали пленного о чем-то важном, по-женски беспокойно подробном и добром. О детях, булочках, здоровье, школьных отметках, простудах, зав-

<sup>1</sup> Комм — иди.

<sup>2</sup> Лянгзам — медленно.

<sup>3</sup> Битте, лянгзам — пожалуйста, медленно.

траках, курточках. Мужчины сидели в стороне и думали, что будет потом, когда придется кончить этот добрососедский разговор. И старшина сказал, не глядя:

— Придется вам, товарищ лейтенант: мне с ногой трудно. А отпустить опасно: дорогу к нам знает.

Плужников кивнул. Сердце его вдруг заныло, заныло, тяжело и безнадежно, и он впервые остро пожалел, что не пристрелил этого немца сразу, как только перезарядил автомат. Мысль эта возвысилась в нем физическая дурнота: даже сейчас он не глядел в палаты.

— Ты уж извини,— виновато сказал старшина.— Нога, понимаешь...

— Понимаю, понимаю! — слишком торопливо пебрил Плужников.— Патрон у меня перекисило...

Он резко обворвал, поднялся, взял автомат:

— Комм!

Даже при чадном свете было видно, как посерел немец. Посерел, сутулился еще больше и стал суетливо собирать фотографии. А руки не слушались, дрожали, пальцы не гнулись, и фотографии все время высказывались на стол.

— Форвертс!<sup>1</sup> — крикнул Плужников, взводя автомат.

Он чувствовал, что еще мгновение — и решимость оставит его. Он уже не мог смотреть на эти суетливые, дрожащие руки.

Форвертс!

Немец, поставившись, постоял у стола и медленно пошел к лазу.

— Карточки свои забыл! — вспомнилась тетя Христа. — Обожди!

Переваливаясь на распухших ногах, она донгала немца и сама затолкала фотографии в карман его мундира. Немец стоял, покачиваясь, тупо глядя перед собой.

— Комм! — Плужников толкнул пленного дулом автомата.

Они оба знали, что им предстоит. Немец брел, тяжело волоча ноги, трясущимися руками все обирал и обирал полы матого мундира. Спина его вдруг начала потеть, по мундиру поползло темное пятно, и дурнотный запах смертного пота шлейфом волочился сзади.

А Плужникову предстояло убить его. Вывести наверх и упор шарахнуть из автомата в это вспотевшую, сутулую спину. Спину, которая прикрывала трех детей. Конечно же, этот немец не хотел вовать, конечно же, не своей ходой забрел он в эти страшные развалины, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Конечно, нет, Плужников все это понимал и, понимая, беспощадно гнал вперед:

— Шнелль! Шнелль!<sup>2</sup>.

Не обрачиваясь, он знал, что Мирра идет следом, припадая на больную ногу. Идет, чтобы ему не было трудно одному, когда он выполнит то, что обязан выполнить. Он сделает это наверху, вернется сюда, и здесь, в темноте, они встретятся. Хорошо, что в темноте: он не увидит ее глаз. Она просто что-нибудь скажет ему. Что-нибудь, чтобы не было так мутно на душе.

— Ну лез же ты!

Немец никак не мог пролезть в дыру. Ослабевшие руки срывались с кирпичей, он скатывался назад, на Плужникова, сопя и всхлипывая. От него дурно пахло: даже Плужников, притерпевшийся к вони, с трудом выносил этот запах — запах смерти в еще живом существе.

— Лезы...

<sup>1</sup> Форвертс — вперед.

<sup>2</sup> Шнелль — быстро.

Он все-таки выпихнул его наверх. Немец сделал шаг, ноги его подломились, и он упал на колени. Плужников ткнул его дулом автомата, немец мягко перевалился на бок и, скривившись, замер.

Мирра стояла в подземелье, смотрела на уже не видимую в темноте дыру и с ужасом ждала выстрела. А выстрелов все не было и не было.

В дыре зашуршало, и сверху спрыгнул Плужников. И сразу почучствовал, что она стоит рядом.

— Знаешь, оказывается, я не могу выстреливать в человека.

Проходящие руки нащупали его голову, притянули к себе. Щекой он ощущил ее щеку: она была мокрой от слез.

— За что нам это? За что, ну, за что? Что мы сделали плохого? Мы же сделать ничего еще не успели, ничего!

Она плакала, прижимаясь к нему лицом. Плужников неумело погладил ее худенькие плечи.

— Ну что ты, сестренка? Зачем?

— Я боялась. Боялась, что ты застрелишь этого старика.— Она вдруг крепко обняла его, нескользко раз торопливо поцеловала.— Спасибо тебе, спасибо, спасибо. А им не говори: пусть это будет наша тайна. Ну, как будто ты для меня это сделал, ладно?

Он хотел сказать, что действительно сделал это для нее, но не сказал, потому что он не застрелил этого немца все-таки для себя. Для своей совести, которая хотела оставаться чистой, несмотря ни на что.

— Они не спросят.

Они и вправду ни о чем не спросили, и все пошло так, как шло до этого вечера. Только за столом теперь стало просторнее, а спали они по-прежнему по своим углам: тетя Христа вдвоем с девушкой, старшина — на досках, а Плужников — на скамье.

И эту ночь тетя Христа не спала. Слушала, как стонет во сне старшина, как страшно скрипит зубами молодой лейтенант, как пищат и топотут в темноте крысы, как беззвучно вздыхает Мирра. Слушала, а слезы текли и текли, и тетя Христа давно уж не вытирала их, потому что левая рука ее очень болела и плохо спалась, а на правой спала девушка. Слезы текли и капали со щек, и старый ватник стал уже мокрым.

Болели ноги, спина, руки, но больше всего болело сердце, и тетя Христа думала сейчас, что скоро умрет, умрет там, наверху, и непременно при солнце. Непременно при солнце, потому что ей очень хотелось согреться. А для того, чтобы увидеть это солнце, ей следовало уходить, пока есть еще силы, пока она одна, без чужой помощи сможет выбраться наверх. И она решила, что завтра непременно погорбует, есть ли у нее еще силы и не пора ли ей, пока не поздно, уходить.

С этой мыслью она и забылась, уже в полуслоне почеловав черную девичью голову, что столько ночей пролежала на ее руке. А утром встала и еще до завтрака с трудом пролезла сквозь лез в подземный коридор. Здесь горел факел. Лейтенант Плужников умылся — благо, воды теперь хватало, — и Мирра поливала ему. Она лила понемножку и совсем не туда, куда он просил: Плужников седился, а девушка смеялась.

— Куда вы, тетя Христа?

— А к дыре, к дыре, — торопливо пояснила она.— Подышать хочу.

— Может, прездить вдс?

— Что ты, не надо. Мой своего лейтенанта.

— Да она балуется! — сердито сказал Плужников. И они опять засмеялись, а тетя Христа, опираясь о стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако шла она сама, силы еще были, и это очень радовало тетю Христи.

«Может, не сегодня уйду. Может, еще денечек погожий, может, еще покажу маленько».

Тетя Христи была уже возле самой дыры, но шум наверху услыхала первой не она, а Плужников. Он услыхал этот непонятный шум, насторожился и, еще ничего не поняв, толкнул девушку в лаз:

— Скорее!

Мирра нырнула в каземат, не спрашивая и не медля она уже привыкла его слушаться. А Плужников, напряженно ловя этот посторонний шум, успел только крикнуть:

— Тетя Христи, назад!

Гулкоухнуло в дыре, и тугая волна горячего воздуха ударила Плужникова в грудь. Он задохнулся, упал, мучительно хватая воздух разинутым ртом, успел нащупать дыру и нырнуть туда. Нестерпимо ярко вспыхнула пламя, и огненный смерч ворвался в подземелье, на миг осветив кирпичные стены, убегающих крыс, присыпанные пылью и песком полы и замершую фигуру тети Христи. А в следующее мгновение раздался страшный, нечеловеческий крик, и объятая пламенем тетя Христи бросилась бежать по коридору. Уже пахло горелым человеческим мясом, а тетя Христи еще бежала, еще кричала, еще звала на помощь, бежала, уже склонившись в тысячеградусной струе огнемета. И вдруг рухнула, точно расплав, и стало тихо, только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как крошки.

Даже в каземате пахло горелым. Степан Матвеевич заложил лаз кирпичом, забил старыми ватниками, но горелым все равно пахло. Горелым человеческим мясом.

Открывшись, Мирра примолкла в углу. Изредка ее начинала бить дрожь; тогда она поднималась и ходила по каземату, стараясь не приближаться к мужчинам. Сейчас она отчужденно смотрела на них, словно они были по другую сторону невидимого барьера. Вероятно, этот барьер существовал и прежде, но тогда между его сторонами, между ею и мужчинами, было передаточное звено — тетя Христи. Тетя Христи согревала ее ногами, тетя Христи кормила ее за столом, тетя Христи ворчливо учина ее ничего не боязься, даже крыс, и по ночам отгоняла их от нее, и Мирра спала спокойно. Тетя Христи помогала ей одеваться, по утрам пристегивать протез, умываться и ухаживать за собой. Тетя Христи грубо проводила мужчин, когда это было необходимо, и за ее доброй спиной Мирра жила без стеснения.

Теперь не было этой спины. Теперь Мирра была одна и впервые ощутила тот невидимый барьер, что отделял ее от мужчин. Теперь она была беспомощна, и ужас от сознания этой физической беспомощности в ее всей тяжести обрушился на ее худенькие плечи.

— Значит, засекли они нас,— вздохнул Степан Матвеевич.— Как ни береглись, как ни хоронились...

— Я виноват! — Плужников вскочил, заметился по каземату.— Я, один я! Я вчера...

Он замолчал, наткнувшись на Мирру. Она не смотрела на него, она вся была погружена в себя, в свои мысли, и ничего для нее не существовало сейчас, кроме этих мыслей. Но для Плужникова существовала и она, и ее вчерашняя благодарность, и тот крик «Коля!..», который остановил когда-то его на том самом месте, где лежал теперь пепел тети Христи. Для него уже существовала их общая тайна, ее шепот, дыхание которого он почувствовал на своей щеке. И поэтому он не стал признаваться, что отпустил вчера немца, который утром привел огнеметчики. Это признание уже ничего не могло исправить.

— А в чем ты виноват, лейтенант?

До сих пор Степан Матвеевич редко обращался

к Плужникову с той простотой, которая диктовалась и разницей в возрасте и их положением. Он всегда подчеркнуто признавал его командиром и разговаривал так, как это требовал устав. Но сегодня уже не было устава, а было двое молодых людей и уставший взрослый человек с заживо гниющей ногой.

— В чем же ты виноват?

— Я пришел, и начались несчастья. И тетя Христи, и Волков, и даже этот... сволочь эта. Все из-за меня. Жили же вы до меня спокойно.

— Спокойно и крысы живут. Вон сколько их в спокойствии нашем развелось. Не с того ты конца виноватых ищешь, лейтенант. А я вот, например, тебе благодарен. Если бы не ты — немца ни одного так бы и не убил. А так вроде убил. Убил, ей? Там, у Холмских ворот?

У Холмских ворот старшина никого не убил: единственная очередь, которую успел он выпустить, была слишком длинной, и все пули ушли в небо. Но ему очень хотелось верить, и Плужников подтвердил:

— Двойок, по-моему.

— За двоих не скажу, а один точно упал. Точно. Вот за него тебе и спасибо, лейтенант. Значит, и я могу их убивать. Значит, не зря я тут...

В этот день они не выходили из своего каземата. Не то что они боялись немцев — немцы вряд ли рискнули бы лезть в подземелье, — просто не могли они в этот день увидеть то, что оставила огнеметная струя.

— Завтра пойдем, — сказал старшина. — Завтра сил у меня еще хватит. Ах, Яновна, Яновна, опоздать бы тебе к дыре твоей... Значит, через Тереспольские ворота они в крепости входят?

— Через Тереспольские. А что?

— Так. Для сведения.

Старшина помолчала, искаса поглядывая на Мирру. Потом подошел, взял за руку, потянул к скамье:

— Сядь-ка.

Мирра послушно села. Она весь день думала о тете Христи и о своей беспомощности и устала от этих дум.

— Ты возле меня спать будешь.

Мирра резко выпрямилась:

— Зачем еще?

— Да ты не пугайся, дочка. — Степан Матвеевич невесело усмехнулся.— Старый я. Старый да болевой, и все равно ночью не сплю. Вот и буду от тебя крик отгонять, как Яновна отгоняла.

Мирра опустила голову, повернулась, ткнулась в плечо. Старшина обнял ее, сказал, понизив голос:

— Да и поговорить нам с тобой надо, когда лейтенант уснет. Скоро ты одна с ним останешься. Не спорь, знаю, что говорю.

В эту ночь другие слезы текли на старый ватник, служивший изголовьем. Старшина говорил и говорил, Мирра долго плакала, а потом, обессилен, уснула. И Степан Матвеевич к утру задремал тоже, обняв доверчивые девичьи плечи.

Забылся он ненадолго: передремал, обманул усталость, и уже на ясную голову еще раз спокойно и основательно обдумал весь тот путь, который предстояло ему сегодня пройти. Все уже было решено, решено осознанно, без сомнений и колебаний, и старшина просто уточнял детали. А потом осторожно, чтобы не разбудить Мирру, встал и, дотас гранаты, начал вязать связки.

— Что взыгрывать собираетесь? — спросил Плужников, застав его за этим занятием.

— Найду. — Степан Матвеевич покосился на спящую девушку, понизил голос: — Ты не обижай ее, Николай.

Плужникова знобило. Он кутался в шинель и зевал.

— Не понимаю.

— Не обижай,— строго повторил старшина.— Она маленькая еще. И большая, это тоже понимать надо. И одни не оставляй: если уходить недумавшь, так о ней сперва вспомни. Вместе из крепости выбирайтесь: пропадет девчонка одна.

— А вы... Вы что?

— Заражение у меня, Николай. Пока силы есть, пока ноги держат, наверх выберусь. Помирать, так с музыкой.

— Степан Матвеевич...

— Все, товарищ лейтенант, отвоевался старшина. И приказаний твоих теперь недействительны: теперь моя приказания главней. И вот тебе мой последний приказ: девочку сбереги и сам уцелей. Выживи. Надо им выжить. За след нас.

Он поднялся, сунул за пазуху связки и, тяжело припадая на распухшую, словно залившую сапог ногу, пошел к лазу. Плужников что-то говорил, убеждал, но старшина не слушал его: главное было сковано. Разобрал кирпичи в лазе.

— Так, говоришь, через Тереспольские они в крепость входят? Ну, прощай, сынок. Живите! — И вылез.

Из раскрытого лаза несло горячим смрадом.

— Утро доброе.

Мирра сидела на постели, кутаясь в бушлат. Плужников молча стоял у лаза.

— Чем это пахнет так?..

Она увидела черный провал открытого лаза и замолчала. Плужников вдруг схватил автомат:

— Я наверх. К двери не подходи!

— Коля!

Это был совсем другой выкрик — растерянный, беспомощный. Плужников остановился.

— Старшина ушел. Взял гранаты и ушел. Я до-  
гною.

— Догоним. — Она торопливо копошилась в углу. — Только вместе.

— Да куда тебе... — Плужников запнулся.

— Я знаю, что я хромая, — тихо сказала Мирра. — Но это от рождения, что же делать. И я боюсь тут одна. Очень боюсь. Я не смогу тут одна, я лучше сама вылезу.

— Идем.

Он запалил факел, и они вылезли из каземата. В липком, густом смраде нечем было дышать. Крысы возились у груды обгоральных костей, и это было все, что осталось от тети Христи.

— Не смотри, — сказал Плужников. — Вернемся, за-  
рою.

Кирпичи в двери были оплавлены вчерашним зал-  
пом огнемета. Плужников вылез первым, огляделся, помог выбраться Мирре. Она лезла с трудом, неуме-  
ло, срываясь на скользких, оплавленных кирпичах. Он подтащил ее к самому выходу и на всякий слу-  
чай придержал:

— Подожди.

Еще раз осмотрелся: солнце пока не появлялось, и вероятность встречи с немцами была невелика, но Плужников не хотел рисковать.

— Вылезай.

Она замешкалась. Плужников оглянулся, чтобы по-  
торопить ее, увидел вдруг худенькое, очень бледное лицо и два огромных глаза, которые смотрели на него испуганно и напряженно. И молчал: он впер-  
вые видел ее при свете дня.

— Вот ты какая, оказывается.

Мирра потупила глаза, вылезла и села на кирпичи, заботливо обтянув пальмы колени. Она поглядыва-  
ла на него, потому что тоже впервые видела его  
не в чадном пламени коптилок, но поглядывала ук-

радкой, искоса, каждый раз, как заслонки, приподни-  
мая длинные ресницы.

Вероятно, в мирные дни среди других девушек он бы просто не заметил ее. Она вообще была незамет-  
ной — заметными были только большие печальные глаза да ресницы, — но здесь сейчас не было никого прекраснее ее.

— Так вот ты какая, оказывается.

— Ну, такая, — сердито сказала она. — Не смотри на меня, пожалуйста. Не смотри, а то я опять запе-  
зу в дыру.

— Ладно. — Он улыбнулся. — Я не буду, только ты слушайся. — Плужников пробрался к обломку стены, выглянул: ни старшины, ни немца не было на пут-  
ством, развороченном дворе. — Иди сюда.

Мирра, отступая на кирпичах, подошла. Он обнял ее за плечи, пригнул голову.

— Спрячься. Видишь ворота с башней? Это Тере-  
спольские.

— Я знаю.

— Что-то он про них меня спрашивал...

Мирра ничего не сказала. Оглядываясь, она узна-  
вала и не узнавала знакомую крепость. Здание ко-  
мандирского лежало в развалинах, мрачно темнела разбитая коробка костела, от каштанов, что росли воокруг, остались одни стволы. И никого, ни одной живой души не было на всем белом свете.

— Как страшно, — вздохнула она. — Там, под зем-  
лей, все-таки кажется, что наверху еще кто-то есть.  
Кто-то живой.

— Наверняка есть, — сказал он. — Не мы одни та-  
кие везучие. Где-то есть, иначе стрельбы не бы-  
ли бы, а она слышится. Где-то есть, и я найду где.

— Найди, — тихо попросила она. — Пожалуйста.

— Немцы, — сказал он. — Спокойно. Только не вы-  
совывайся.

Из Тереспольских ворот вышел патруль: трое нем-  
цев появились из темного провала ворот, постояли, неподвижно пошли вдоль казарм к Холмским воротам. Откуда-то издалека донеслась отрывистая песня: словно ее не пели, а выкрикивали добрым полу-  
согласной глоток. Песня делалась все громче. Плужников уже слышал топот и понял, что немецкий отряд с песней выходит сейчас под арку Тереспольских вор-  
от.

— А где же Степан Матвеевич? — обеспокоенно спросила Мирра.

Плужников не ответил. Голова немецкой колон-  
ны показалась в воротах: они шли по четыре в ряд,  
громко выкрикивая песню. И в этот момент темная  
фигура сорвалась сверху, с разбитой башни. Мельк-  
нула в воздухе, упав прямо на шагающих немцев, и мощный взрыв двух связок гранат рванул утрен-  
нюю тишину.

— Вот Степан Матвеевич! — крикнул Плужников. —  
Вот он, Миррал.. Вот он!..

## Часть четвертая

**B**еседа день они молча просидели в каземате. Они не просто молчали, они всячески избе-  
гали друг друга, насколько это было воз-  
можно в подземелье. Если один оказывался  
у стола, второй отходил в угол, а если и са-  
дился за стол, то — подальше, на противоположный  
конец. Они не решались смотреть друг на друга и больше всего боялись, что руки их случайно встре-  
тятся в темноте.





После гибели старшины Мирра ни за что не хотела уходить под землю. Она кричала и плакала, а вstre-  
воженные взрывом немцы вновь пронесывали разва-  
лины, забрасывая подвалы гранатами и прожигая ог-  
неметными залпами. Их много сбежалось во двор,  
они расплзлись по всем направлениям и с минуты  
на минуту могли выйти на них, а она кричала и била-  
сь на обломках кирпичей, и Плужников никак не  
мог ее успокоить. Ему же казалось, что он слышит  
крики немцев, топот их шагов, лязг их оружия, и тог-  
да он скватил Мирру в охапку и потащил к дыре.

— Пусти! — Она вдруг перестала биться. — Сейчас  
же пусти. Слышишь?

— Нет.

Она казалась очень легкой, но сердце его неистово забилось от этой гибкой и теплой ноши. Лицо ее было совсем близко, он видел слезы на ее щеках, чувствовал ее дыхание и, боясь прижать к себе, нес на вытянутых руках. А она в упор смотрела на него, и в ее глубоких, темных глазах был молчаливый и не-  
понятный для него страх.

— Пусти, — еще раз очень тихо попросила она. —  
Пожалуйста.

Плужников опустил ее только возле дыры. Огля-  
нулся в последний раз, действительно услышал от-  
четливые шаги, шепнул:

— Лезь.

Мирра замешкалась, и он вовремя вспомнил о ее  
протезе, понял, что она не сможет спрыгнуть на пол  
там, под землей, и остановил:

— Я первым.

— Нет! — испугалась она. — Нет, нет!

— Не бойся, успеем!

Он скользнул в дыру, спрыгнул на пол, позвал:

— Иди Скорее!

Мирра сорвалась на скользких кирпичах, но Плуж-  
ников подхватил ее, на секунду прижал к себе. Она  
покорно замерла, уткнувшись лицом в его плечо, а  
потом вдруг рванулась, оттолкнула его и быстро по-  
шла по коридору, волоча ногу. А он остался в тем-  
ноте у дыры, но слушал не шумы наверху, а гулкий  
стук собственного сердца. А когда вернулся в казе-  
мат, уже не решался заговорить. Хотел этих разговоров,  
удивлялся сам себе — и не заговаривал. И при-  
глат глаза. И все время чувствовал, что она здесь, ря-  
дом, и что, кроме их двоих, нет никого во всем мире.

Противоречивые чувства странно переплетались  
сейчас в нем. Горечь от гибели тети Христи и Степана  
на Матвеевича и тихая радость, что рядом хрупкая  
и беззащитная девушка; ненависть к немцам и стран-  
ное, незнакомое ощущение девичего тепла; упра-  
мное желание уничтожить врага и тревожное созна-  
ние своей ответственности за чужую жизнь — все это  
жило в его душе в полной гармонии, как единое  
целое. Он никогда еще не ощущал себя таким силь-  
ным и таким смелым, и лишь одного он не мог сей-  
час: не мог протянуть руку и коснуться девушки.  
Очень хотел этого и не мог.

— Ешь, — тихо сказала она.

Наверно, наверху уже зашло солнце. Они промол-  
чали и прогодали весь этот день; наконец Мирра  
сама достала еду и сказала первое слово. Но если  
она все-таки на разных концах стола.

— Ты ложись. Я не буду спать.

— Я тоже не буду, — поспешно сказала она.

— Почему?

— Так.

— Крик боишься? Не бойся, я их буду отгонять.  
Ты каждую ночь решил не спать? — Мирра  
вздохнула. — Не беспокойся, я уже привыкла.

— Завтра я разведаю дорогу и отведу тебя в го-  
род.

— А сам?

— А сам вернусь. Здесь — оружие, патроны. Есть  
чем воевать.

— Воевать... — Она опять вздохнула. — Один против  
всех? Ну и что ты можешь сделать один?

— Победить. — Плужников сказал это вдруг, не  
раздумывая, и сам удивился, что сказал именно так.  
И повторил упрямо: — Победить. Потому что человека  
нельзя победить, если он этого не хочет. Убить  
можно, а победить нельзя. А фашисты не люди,  
значит, я должен победить.

— Затупался! — Она неуверенно засмеялась и тут же испуганно обернула смех: таким неуместным пот-  
казалась он в этом мрачном и чадном каземате.

— А ведь это правда, что человека нельзя побе-  
дить, — медленно повторил Плужников. — Разве они  
победили Степана Матвеевича или Володью Дени-  
щики? Или того фельдшера в подвале: помнишь, я  
рассказывал тебе? Нет, они их только убили. Они их  
только убили, понимашь? Всего-навсего убили.

— Это достаточно.

— Нет, я не о том. Вот Прижинюка они действи-  
тельно убили, навсегда убили, хоть он и живой. А че-  
ловека победить невозможно, даже убив. Человек  
выше смерти. Выше.

Плужников замолчал, и Мирра тоже молчала, по-  
нимая, что говорил он не для нее, а для себя, и гор-  
дясь им. Гордясь и пугаясь одновременно, потому  
что единственным выходом, который он себе остав-  
лял, была гибель. Он сам сейчас убеждался в этом,  
он приговаривал себя к ней искренне и взболнован-  
но, и, подчиняясь непонятному ей самой приказу,  
Мирра встала, подошла к нему и обняла за плечи. Она  
хотела быть рядом в эту минуту, хотела разделить  
его судьбу, хотела быть вместе и инстинктивно  
чувствовала, что быть вместе — это просто прикос-  
нуться к нему.

Но Плужников вдруг отстранил ее, встал и отшел  
на другой конец стола. И сказал чужим голосом:

— Завтра разведаю дорогу, а послезавтра ты уи-  
дешься.

Но Мирра и слышала и не слышала эти слова. Все  
в ней разобралось, потому что его поведение  
вновь напомнило ей, что она калека и что он не забы-  
вает и не может этого забыть. Чувство страшного  
одиночества снова обрушилось на нее, она опусти-  
лась на скамью и заплакала горько, по-детски уронив  
голову на руки.

— Ты что это? — удивленно спросил Плужников.  
— Почему ты плачешь?

— Оставь меня, — громко всхлипнув, сказала она.  
— Оставь иди, куда хочешь. Только не надо меня жа-  
леть. Не надо, не надо!

Он неуверенно подошел к ней, постоял, неуменно  
поглядил по голове. Как маленьку.

— Не трогай меня! — Мирра резко встала, сбросив  
его руку. — Я не виновата, что оказалась здесь, не  
виновата, что осталась жива, не виновата, что у меня  
хромая нога. Я ни в чем не виновата, и не смей меня  
жалеть!

Оттолкнув его, она прошла в свой угол и ником  
упала на постель. Плужников постоял, послушал, как она всхлипывает и вздыхает, а потом взял бушлат  
старшины и накрыл ее плечи. Она резко повела ими  
и сбросила бушлат, а он снова накрыл ее, а она сно-  
ва сбросила, и он снова накрыл. И Мирра больше уже не сбрасывала бушлат, а, жалобно всхлипнув,  
съежилась под ним и затихла. Плужников ульбну-  
лся, отошел к столу и сел. Послушал, как тихо дышит  
пригревшаяся Мирра, достал из полевой сумки схе-  
мую крепость, которую по его просьбе начертил как-  
то Степан Матвеевич, и принял внимательно изуч-  
ить ее, соображая, как провести завтрашнюю раз-  
ведку. И не заметил, как уронил голову на стол.

— Ты прости меня,— сказала утром Мирра.  
— За что?  
— Ну, за все. Что ревела и говорила глупости. Больше не буду.

— Будешь,— улыбнулся он.— Обязательно будешь, потому что ты еще маленькая.

Нежность, которая прозвучала в его голосе, теплом отдавалась в ней, захлестнула, вызвала ответную нежность. Она уже подняла руку, чтобы протянуть к нему, чтобы прикоснуться и присасаться, потому что сердце ее уже изнемогло без этого простого, мимолетного, ни чему не обзывающей ласки. Но она сдержала себя и отвернулась, и он тоже отвернулся и нахмурился. А потом он ушел, и она опять тихо заплакала, жалая его и себя и мучаясь от этой жалости.

То ли немец напугал вчерашний взрыв, то ли они к чему-то готовились, но суетились сегодня куда больше обычного. Возле Тереспольских ворот велись работы по расчистке территории, повсюду ходили усиленные патрули, а плленных, к которым Плужников уже привык, не было ни видно, ни слышно. У трехарочных тоже что-то делали, оттуда долетал шум моторов, и Плужников решил пробраться в северо-западную часть цитадели: посмотреть, нельзя ли там переправиться через Мухавец и уйти за внешние обводы.

Он не имел права рисковать и поэтомушел осторожно, избегая открытых мест. Кое-где даже пол, несмотря на то, что патруль видно не было. Он не хотел сегодня ввязываться в перестрелки и беготню, он хотел только высмотреть щель, сквозь которую ночью можно было бы проскользнуть. Прокоситься, вырваться из крепости, добраться до первых людей и оставить у них девушку.

Плужников ясно понимал, что старшина был прав, завещав ему сделать это во что бы то ни стало. Понимал, делал для этого все от него зависящее, но втайне боялся даже думать о том времени, когда останется один. Совсем один в развороченной крепости. Конечно, он мог бы уйти вместе с Миррой, раздобыть граждансскую одежду, попытаться ускользнуть в леса, где почти наверняка остались отшибившиеся от своих частей бойцы и командиры Красной Армии. И это не было бы ни дезертирством, ни изменой приказу: он не значился ни в каких списках, он был свободным человеком, но именно эта свобода и заставляла его самостоятельно принимать то решение, которое было наиболее целесообразным с военной точки зрения. А с военной точки зрения самым разумным было оставаться в крепости, где были боеприпасы, еда и убежище. Здесь он мог воевать, а не бегать по лесам, которых не знал.

Наконец он достиг подвалов и пробирался сейчас по ним, стараясь выйти за излучину Мухавца. Там немцы, тракторы которых грохотали у трехарочных ворот, не могли его видеть, и он надеялся подобраться к самой воде и, может быть, переправиться на другую сторону. А пока шел бесконечными подвалами, в которые проникало достаточно света сквозь многочисленные проломы и дыры.

— Стой!

Плужников замер. Окрик прозвучал так неожиданно, что он даже не сообразил, что скомандовало-то ему на чистом русском языке. Но прежде чем он успел сообразить, в грудь его уперся автомат:

— Бросай оружие.

— Ребята... — от волнения Плужников даже всхлипнул.— Ребята, своли, мильые...

— Мы-то мылье, а ты какой?

— Свой я, ребята, свой! Лейтенант Плужников...

Остановили его в тяжелом подвальном сумраке, куда шагнул он со света и где пока ничего не видел,

кроме неясной фигуры впереди. И еще кто-то стоял сзади, в нише, но того он вообще не видел, а только чувствовал, что там кто-то стоит.

— Лейтенант, говоришь? А ну, шагай к свету, лейтенант.

— Шагаю, шагаю! — радостно сказал Плужников.— Сколько вас тут, ребята?

— Сейчас посчитаем. Их было двое: заросших по самые брови, в рвах, грязных ватниках. Представились:

— Сержант Небогатов.

— Ефрейтор Климков.

— Какие планы, лейтенант? — спросил Небогатов после короткого знакомства.— Наши планы — рвать в Беловежскую пущу. Давно бы туда ушли, да патронов нет: я тебя на голове нахальство останавливав.

— Ну, да стражишки я за спиной стоял, — хмуро усмехнулся Климков.— А у меня ножичек гитлеровский.

На ремне у него висел длинный немецкий кинжал в черных кожаных ножнах.

— Вместе рвать будем. — От радости, что встретил своих, Плужников сразу забыл о своем решении сражаться в крепости до конца.— Патроны есть, ребята, чего-чего, а патронов хватает. И еда имеется, консервы...

— Консервы? — недоверчиво переспросил ефрейтор.— Шайкарю живешь, лейтенант.

— Беда сперва к консервам, — усмехнулся сержант Небогатов.— Уж и не помню, когда ели-то в последний раз. Так, грызешь чегото, как крысы.

Плужников провел их в свою подземелье кратчайшим путем. Показал дыру, малоприметную для неспосвященных, рассказал об огнеметной атаке и гибели тети Христи. А про немца, что навел на них огнеметчиков, рассказывать не стал: объяснять этим оквеченным, черным от голода и усталости людям, почему он отпустил тогда плленного, было бессмыслицей.

— Мирра! — еще в подземелье закричал Плужников.— Мирра, это мы, не бойся!

— Какая еще Мирра? — насторожился сержант. Он первым прорез в каземат, и не успели еще Плужников с ефрейтором пробраться следом, как он уже удивленно кричал:

— Мирочка, ты ли это? Глазам не верю!

— Небогатов?... — ахнула Мирра.— Толя Небогатов? Живой?

— Долхий, Мирра! — смеялся сержант. — Копченый, сущеный и вяленый!

Светясь от радости, Мирра тащила на стол все, что припрятывала. Плужников хотел было запретить есть все подряд, но сержант заверил, что норму они знают. Небогатов был очень оживлен, шутил с Миррой, а ефрейтор помахивал, посматривая на девушку настороженно и, как показалось Плужникову, недружелюбно.

— Жить тебе тут, лейтенант, прямо как беловежскому збуру.

Плужников не поддержал этого разговора. Ефрейтор помолчал, а потом, когда Мирра отошла от стола, спросил угрюмо:

— Она что, тоже с нами пойдет?

— Конечно! — с вызовом сказал Плужников.— Она хорошая девчонка, смеляя. Только крысы боится!

Но Климков не намерен был шутить. Переглянулся с Небогатовым, и по тому, как сержант опустил глаза, Плужников понял, что в этой паре первенство определяется не воинскими званиями.

— Хромая она.

— Ну и что? Не настолько уж она...

Плужников запнулся. Отрицать хромоту Мирры было бессмыслицей, но даже если бы она была аб-

солютно здорова, хмурый ефрейтор и тогда бы отказался взять ее с собой: это Плужников сообразил сразу.

— Я и сам собирался довести ее до первых довоин...

— До первой пули! — жестко перебил Климков. — Где дома, там и немцы. Нам обходить дома нужно да подальше, а не переть прямо к ним в военной форме.

— Странный разговор! Не оставлять же ее, правда?

— Пустяк сама выбирается. Только после нас, а то на первом же допросе продаст ни за понюшку. Чего молчишь, сержант?

— Брат с собой нельзя,— нехотя сказал Небогатов.

— А бросать можно? Я тебя спрашиваю, сержант: бросать можно?

В гулком, пустом подвале далеко разносилось эхо, и Мирия слышала каждое слово. Тем более что теперь они уже не сдерживались, забывли о ней, словно решали сейчас не ее судьбу, а что-то куда более важное для них. Но для Миры самым важным было сейчас не ее судьба, хотя сердце замирало от ужаса при одной мысли, что они могут уйти, оставив ее тут. И, несмотря на этот ужас, самым важным для нее было, что ответит Плужников на все их аргументы.

Съежившись в самом дальнем и темном углу каземата, где крысы давно уже не боялись ни шумов, ни людей, Мирия слушала теперь только его, воспринимала только его слова, потому что то предательство, на которое его толкали, было для нее куда страшнее собственной судьбы.

— Ну, ты сам посуди, лейтенант, куда нам такая обуза? — приглушенно говорил Небогатов. — За внешним обводом — поле, там по-пластинки километра два ползти придется. Сможет она ползти?

— С хромотой ногой! — вставил ефрейтор.

— О чем вы говорите! — громко сказал Плужников, уже с трудом сдерживая гнев. — О себе вы все время говорите, только о себе! О своей шкуре! А о ней? О ней подумать вы способны?

— Тут думай — не думай...

— Нет, будем думать! Обязаны думать!

— Не подойдешь ты к домам, — со вздохом скзал сержант. — Ну, никак не подойдешь, понимаешь? Сосались мы, пробовали: везде патрули, везде охрана. Что ночью, что днем. До сих пор оцепление вокруг крепости держат, до сих пор нашего брата вылавливают, а ты говоришь: думай.

— Мы Красная Армия, — тихо сказал Плужников. — Мы Красная Армия, это вы понимаете?

— Красная Армия!.. — Ефрейтор громко, зло рассмеялся. — Ты еще комсомолом вспомни, лейтенант!

— А я его не забывал! — крикнул Плужников. — Вот он, билет, здесь, на сердце! Я его вместе с жизнью отдал, только вместе с жизнью!

— Нету больше Красной Армии! — заорал Климков, и непрочное пламя коптилок забылось, заметалось над столом. — Нету Красной Армии, нету никакого комсомола! Нету!

— Молчать!

Стало вдруг тихо. Небогатов усмехнулся:

— Командуюшь?

— Не командую, а приказываю, — сдерживаясь, негромко сказал Плужников. — Как старший за заявление. Приказываю провести разведку, найти возможность прорваться в город и доставить туда девушку. А потом будем думать о собственной шкуре.

— Такой, значит, разговор? — продолжая улыбаться, спросил Небогатов. — А если не поднимимся? Должны же по команде! Репорт напишешь?

— Подожди, Толя, — перебил Климков. — Глупо сориться: нужны ведь друг другу.

— А мы не ссоримся...

— Ближайшая задача: переправить Мирию в город. Все остальное — потом.

— Не пойму, кто ты: дурак или контуженный?

— Тихо, Толя! — Ефрейтор перегнулся через стол. — На кой хрен тебе эта калека, лейтенант? Была бы деваха стоящая, я бы еще понял: жалко тваря. А эту колченогую...

Заросшее лицо было совсем рядом, и Плужников коротко, не замахиваясь, ударил в него кулаком. Ефрейтор отрянул, рука его метнулась к рукоятке кинжала. Плужников схватил автомат, рывком взвел затвор:

— Руки на стол!

Ефрейтор медленно отпустил рукоять, сел, положил перед собой большие жилистые руки. Плужников знал, что диски их автоматов пусты, но их было двое, а он один.

— Сволочь, — тяжело дыша, сказал Климков. — Дерьмо ты, лейтенант. Окопался тут с бабой... Войну пережидаешь?

— Выходи по одному через лаз, — резко скомандовал Плужников. — Предупреждаю, что не шучу: автомат у меня заряжен.

Он встал с привычным стуком, нажал на спуск. Сухие выстрелы оглушительно прогремели в каземате. Небогатов и Климков встали.

— Мы не можем уйти без оружия, — тихо сказал Небогатов.

— Берите свои автоматы.

Они молча подняли пустые автоматы.

Климков первым подошел к лазу, потоптался, хотел что-то сказать, но не сказал и вылез из каземата.

— Выход наверх — направо, в самом конце, — сказал Плужников сержант.

Сержант молча кивнул. Он стоял у самого лаза, но уходит пока медлил.

— Ну, чего застрял? Кончились наши разговоры.

— Ты обещал патронов, лейтенант. Дай патронов, и мы этой же ночью уйдем из крепости.

Плужников молчал.

— Будь человеком, лейтенант, — умоляюще сказал Небогатов. — Мы же сдохнем здесь без патронов.

Плужников прошел в темноту, ногой придинув к сержанту непочатую цинку.

Металлик нестерпимо резко прокрипел по кирпичному полу.

— Спасибо. — Небогатов поднял ящик. — Мы уйдем этой ночью, слово даю. А только ты все равно дурак, лейтенант.

И нырнул в лаз.

Плужников машинально поставил автомат на предохранитель, сунул его на обычное место — он всегда оставлял его возле лаза, — вернулся к столу и тяжело опустился на скамью. Он не думал, что Климков и Небогатов, зарядив в подземелье оружие, вернутся в каземат, но на душе его было тяжело и неспокойно. Недавняя и такая яркая радость от неожиданной встречи сменилась тупым отчаянием, и переход этот был столь внезапен, что Плужников вдруг потерял силы. Словно эти двое укрыли, выбрали из него и унесли с собой части его веры, и эта потеря была ощущима до ноющей физической боли.

Гнев его прошел, осталась смутная, гнетущая пустота и эта ноющая боль в сердце.

Кто-то порывисто вздохнул. Он поднял голову: рядом стояла Мирия.

— Ушли, — вздохнул он. — Я патронов им дал. Хотят этой ночью из крепости вырваться.

— Я не могу стать на колени, — дрожащим, натянутым голосом вдруг сказала она. — Я не могу стать на колени, потому что у меня протез. Но я стану, когда сниму его. Я стану на колени, я...

Рыдания перехватили горло, и она замолчала. Стояла рядом, тиская у груди руки, кусала прыгающие губы, а по лицу текли слезы. Он протянул руку, чтобы вытереть их, а она схватила эту руку и начала испустленно целовать ее.

Он испуганно рванулся, но она не отпустила, а крепко, двумя руками прижалась к груди. Как тогда, в подземелье, только в тот раз эта его рука держала взведененный пистолет.

— Я боялась, я так боялась.

— Что уйду с ними?

— Нет, не это самое страшное. Я боялась услышать, что ты не такой.

— Какой — не такой?

— Не тот, кого я люблю. Молчи, пожалуйста, молчи! Я помню, какая я, не думай, что я могу забыть это. Меня всю жизнь жалели: дети и взрослые — все жалеют! Но когда жалеют, отдают половинку, понимаешь? А ты, ты остался из-за меня, ты прогнал этих, ты не бросил меня, не оставил тут, как они тебе предлагали! Я же слышала все, каждое слово спышала!

Она крепко прижимала к груди его руку, плакала и говорила, говорила, дрожа, как в ознобе. Все вдруг рухнуло для нее: и привычная настороженная пугливость, и робость, и застенчивость. Горячая благодарность словно растопила все оковы, искреннее чувство любви и нежности затопило ее, заставив забыть обо всем, и она спешила рассказать ему об этом, излитые всю себя, ни на что не рассчитывая и ни на что не надеясь.

— Я же никогда, никогда в жизни и помечтать-то не смела, что могу полюбить! Мне же с детства, с самого детства все-таки одно и твердили: что я калека, что я несчастная, что я не такая, как остальные девочки. Даже мама об этом говорила, потому что жалела меня и хотела, чтобы я привыкла к этому, привыкла и не страдала бы больше. И я уже привыкла, совсем привыкла, и поэтому с девочками не дружила, а только с мальчишками. Девочки ведь про любовь всегда говорят и планы всякие строят, а, в чём могла построить, о чём помечтать? Я может быть, глупости сейчас говорю и даже наверное глупости, но ты ведь все понимаешь, правда? Я просто не могу молчать, яюсь замолчать, потому что тогда, когда я замолчу, начнешь говорить ты и скажешь, что я дура набитая, что нашла время влюбиться. А разве мы виноваты, что время такое, разве мы виноваты? Я боюсь замолчать, Коля, а у меня уже нет сил говорить. Сил нет, а я боюсь, боюсь в тишине оставаться, боюсь того, что ты скажешь сейчас...

Пушкиников обнял ее, нежно и бережно поцеловал в дрожащие, распухшие губы. И почувствовал кровь.

— Это я губы грызла, чтобы не закричать. Когда они уговаривали тебя.

— Больно?

— Меня никто никогда не целовал. Наверху — война, а я такая счастливая, такая счастливая, что у меня сердце сейчас разорвется. — Мирра прильнула к нему, говорила еле слышно, почти беззвучно. — Ты больше не сиди по ночам за столом, ладно? Ты ложись, а я рядом сяду и всю ночь буду отгонять от тебя крыс. Всю ночь и всю жизнь, Коля, какая нам осталась...

**T**еперь они говорили и говорили и никак не могли наговориться. Лежали рядом, укрывшись шинелью и бушлатами, согреваясь общим теплом, и сердца их бились одинаково бурно или одинаково устало.

— А твоя сестра похожа на тебя?

— Наверно, нет. Она похожа на маму, а я — на отца.

— Значит, у тебя был красивый папа. А это очень важно.

— Почему?

— Счастливый внук всегда бывает похожим на деда.

— А счастливая внучка?

— Тоже. Скажи... Только — честно, слышишь? Обязательно честно.

— Обязательно.

— Честное-честное-пречестное?

— Честное-пречестное.

Она помолчала, позовисла, поплотнее укрывая его.

— Твоя мама очень огорчится, когда увидит меня?

По тому, как робко, приглушенно произнечали эти слова, он понял, как важен для нее ответ. И еще крепче обнял ее.

— Моя мама будет очень любить тебя. Очень.

— Ты обещал говорить честно.

— Я говорю честно. Они будут очень любить тебя.

И мама и Верочка.

— Может быть, в Москве мне сделают настоящий протез, и я научусь танцевать.

— В Москве мы покажем тебя самому лучшему врачу. Самому лучшему. Может быть...

— Нет. Ничего не может быть. Может быть только против.

— Сделаем протез. Самый лучший. Такой, что никто и не догадается, что у тебя большая нога.

— Какой ты худенький!.. — Она нежно провела рукой по его заросшим щеке. — Знаешь, мы не сразу поедем в Москву. Мы сначала поживем в Бресте, и моя мама немножечко тебярастолстеть. А я буду кормить тебя морковкой.

— Я похож на кролика?

— Морковка очень полезна. Очень, потому что мама говорила, в ней есть железо. И когда тырастолстешь, мы поедем в Москву. Я увижу Красную площадь и Кремль. И Мавзолей.

— И метро.

— И метро. И еще мы обязательно пойдем в театр. Я никогда не была в настоящем театре. К нам приезжал театр из Минска, но это все равно не настоящий театр, потому что он съехал со своего места. Понимаешь?

— Ну, конечно. Мы все посмотрим в Москве. Все, все. А потом уедем.

— В Брест?

— Куда пошлют. Ты забыла, что твой муж — кадровый командир Красной Армии?

— Муж... — Она тихо, радостно засмеялась. — Как будто я сплю и вижу сон. Обними меня, муж мой. Крепко-крепко.

И снова не было ни тьмы, ни подвала, ни крыс, что пищали в углах. И снова не было войны, а было довоенное. Двоене на Земле — Мужчины и Женщины.

— Ты когда-нибудь видела аистов?

— Аистов? Каких аистов?

— Говорят, они белые-белые.

— Не знаю. В городе нет аистов, а больше я никогда не была. Почему ты вдруг спросил о них?

— Так. Вспомнил.

— Тебе не холодно?

— Нет. А тебе?

— Нет, нет. Знаешь, почему я спросила? Степан Матвеевич в ту, последнюю ночь сказал мне, что ты застыл.

— Как застыл?

— Застыл от войны, от горя, от крови. Он говорил, что мужчины стынут на войне, стынут внутри, понимаешь? Он говорил, что в них стынет кровь и только женщины может тогда отогреть. А я не знала, что я женщина и тоже могу кого-то отогреть... Я отогрела тебя? Хоть немножечко?

— Я боюсь растаять.

— Ну, ты смешалась.

— Нет, я говорю правду: я боюсь растаять возле тебя. А поверху ходят немцы, по нашей с тобой крепости. Знаешь, они что-то замышляют: начали расчищать площадку возле Тереспольских ворот. Сейчас пойдёт наверх.

— Коля, милый, не надо. Еще день, один только денечек без страха за тебя.

— Нет, Мирочка, надо. Надо, а то они и вправду решат, что стали хозяевами в нашей крепости.

— Значит, мне опять считать секунды и гадать, вернемся ты или...

— Я вернусь. Я просто ухожу на работу. Ведь уходит же мужчина на работу, правда? Вот и я тоже. Просто у меня такая работа.

Еще не успев подняться наверх, Плужников услышал рев двигателей и почувствовал, как дрожит земля: тракторы стаскивали к Тереспольским воротам крупнокалиберные крепостные орудия. Опять множество немцев вертелось вокруг, и Плужниковов начнули решить не рисковать и вернуться. Но немцы были заняты своими делами, и он все-таки двинулся в дальние развалины. Там можно было надеяться встретить одиночный патруль, а на большее он и не мог сейчас рассчитывать.

Прошлый раз он ходил левее: его тогда интересовал берег за поворотом Мухавца. Но сейчас он уже не думал о том, что должен растаскать с Мирией — сейчас сама мысль эта была для него ужасна — и поэтому он свернул вправо, в подвалы, через которые мог подобраться к трехарочным воротам. Там все время сновали немцы, и именно там он мог напомнить им, кто хозяин этой крепости.

Теперь он шел осторожно, куда осторожнее, чем тогда, когда уперся грудью в автомат Небогатова. Он не боялся столкнуться с немцами в подземельях, но они могли бродить поверху, могли услышать его шаги или увидеть самого сквозь многочисленные прополы. Он перебегал открытые места, а в темных ниши подлогу останавливался, настороженно вслушиваясь.

Он услышал близкие, шаркающие шаги именно в одной из таких глухих, беспросветных ниш. Кто-тошел прямо на него, шел медленно, старчески волоча ноги, не пытаясь приглушить шум. Плужников беззвучно сбросил автомат с предохранителя и весь напрягся, ожидая того, кто так беззаботно топал по подвалам, достаточно светлыем от бесчисленных дыр и пропол. Вскоре совсем близко тяжело вздохнули и сказали тихо и сознечно:

— Озаб я. Озяб.

Плужников готов был шагнуть из ниши, потому что сказано это было так по-русски, что никаких сомнений уже не могло оставаться. Но он не успел шагнуть, как неизвестный вдруг запел. Запел жалобным детским голосом, бессмысленно и тупо:

Васыка-савраска,  
Шурка-каурика,  
Ванька-буланка,  
Сенька-гнедой...

Плужников замер. Что-то страшное и беспросветное безнадежное было в этом пении. А неизвестный снова и снова уныло тянул одно и то же:

Васыка-савраска,  
Шурка-каурика,  
Ванька-буланка,  
Сенька-гнедой...

Послышался шум осыпавшихся кирпичей, тяжелое дыхание, и неизвестный певец попал в луч света, совсем рядом с Плужниковым выйдя из-за поворота. И Плужников узнал его, узнал сразу, несмотря на свалявшиеся, красные от кирпичной пыли волосы. Узнал и шагнул на встречу:

— Волков? Вася Волков?

Волков замолчал. Стоял перед ним, пошатываясь, tutto глядя безумными, отсутствующими глазами.

— Волков, да очнись же! Это я, Плужников! Лейтенант Плужников!

— Шурка-каурика...

— Вася, это же я, я!

— Васыка-савраска...

— Да очнись же ты, Волков, очнись! — Плужников схватил его за грудь, встремил. — Это я, я, лейтенант Плужников, твой командир!

Что то осмыслившее вспыхнуло на миг в безумных глазах Волкова. Как он попал сюда, в эти подвалы? Что ел, где спал, как до сих пор не наткнулся на немцев? Все это только промельнуло в голове Плужникова; спросил он о другом:

— Ты почему ушел тогда, Волков?

Спросил и замолчал, потому что ответа не требовалось. Дикий, необычайный ужас, который увидел он в глазах Волкова, был этим ответом: Волков уходил от страха, и этот животный, безграничный и уже неподвластный воле страха олицетворялся для Волкова в нем, в лейтенанте Плужникове.

— Вася, успокойся, Вася...

Волков вдруг с силой оттолкнул Плужникова и, задыхаясь и тонко вереща от страха, быстро полез через пролом на залитый солнцем берег Мухавца. Плужников удалился спиной о стену, упал, а когда вскочил, Волкова в подвале не было. Он уже выбрался наверх, задыхнулся солнцем и простором, забыл о Плужникове и снова затянул то единственное, что хранил еще его воспаленный разум:

Васыка-савраска,  
Шурка-каурика...

Плужников рванулся к пролому и даже не рассыпал, как-то звериным шестым чувством почудил топот чужих шагов. Успел прижаться к стене, и сапоги эти проходили над его головой.

— Шурка-каурика...

— Хальт! Цурюк!<sup>1</sup>

— Ванька-буланка...

Ударил выстрел, но оглушительнее этого выстрела был детский жалобный крик Волкова. Плужников взлетел от осыпающихся кирпичей, выглянул в пролом, увидел три фигуры, склонившиеся над еще живым, еще стонущим Волковым, и наехал на спуск.

Он не разобрал, попал ли в кого — хотелось думать, что попал! — смотреть было некогда. Промчалась по подвалам, выскочил в внутреннее окно, переполз в соседние развалины. Где-то недалеко всполохнуло бегали немцы, гулко прогремели в подвалах автоматные очереди, ударило несколько взрывов. Но Плужников опять ушел, затерявшись в развалинах. Отдыхался в глубокой дальней воронке, переполз открытым участком и нырнул в свою дыру.

Он не хотел рассказывать Мирие о встрече с Волковым: ей хватало горя. Поэтому он долго —

<sup>1</sup> Хальт, цурюк — стой, назад.

дольше обычного — стоял у дыры, слушал шумы на- верху и ждал, когда окончательно придет в себя не столько после беготни по развалинам, сколько после этой встречи. Он вспоминал последний омысленный и полный нечеловеческого ужаса взгляд Волко- ва, понимал, что Волков испугался его — не человека вообще, а именно его, лейтенанта Плужникова, но не чувствовал за собой никакой вины. Ему было жаль, что глупо погибшего парнишку, только и всего. Война уже научила его своему логике.

Успокоившись, Плужников тихо двинулся к лазу, в темном безошибочно определяя дорогу. Нащупал лаз, беззвучно нырнул в него и замер: впереди, в тусклом освещении каземата, тихонько звучал тонкий девичий голос:

Очаровательные глазки,  
Очаровали вы меня:  
В вас столько жизни, столько ласки,  
В вас столько игра и огня...

Контраст с тем пением, которое он совсем недавно слышал в другом подвале, пением, которое так трагически оборвалось, и этим — задумчивым, нежным, девичиным — был слишком велик даже для него. Тупая, безнадежная боль вдруг намертво скжала его сердце, и он с трудом сдерживался, чтобы не за- становить.

Я опущусь на дно морское,  
Я получу за облака.  
Я дам тебе все, все земли —  
Лишь только ты любишь меня...

Человек, который пел сейчас эту песню, был счастлив. Был очень счастлив: именно это открытие тупой было стиснутое сердце Плужникова. Всю ее воворачивала наизнанку, даже их первую любовь.

Он осторожно влез в каземат и привалился к стене, прижимая к себе автомат, чтобы не брякнуть им, не спугнуть песню. Слушал, сдерживая тяжелый хрип отравленной взрывчаткой, забитой мокротой груди, мучительно хотел чего-то и не понимал, чего же. А потом понял, что хочет заплакать, и — улыбнулся. Слез не было.

Все-таки он звякнул автоматом, и Мирра сразу замолчала. Он шагнул к столу, и она нежно потянулась к нему, потянулась вся — доверчиво, тепло и наивно.

— Сейчас я тебя покормлю... Она прошла в темноту, к стеллажам. — Знаешь, эти противные крысы съели все сухари. Осталось совсем немножечко.

— Откуда ты знаешь эту песню?

— Меня научил дядя Рувим: его к Первому мая премировали патефоном с пластинками. Он замечательный скрипач... — Она засмеялась. — Зачем же я тебе рассказываю? Ты же знаешь дядю Рувима.

— Знаю!

— Конечно, знаешь. — Мирра притянула еду и теперь накрывала на стол. Это был целый ритуал, которым она дорожила. — Если бы не он, мы бы никогда не узнали друг друга. Никогда — представляешь, какой ужас? Боже мой, от чего иногда зависит счастье... Если бы не музыка, которая так тебе понравилась тогда...

— Если бы я тогда не захотел есть, — усмехнулся он.

— Или если бы вдруг сел на другой поезд...

— А я и сел на другой поезд, — сказал Плужников, помолчав и припомнив то бесконечно далекое, что было где-то в начале его пути к этому полутемному каземату. — А знаешь, почему я сел на другой поезд?

— Почему? — Она уселась напротив, уперев подбородок в ладони и приготовившись слушать.

— Я был влюблен... Целых тридцать шесть часов.

И он рассказал ей о Вале и о своих белых снах, когда так мучительно хотелось пить. Мирра выслушала его рассказ и вздохнула.

— Должно быть, эта Валя — очень хорошая девушка.

— Почему ты так решила?

— Потому что она была в тебя влюблена, — сказала Мирра, пополагая, что этой характеристики вполне достаточно. — А чем же я тебя буду кормить завтра? Когда в доме нет мака — это еще не голод, Годль, когда нет хлеба.

— Хлеба? — Плужников достал вычерченную старшиной схему.

— Ты не помнишь, где была пекарня?

— Пекарня — за Мухавцом. А вот здесь был основной продсклад и столовая. — Мирра показала на колывенные казармы, чтошли по берегу Мухавца. — Я ходила туда с тетей Христей.

— Вот где он брал еду... — задумчиво сказал Плужников.

— Кто?

Плужников думал о Волкове, которого встретил как раз там, где Мирра указала склад и столовую. Но он не стал говорить о нем, а объяснил по-другому:

— Я о сержанте вспомнил. О Небогатове.

И Мирра не стала расспрашивать.

Жизнь состояла из маленьких радостей: как-то еще при жизни тети Христи Плужников нашел пилотку, в отворот которой была втотнута иголка с длинной черной ниткой, и женщины целый день раздавались, тогда этой нитке. С той поры он таскал в каземат все, что уддавалось найти: расчески и пуговицы, кусок шлагата и мятый котелок. Ему нравилось искать и находить эти полезные мелочи, и за- дача найти хлеб даже обрадовала его.

Однако в ближайшие дни он не мог заняться эти- ми поисками: уж очень много немцев бродило теперь по крепости. Они волокли на расчищенную возле Тереспольских ворот площадку наши тяжелые орудия, захваченные в укреплениях, патрулировали по всем дорогам, прочесывали развалины, выкигая огнеметами и забрасывая гранатами особо подозрительные и темные казематы. Однажды Плужников издалека видел, как из развалин, лежавших в вос- точной части цитадели, которую он не знал и поэтому не посещал, немцы вывели троих без оружия — заросших бородами, в изодранном обмундировании. Это были свои, советские, и Плужников до физической боли, до отчаяния, пожалел, что ни разу так и не сходил в этот район крепости.

— Никакого хлеба, — категорически заявила Мирра, узнав, что немцы после короткого затишья снова начали усиленно прочесывать развалины. — Обойдемся.

— Придется обойтись, — сказал Плужников. — Но поглядите я все-таки вылезу: интересно, что это они так замедлились?

— Обещаю, что будешь осторожен.

— Нет, ты поклоняйся! — сердито сказала она. — Скажи: что я так жива была.

— Ну, клянусь,

— Нет, ты скажи!

— Чоб ты так жива была, — послушно сказал он, подцепив ее и, взявшись за автомат, выбрался наверх.

В этот день немцев заметно лихорадило. Отряды маршировали по дорогам, повсюду виднелись патрули, а возле Тереспольских ворот их собралось особенно много. Плужников и в самом деле никуда не мог двинуться от своей дыры, хотел было возвращаться, но в последний момент решил пробраться в костел. Если бы это ему удалось, он мог бы залезть

повыше и оттуда наверняка разглядел бы, что затеял противник.

Полз он долго и осторожно, терпеливо отжимаясь в воронках. Поп, как не попзал уже давно, скользил по земле, обдирая локти и колени, царапая щеки о кирпичные обломки. Где-то совсем рядом бродили немцы; он слышал их голоса, стук их сапог и лязг оружия. Он только чуть приподнял голову, чтобы оглядеться и не потерять направления, и, даже добравшись до костела, не вбежал в него, а влез в замэр, забившись в нишу.

Тяжелый смрад от неубранных трупов стоял в костеле. Плужников огляделся. Глаза его уже привыкли к сумраку — они вообще теперь легче привыкали к полуслъву, чем к свету, — и он разглядел разбитый стакановый пулумет у входа и семи трупов вокруг: почти все они были с зелеными петличками пограничников на гимнастерках. Видно, держались здесь до последнего патрона, потому что вокруг не было ничего, кроме стрелянных гильз и пустых коробок из-под лент. А пулумет стоял на том же самом месте, где когда-то стоял его пулемет, только пролом стал еще более широким.

Все это Плужников заметил сразу и, не задерживаясь, пошел в глубину. Его мутило от тяжкого, вязкого запаха, спазмы скимали горло, и временами ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. Добрался до разрушенной, заваленной обломками лестницы и полез наверх. На площадке лежало еще два полуразложившихся трупа, он миновал их, не задерживаясь и поднимаясь все выше и выше.

Так он взобрался на самый верх: здесь дул ветерок, он смог отшвырнуться и передохнуть. Теперь следовало по карнизу пройти к разбитому окну: из него должен был открыться вид на южную часть цитадели и Тереспольских ворот.

По счастью, он не успел двинуться с места, когда внизу, в темном колодце костела раздались гулкие шаги. Плужников замер, вглядывая в стену: позади была неудобной, он не мог ни лечь, ни укрыться, и если бы немцы — а в том, что в костеле вошел немецкий патруль, у него не было ни малейшего сомнения — если бы немцы поднялись по лестнице только на один поворот, они бы в упор увидели его. Увидели в положении, в котором он физически не мог принять бой.

Снизу раскатисто и гулко доносились голоса: слов разобрать было невозможно, да Плужников и не пытался понять, о чём говорят немцы. Он стоял, затянувшись дыханием, замерев в неудобной позе, слушал только шаги и никак не мог понять, приближаются они к нему или все еще топают у входа. Голоса продолжали что-то бубнить, чиркали зажигалкой, запах паленой тряпки медленно всплыл к Плужникову. Он не понял сначала, зачем немцы жгут тряпки, а когда сообразил, невероятное напряжение вдруг отпустило его: немцы палили тряпки, чтобы отбить трупный смрад, и вряд ли намеревались пробираться в глубину костела, где смрад этот был особенно тяжким, густым и физически липким. Шаги смолкли, притупленно звучали только голоса: видно, патрульные расположились у входа, решив, зачем-то охранять этот мертвый, пустой костел. Плужников осторожно перевел дыхание и огляделся.

Карниз был узок, засыпан битой штукатуркой и осколками кирпичей, но у Плужникова уже не оставалось выхода. Он не мог больше торчать здесь, в конце лестницы, где не эти, так другие, более высоколивые или более старательные немцы рано или поздно обнаружили бы его. А там, в глубокой оконной ниши, он мог укрыться и увидеть то, ради чего рисковал сегодня жизнью.

Мучительно долго Плужников пребирался по кар-

низу. Цеплялся пальцами за щели и выбоины, всем телом вжимался в стену, балансируя над глубоким провалом. Дважды из-под его ног с шумом сыпалась штукатурка, он замерил, но внизу по-прежнему глухо бубнили голоса. Наконец добрался до оконной ниши, устроился там и только после этого осторожно выглянул наружу.

Он увидел изломанный гребень кольцевых казарм, ленту Буга за ним, разрушенные здания на том берегу. Дорогу, которая вела от моста к Тереспольским воротам, сами эти ворота и площадку перед ними, сплошь уставленную тяжелыми артиллерийскими системами. И на дороге и на площадке возле вытнутых в нитку орудий было множество немцев, только на дороге они были построены по обеим сторонам, вдоль обочин, образуя коридор, а на площадке выдерживали правильное каре, и в центре этого каре стояло несколько фигур, вероятно, офицеров. Это строгое построение было неподхоже на то, когда раздавали кресты, какое они когда-то разгнали вместе со старшиной. Это было куда эффективнее и торжественнее, и Плужников никак не мог понять, для чего немцам понадобился весь этот парад.

Откуда-то донеслась музыка: он не видел, где стоял оркестр, но разобрал, что играют марш. На дороге, в коридоре, образованном солдатскими шеренгами, показались две фигуры: одна из них была в темном плаще, вторая — покрупнее первой и потолще — в странном полувоенном костюме. Следом за этими двумя в некотором отдалении шло еще несколько человек, в которых Плужников определил генералов или еще каких-то высших чинов. А те, чтошли впереди, на генералов не были похожи, но почетны, которые оказывались им, музыка, игравшая в честь их прибытия, — все это убеждало, что немцы примирились здесь, в его крепости, каких-то очень важных гостей.

Ох, как нужна была ему сейчас винтовка! Простая трехлинейка, пусты без оптического прицела! Он хорошо стрелял и, даже если бы и не попал на таком расстоянии в одного из этих гостей, то все равно бы напугал их, расстроил парад, испортил бы им праздник и еще раз напомнил, что крепость не их, а его, что она не сдана врагу и продолжает возвалять. Но винтовки у него не было, а затеяла стрельбу из автомата на таком расстоянии представлялось абсурдом. И он только шагом выругал себя за несобразительность, стукнул кулаком по кирпичам и продолжал наблюдать.

Фигуры исчезли из его поля зрения, перекрытые разрушенной башней Тереспольских ворот. А минован барабан, появились снова: уже в крепости, в четком четырехугольнике, образованном замершими солдатами. Музыка смолкла, один из офицеров, пешая шаг, пошел насторожу прибывшим и отдал рапорт: Плужников не слышал этого рапорта, но видел, как взлетели руки в фашистском приветствии. Гости приняли рапорт, обошли солдатский строй, а затем двинулись к выстроенным в линию артиллерийским системам. Они стали внимательно осматривать их, а рапортавший офицер почтительно давал пояснения.

Плужников так никогда и не узнал, кто посетил Брестскую крепость в конце лета сорок первого года. Не знал, иначе выпустил бы весь диск в сторону фашистского парада. Не знал, что видит сейчас уменьшенную расстояниемкрохотную фигуру того, чей личный приказ обрушил 22 июня в четыре часа пятнадцать минут первый залп на эту самую крепость. Не знал, что видит перед собой фюрера Германии Адольфа Гитлера и дуче итальянских фашистов Бенито Муссолини.

ноги дней Плужников разбирал кирпичи. Каждый кирпич приходилось осторожно брать в руки и еще бережнее класть. Не только потому, что он боялся привлечь шумом патрули — после того переда, свидетелем которого он оказался, немцы в крепости стало значительно меньше; а потому, что шум этот мешал ему, мог заглушить чужие шаги, голоса, звон амуниции. Работая, он ни на мгновение не переставал напряженно вслушиваться в себя, прежде чем положить. Он переворачивал множеством развалин, но пока не находил ничего, кроме трупов из разбитого оружия. Ничего похожего ни на склад, ни на столовую, а у них давно кончились сухари, кончались консервы. Мирра уже ела с трудом. И поэтому он упорно, каждый день перекладывал с места на место эти проклятые кирпичи.

Ранняя осень началась с затяжных дождей. Дожди были мелкими и почти беззвучными, но за день ватник промокал насекозь, а высушить его было негде. Правда, он раздобыл еще четыре ватника, Мирра строго сшила, чтобы он не забывал менять их, но сырость, которую он приносил с собой ежедневно, уже посыпалась в излемате, и незаметно день от дня все росла и росла, и теперь он чистил оружие два раза в сутки.

А немцев все-таки стало значительно меньше. Правда, днем они по-прежнему патрулировали в крепости, но в развалинах, как правило, не заглядывали, а те двое, что как-то нарушили это правило, уже никому ничего не могли рассказать: Плужников снял их с одной очереди. Тогда ему пришлоось изрядно побегать, потому что немцы вспомнились и бросились пропесывать развалины, но он отлежался в глухом камазете, а ночью вернулся к Мирре.

— Не стреляй, — умоляюще шептала она, нежно лаская его, усталого и измученного. — Если бы ты только знал, как я боюсь за тебя. Как я боюсь!

Появившиеся в крепости и гражданские: они прибывали целями группами, даже с лошадьми. Разбирали завалы, вывозили троицы и кирпичи: Плужников сам видел, как они расчищали костел, как грузили на телеги то, что осталось от семерых пограничников. Он попытался было нападить с ними контакт, но немцы охраняли их очень бдительно и постоянно торчали рядом. Судя по всему, это были колхозники, согнанные из соседних деревень. А за Бэльм дворцом, откуда Плужников шел когда-то в свою первую атаку, он обнаружил однажды целую группу женщин. Их тоже стерегли: они отбирали целый кирпич и складывали его рядами вдоль дороги. Под вечер пришли машины, женщины погрузили кирпич, машины уехали, а женщины построились в колонну и под конвоем погнали к воротам. На следующее утро они опять появились и снова принялись разбирать кирпичи. Они наблюдали за ними целый день, но выяснил только, что у них есть получасовая перерыв на обед. А поговорить с ними, окликнуть, подать какой-либо сигнал о себе он так и не смог, хотя хотел этого и целый день ловил такую возможность.

Мирра очень волновалась тогда:

— Может быть, они из города? Ах, если бы передать маме, что я жив!

Но он не сумел ничего передать ни мужчинам, ни женщинам и оставил пустые попытки. Сначала надо было найти хлеб.

Он уже глубоко залез в вырытую им же самим яму, высоко обложил кирпичами, и теперь работал медленно, не только прислушиваясь, но и часто

выглядывая поверх кирпичей, чтобы не нарваться на какую-либо неожиданность. Он теперь и мера быстро и уставал быстро, задыхаться стал часто, да и сердце само по себе вдруг меняло привычный ритм и начинало стучать, выплывая ребра. Тогда он прекращал работу и ложился, терпеливо ожидая, когда войдет в норму.

Еще сквозь обломки кирпичей он заметил что-то круглое, какие-то коробочки. Торопливо докопался до них, но почти все эти коробочки оказались раздавленными: белый порошок просыпался из них на землю. Он осторожно взял щепотку этого порошка, понюхал. И вздрогнул: душистый сладковатый запах принес вдруг далекие воспоминания о матери.

— Пудра, — улыбнулась Мирра, когда он принес ей единственную целевшую коробочку. — Неужели на свете еще есть женщины, которые пуряются, красят губы, завивают волосы? Может быть, и мне в первый раз в жизни нападут нас?

— Там много. Хватит и на лоб и на щеки.

— Много? — Она нахмурилась, что-то старательно припоминая. — Подожди, подожди. В столовой был ларек военторга. Был, был, я помню. Значит, где-то рядом склад. Где-то совсем рядом.

Он рыл в этом месте с ожесточением, порой заявывая об опасности. Рыл, задыхаясь, ломая ногти, в кровь разбивая пальцы. Отбрасывал в сторону какие-то черепки, битые бутылки, обломки ящииков. И наконец под кирпичами, еще не видя, нашупал грубо тукан мешковины.

До глубокой ночи, на щупль, он откапывал этот мешок. Дважды осыпалась кирпичи, заваливая его работу, и дважды он методически, не позволяя себе удариться в безрассудное отчаяние, заново откапывал мешок, по одному снимая кирпичи. И наконец сумел вытащить его — целым, старательно завязанным. Кинжалом разрезал бечевку, сунул руку и нашупал толстые шершавые квадраты стандартных армейских сухарей.

Небо было низко закрыто тучами, в яме стояла темень. Он вытащил сухарь, поднес к лицу: не видя, ощутил запах — густой дух рожаного хлеба. Он жадно вдыхал его, не чувствуя, что весь дрожит, дрожит не от холода, а от счастья. Он лиизнул этот сухарь, уловил влажную солненную точечку, не понял, лиизнул снова и только тогда сообразил, что на корявый армейский сухарь капают его слезы. Слезы, от которых он отвяк настолько, что перестал их ощущать.

Весь следующий день они грызли эти сухари, и это был еда ли не самый радостный день в их жизни. И Плужников был счастлив, что смог доставить Мирре эту радость.

Последнее время он частенько заставлял ее в слезах. Она тут же начинала улыбаться, пытаясь шутить, но он видел, что с ней происходит что-то неладное. Мирра никогда не жаловалась, всегда была спокойна, даже весела, а по ночам, когда он засыпал, нежно ласкала его, задыхаясь от слез, любви и отчаяния. Плужников подозревал, что причиной ее слез и тоски была однообразная еда, потому что замечал, как она иной раз с трудом скрывает тошноту. Он хотел бы отыскать для нее что-нибудь, кроме сухарей и консервов, но не знал, где и не знал что.

— Ну, а если помечтать? Давай вообразим, что я волшебник.

— А ты и есть волшебник, — сказала она. — Ты сделал меня счастливой, а кто же меня мог сделать счастливой, кроме волшебника?

— Вот и загадай волшебнику желание. Ну, чего бы тебе хотелось? Пусть будет самое невозможное.

— Фаршированную щуку. И большой соленый огурец.

У него мелькнула одна шальная мысль, но он не стал ничего объяснять Мирре. А на следующее утро взял четыре сухаря и собрался наверх раньше обычного: еще в темноте.

— Не ходи сегодня,— робко попросила Мирра.— Пожалуйста, не ходи.

— Выходной кончился,— попробовал отшутиться Плужников.

— Не ходи,— с непонятной тоской повторила она.— Побудь со мной, я так мало виду тебя.

— Все равно не увидишь, даже если останусь.

Они экономили жир и зажигали теперь только одну плошку. Густая черная мгла плотно обступала их со всех сторон: они давно уже жили ощущью.

— И хорошо, что ты меня не видишь,— вздохнула Мирра.— Я сейчас страшная-страшная.

— Ты самая красивая,— сказала он, поцеловав ее и вышел.

Чуть светело, когда Плужников выбрался наверх. Постоял, прислушиваясь, ничего не рассыпалось, кроме монотонно морсащего дождя, и осторожно двинулся к Белому дворцу. Благополучно миновал дорогу и через кирпичные завалы пробрался в глубокие подземелья.

Кажется, где-то здесь в первые часы войны пряталась раненых. Здесь умирал старший лейтенант, в чью смерть ему когда-то так не хотелось верить. Трупы из подвала уже вытащили, но стойкий запах смерти еще держался тут, еще витал в темноте, и Плужников шел осторожно, словно боялся напачкаться на него, кто лежал здесь с первыми часами войны. Он искал бойницы, закрытую от чужих глаз, но удобную для наблюдения. Диры, проломы и щели во множестве серели в густом подвальном мраке. Он выбрал ту, которая устраивала его, сел на кирпичи, поставил рядом автомат и приготился к долгому ожиданию.

Странно: он был вообще-то человеком нетерпеливым, пурвилистом, но постоянные опасности быстро выработали в нем привычку ждать. Ждать, почти не шевелясь, застыть в животной неподвижности. Он вспомнил, как давным-давно, еще до войны, ждал, когда его примет начальник ученица. Вспомнил свою молодое нетерпение, надрывные сапоги, ютуну, мягкую, чистую гимнастерику. «Через год вызовем вас в училище...» Через год! С того поры миновала целая вечность, а вот когда закончится год... Вечность оказалась короче, чем календарное время, потому что вечность ощущают, а время надо прожить.

И еще он думал о маме и Верочки. Он знал, что немцы ворвались в глубину России, но ни на секунду не допускал мысли о том, что они могут вернуться к Москве. Они могли прорваться за Минск, могли даже вести бои где-то возле Смоленска, но сама возможность их появления под Москвой была абсурдна. Он представлял, что Красная Армия продолжает вести ожесточенные бои, перемалывая фашистские дивизии, был убежден, что перемелет и пойдет вперед, и где-нибудь к весне вернется сюда, в Брестскую крепость. До весны было еще очень далеко, но он твердо рассчитывал дождик. Дождик, встретить своих, доложить, что крепость не сдана, отправить Мирру к маме в Москву и вместе с Красной Армией идти дальше. Но запад, в Германию.

Наконец-то он услышал шаги: не солдатские — четкие, словно собранные воедино, а гражданские — шаркающие, будто рассыпаные. Выглянуло: к Белому дворцу медленно приближалась колонна женщин. Троє охранников шли впереди, четверо сзади и по трое с каждой стороны этой нестройной, шаркающей колонны. Только у первых и замыкающих ее он разглядел автоматы, а те конвойщи, что шли по бо-

кам, были вооружены винтовками. Издалека винтовки эти показались ему несуразно длинными, но когда колонна приблизилась, он разглядел, что это наши винтовки с примкнутыми трехгранными штыками. Разглядел и понял, что женщин стерегут не только немцы.

Прозвучала команда, колонна остановилась. Затем конвойщи разошлись по постам, а женщины направились к развалинам, прямо на него, и Плужников отрянул в темноту. Негромко переговариваясь, женщины отыскали перед началом работы: кто присел на кирпичи, кто переобувался, кто перевязывал платок. Плужников видел их совсем близко, видел, как стекают по ватникам и пальто струйки дождя, видел их низко повязанные платками лица, слышал голоса, но так и не мог определить, какого возраста эти женщины и кто они. Все лица казались ему одинаково утомленными, одинаково озабоченными, а кроме отрывочных русских фраз, слышались и белорусские и какие-то иные, совсем непонятные: то ли польские, то ли еврейские. Сейчас Плужников мог окликнуть их, даже поговорить, потому что охраны поблизости не было, но сегодня он не хотел рисковать. Он отложил это до следующего раза, до того времени, когда изучит этот подвал и найдет безопасные пути отхода.

Светлое пятно его бойницы вдруг стало темным. Сначала он не понял, что произошло, и канулся назад, еще глубже уходя во мрак. Но бойница опять просветлела, хотя и изменила свои очертания. Он взгляделся: в ниши лежал узелок. Обычный женский узелок из головного платка, связанный концами: кто-то из женщин сунул его сюда, в подвальное окошко, в защищенное от тусклого осеннего дождя место.

Он осторожно взял узелок, когда женщины начали разбирать кирпичи. Развязал платок, развязал и чистую белую тряпочку, которая оказалась под ним, и беззвучно рассмеялся: никогда еще ему так не везло, никогда. Шесть вереных вmundire картофелин, луковицы и щепотка соли лежали в этом узелке.

Плужников с благодарностью посмотрел на унылые, собственные фигуры женщин, мокнувших на бесконечном осеннем дожде. Какая-то из них, сама не зная об этом, сделала сегодня самый дорогой для него подарок. Он подумал, положил в платок три армейских сухаря, завязал, как было, четыре конца и поставил в нишу, на место. А тряпочку с картошкой и луковицами спрятал за пазуху и ушел в самый дальний и самый глухой отсек подвала. И до ночи сидел там, грыз сухари и думал, как обрадуется сегодня Мирра.

— Ты действительно волшебник?

Он рассказал ей о подвалах Белого дворца, о женщинах, об узелке. Мирра слушала и ела картошку, но ела как-то не так, как ему хотелось. Словно что-то мешало ей радоваться этой картошке, словно она все время тревожно думала о чем-то ином.

— Ты как будто не рада?

— Нет, что ты. Спасибо. Ешь свою долю.

— Это тебе, не спорь. Я могу жевать все, а тебя тошнит, я вижу.

— Глупый,— с какой-то странной болью выдохнула она.— Боже мой, какой ты еще глупенький у меня!

Она прислонила к нему, уткнулась в грудь лбом, тихо заплакала. Слезы капали в недебедную картошку.

— Что с тобой? Мишка, да что же с тобой?

Мирра подняла голову, долго, очень долго смотрела на него. Тусклый свет падал на ее лицо, он видел огромные, полные тоски глаза; в слезах дрожал робкий фитилек коптилки.

— Миррочка...

— Мы должны расстаться,—тихо, словно через силу, сказала она.—Родной мой, муж мой, мой единственный, мы должны расстаться с тобой.

— Расстаться? — Он ничего не понимал.—Как расстаться? Почему расстаться? Зачем? Ты заболела? Ну, не молчи же, не молчи, отвечай!

— У нас будет маленький.

— Маленький? Как маленький..

Эта новость обрушилась на него вдруг, как стена, и, еще ничего не поняв, ничего не осознав, он почувствовал страх. Лишающий разума, леденящий страх одночества.

— Видишь, я нормальная женщина. — Странная и неуместная нотка гордости прозвучала в голосе Мирры.—Я нормальная женщина, и случилось то, что должно было случиться. Вероятно, это — счастье, даже наверное это — огромное счастье, но за счастье надо платить.

— Не уходи,—с тупым отчаянием сказал он.—Только не уходи.

Он не думал, что говорит: в нем кричало отчаяние. Мирра медленно покачала головой:

— Нельзя.

— Да, да, я понимаю, понимаю.

Он уже отстранился от нее, он уже погружался в свое одиночество. Она придвигнулась еще ближе, припнула к нему, глядела по заросшим, влажным щекам, он сидел, не шевелясь, словно окаменев.

Так они сидели долго. Мирра ничего не объясняла, ничего не доказывала, понимая, что он тоже должен смыкнуться с этим, как смыкался с ним. А Плужникову хотелось кричать, хотелось вылезти наверх, хотелось выпустить в немцев все снаряженные диски, хотелось погибнуть, потому что боль, которую он испытывал сейчас, была страшнее смерти. Но он сидел и терпеливо ждал, когда все пройдет. Он знал, что все пройдет: он уже мог вынести все, что возможно и что невозможено, мог вынести тоже.

Наконец он вздохнул и шевельнулся. Мирра ждала этого вздоха и сразу заговорила тихим, печальным голосом, словно уже прощающая навсегда:

— Если бы не маленький, если бы не он, Коля, я бы никогда не оставила тебя. Я думала, что так и будет, что я умру неминуемо раньше, чем ты, и умру счастливой. Ты можешь, мое солнце, моя радость, все — ты, все, что у меня есть. Но маленький должен родиться, Коленка, должен: он ни в чем не виноват перед людьми. И должен родиться здоровенником, обязательно здоровенником, а здесь... Здесь я каждую секунду чувствую, как убывают его силы. Его силы, Коля, уже не мои, а его! Каждой женщине Бог дает неминуемо счастья и очень много долгов. А я была счастлива. Я была так счастлива, как не может быть счастлива никакая другая женщина во всем мире, потому что это счастье дал мне ты, ты один только мне одной. Дал вопреки воине, вопреки немцам, вопреки моем судьбе, вопреки всему на свете! Я знаю, что тебе тяжелее, чем мне: ты останешься один, а я уношу с собою кусочек твоего будущего. Я знаю, что сейчас идут самые страшные часы нашей жизни, но мы должны, мы обязаны пережить их, чтобы жил он, наш маленький. Ты не беспокойся, я уже все продумала. Ты только поможешь мне пробраться к этим женщинам, а уж они выведут меня из крепости.

— А там?

— Там — мама, не беспокойся! Там — мама и родственники. Столько родственников, сколько у евреев, не бывает ни у кого на свете,

— Женщин водят строем,

— Кто заметит лишнюю бабу? Не беспокойся, мыль, все будет хорошо! Все будет хорошо, и в дамки выйдут пешки, и будет шум и гам, и будут сны в деньги, и дождички пойдут по четвергам. Так говорят дядя Михась: помнишь, он vez нас когда-то в крепость? Мы еще смотрели столб на дороге, и там я впервые наткнулась на твою руку...

Она говорила, улыбаясь изо всех сил, а из глаз неудержимо катились слезы. Они капали на руку Плужникова, а он никак не мог заплакать, потому что его собственные последние слезы упали на ржавый армейский сухарь, и больше слез уже не осталось. И, вероятно, поэтому его пекло внутри, будто сердце обложили горячими уголями.

— Ты должна идти,—сказал он.—Ты должна добратся до своей мамы и вырастить сына. И если только я останусь в живых...

— Коля!

— Если я останусь в живых, я найду вас,—строго повторил он.—А если нет... Ты расскажешь ему о нас. О всех нас, кто остался тут под камнями.

— Он будет молиться на эти камни.

— Молиться не надо. Надо просто помнить.

Они вышли в темноту и благородно добрались до развалин Белого дворца, хотя Мирре это было трудно. Она очень ослабела, отвыкла ходить, да и дорога была не для ее протеза. Местами Плужниковнес ее на руках, и ему было не тяжело — таким исходальным и легким было это родное, теплого тело. И там, в подвале, когда он уже развернул выход и показал ей, откуда будет смотреть на нее в последний раз, он усадил ее на колени, укутал и не отпускал уже до конца. Здесь они в последний раз попрощались, и Мирра осторожно вышла из подвала.

Она была в ватнике, как многие женщины, так же, как они, повязаны платком, и на нее действительно никто не обратил внимания. Все молча занимались делом, и она тоже начала работать.

— Ну, чего же ты тут мучаешься? — ворчливо спросила какая-то женщина.—Нога, что ли, болит?

А вторая вздохнула горько:

— Господи, и хромушку взяли, изверги. Ты поменьше ходи. Поди, вон, кирпич складывай.

Кирпичи складывали у дороги, и Мирре не хотелось уходить туда, потому что это было далеко от Плужникова. Но она не стала спорить, втайне радуясь, что женщины считают ее своей. Стараясь хромать как можно незаметнее, она отошла, куда велели, и стала укладывать ценные кирпичи друг на друга.

Плужников видел, как она шла к дороге и укладывала там кирпичи. А потом поле зрения перекрыли другие женщины, он потерял Мирру, нашел снова и снова потерял, и больше уже не мог определить, где она. Не мог, но все смотрел и смотрел, приходя в отчаяние, что больше не увидит ее, и не подозревая, что судьба на сей раз уберегла его от самого жестокого и самого страшного.

Вечерело, когда подошли конвойры. До этого Мирра видела их лишь в отдалении: они либо грелись у костра, либо жались к уцепившим стенам. Сейчас они появились и забегали: здоровые, продрогшие от бездели.

— Становись! Быстрее, быстрее, бабы!

Старшины были немцы, но они не торопились уходить от костра, а колонну строили старательные охранники в серо-зеленых бушлатах, вооруженные винтовками с прямикнутыми штыками. Они исполнительно суетились вокруг медленно строившихся женщин, отдавая команды на русском языке.

— Разберись по четырем!

Мирра старалась забраться в середину колонны,





но женщины, выстраиваясь по четверкам, невольно вытаскивали ее, и вскоре она оказалась на левом фланге. Мирра с отчаянием вновь полезла в толпу, а ей устало и ворчливо говорили, что она не из этой четверки, и снова отводили туда, где никаких четверок не было, — была она одна.

— Почему толкотня? — сердито закричал конвойир: он и старался больше всех и кричал чаще, чем остальные. — Разобраться по своим четверкам! Живо, бабы, живо!

— Мы разобрались, — сказал чей-то недовольный голос. — Да тут одна лишина оказались.

— Какая лишина? Откуда лишина? Не может быть лишних. Разберись получше!

— Да вот...

Сердце Мирры забилось стремительно и отчаянно. Конвойир шел вдоль строя, приближался к ней, и она зияла глазами ему из последних сил.

— Ты откуда взялась? — удивленно спросил конвойир, становившийся против нее.

— Из города. Не узнаете, что ли?

— Из города?..

— Ну, пойдемте же, пойдемте! — с отчаянием выкрикнула Мирра, думая сейчас только о том, что Плукников все видит. — Пойдемте, разве на ходу нельзя выяснить?

— Правда, иди пора! — недовольно зашумели женщины. — Весь день на холода! И чего к девочке пристали: не убьешь ведь, а прибьешь.

— Прибыль?... — озадаченно повторил конвойир. — Прибыль, значит? А откуда ты взялась тут, прибыль?

Он вдруг схватил ее за ватник, рванул на себя: Мирра едва устояла на ногах.

— Подвальчиком пахнет? Подвальчиком?.. Господин обер-ефрейтор! Ах, зараза, ах, стерва, выползла на божий свет! Господин обер-ефрейтор!

— Пойдемте, — задыхаясь, бормотала Мирра, а он тяжелой рукой за ватник, и голова ее беспомощно болталась из стороны в сторону. — Пойдемте. Прошу вас. Пожалуйста...

— Откуда взялась? Откуда?

Он вдруг оставил ее и шустро побежал навстречу поклонному неторопливому немцу, что шел к нему от головы колонны. И Мирра, постояв секунду, тут же пошла за ним, потому что строй прикрывал ее от Плукникова.

— Вот она, господин обер-ефрейтор. Вот она, лишина. Из подвалов, видать, вылезла.

Мирра уже не слышала, о чём он еще говорил. Она видела только мелкое, незначительное лицо немолодого немца, и это такое обычное усталое лицо было для неё пугающе знакомым. Она еще боялась признаться в этом самой себе, она еще верила во что-то, равное чуду, но чуда не было, а немец был. И не этот — с красным замерзшим носом, а тот, трясущийся, перепуганный, дрожащими руками пестрый бравший фотографии собственных детей.

— Юдеи! — закричал немец, уткнувшись в нее худой узловатой пальцем. — Юдеи Бункер! Юдеи Бункер!

— Ну чего к девочке привязались? — кричали женщины, конвойир бегали вдоль строя, угрожающие покачивая штыками. — Иди пора, застыли! Девчонку надо оставить, наша она! Да нет, не наша! Наша... Не наша...

— Юдеи! Бункер! Юдеи! Бункер! — выкрикивал немец, плясая, потому что Мирра шла прямо на него, уже ничего не видя и не слыша. Шла, движимая лишь одним желанием уйти подальше от той бойницы.

Кажется, женщины все-таки повели, а может быть, и не повели, а ей только показалось, потому что в

ушах ее стоял звон, сквозь который прорывалось лишь два страшных слова: «Юдеи! Бункер!» «Юдеи! Бункер!» Сердце ее то сжималось, замыряло в предчувствии чего-то страшного, то начинало бешено биться, и тогда ей не хватало воздуха. Она ловила его широко разинутым ртом и шла, она шла вперед, все дальше оттесняя немца.

И даже когда ее ударили — ударили прикладом, с размаху, со всем мужской злобой, — она не почувствовала боли. Она почувствовала толчок в спину, от которого странно дернулась голова и рот сразу наполнился чем-то густым и соленым. Но и после этого удара она продолжала идти, почему-то не решаясь выплюнуть кровь, и, казалось, не было сил, способной остановить ее сейчас. А удары все сыпались и сыпались на ее плечи, она все ниже и ниже сгибалась под этими ударами, инстинктивно защищая живот, но думая уже не о том, кто жив в ней, а о том, кто на всегда оставался сзади, и из последних сил стремясь уберечь его. И когда ее все-таки свалили, она, уже теряя сознание, еще упорно ползла вперед, неудобно волоча закрепленный протез.

Она еще ползла, когда ее дважды проткнули штыком, и эта двойная пронзительная боль была первой и последней болью, которую она почувствовала и приняла всем своим хрупким и таким еще теплым телом. Яркий свет попыхнул перед ее крепко зажмуренными глазами, и в этом бесподобном свете она увидела вдруг, что у нее уже никогда не будет ни маленького, ни мужа, ни самой жизни. Она хотела закричать, напрягаясь в последнем животном усилии, но вместо крика из горла хлынула густая и вязкая кровь.

Уже теряя сознание, уже плывя в липком и холодном предсмертном ужасе, она еще слышала удары, что сыпались на ее плечи, голову, спину. Но ее не били; а, еще живую, торопясь, — заваливали кирпичом в неглубокой воронке за оградой Белого дворца.

Низкие тучи, что столько дней висели над самой землей, лопнули, разошлись, в прогалину выглянуло бледное небо, и далекий от свет давно закатившегося солнца нехотя высветил кое-как выровненную дорогу, угол разбитого здания, кусок разрушенной ограды и настех заваленную воронку. Высветили и исчез, и небо вновь затянуло серыми осенними тучами.

## Часть пятая

### 1

Опять потерял счет дням. Лежал в черном, как небытие, мраке, слушал, как крысы грызут остатки сахарей, и не было сил ни на то, чтобы встать и перепрятать эти сахари, ни на то, чтобы вспомнить, какое сегодня число. Он не знал, сколько дней провалился без пищи и воды, забравшись под все шинели, ватники и бушлаты. Когда вернулось сознание, с трудом дополз до воды, пил, впадал в странное забытье, приходил в себя и снова пил. А потом добирался до стола, нашел сахар и сахари, что еще не успели сожрать крысы, горстями ел этот сахар и грыз сахари, хотя есть совсем не хотелось. Ел, насилия себя, потому что болезнь отступила и теперь надо было подниматься на ноги.

Он потерял счет дням и поэтому не удивился, когда увидел снег. Стояла глубокая ночь, в черном небе горели звезды, а крепость была белой. Он сидел у своей дыры, кутаясь в бушлат, жадно дышал чистым морозным воздухом и тихо радовался, что жив.

Вернулся почти здоровым, только шагало от слабости. Вскипятил на головных шашках целый котелок воды, вывернул туда банку тушенки, впервые с аппетитом поел и завалился под все бушлаты. Теперь он опять верил в свою силу, опять всл счет дням и ночам и только никак не мог сообразить, какое сегодня число.

Весь следующий день он чистил оружие и набивал диски. Он давно не обходил своего участка, давно не ходил за патрулями и готовился к вылазке, испытывая нетерпеливый и радостный азарт. Он был жив и по-прежнему ощущал себя хозяином притихшей под снегом Брестской крепости.

Но, кроме этой основной задачи, существовала задача более узкая и более личная. Он думал о ней, словно втайне от самого себя, словно в нарушение отданного торжественного приказа, будто кто-то здесь мог проверить, как он исполняет этот приказ. Но он жил так, будто высокий повсевечный постоянно находился рядом, постоянно контролировал его и проверял, и поэтому то, что он задумал, он задумал как бы в обход этого инспектора, задумал самовольно и входил исполнять это тайное желание словно в самоволку от самого себя.

Он вдруг решил пойти на место своего первого боя, туда, где он потерял свой собственный пистолет. Не оружие вообще, а именно тот, номер которого был записан в его удостоверении. Свое первое личное оружие, полученное перед строем в день окончания училища и потерянное в первой рукопашной. Сейчас он особенно хорошо помнил эту первую рукопашную, потому что тот страшный немец с выбитой нижней челюстью являлся к нему в бреду, снова тянул его за ногу, снова ульбывался мертвым осколком, а Сальников все не приходил и не приходил, и в бреду ему казалось, что он не придет уже никогда и никогда не избавит от этого кошмаря. И, просыпаясь в холодном поту, он особенно старательно вспоминал именно первый день: встречу с Сальниковым и Денициковым, первую атаку и первый бой. И то, как постыдно потерял он выданный лично ему пистолет.

Он добрался до костела без приключений, но, привычно оглянувшись перед тем, как исчезнуть в его простоте, был неприятно поражен открытым, грязившим самыми тяжелыми последствиями. Хотя снега выпало мало и он старался иди по кирпичам, за них все-таки тянулся след, и уничтожить этот след он уже не мог. Уничтожить этот след мог только снегопад, но небо, как назло, было чистым. Теперь он уже не радовался, что забрался в костел, но возвращаться было еще опаснее: след оставался следом.

Поколебавшись, он решил все же передневать в костеле и пробраться в свой каземат уже в темноте, надеясь, что — может быть! — к утру выпадет снег и прикроет все натоптанные им дорожки.

Свежий запах зимы хорошо выветрил все закоулки: он не чувствовал уже того смрада, что когда-то спас его, задержав немцев у входа. Правда, тогда ему дотемна пришло сидеть наверху, в оконной нише; уже давно закончился парад, гости удалились, а солдат увели. Он пробирался по карнизу в полной тьме, чудом не сорвался, но все сошло благополучно. Тогда сошло, но теперь веселый, радостный снег был союзником его врагов.

Он все время думал об этом, с тревогой прислушиваясь к звонкой утренней тишине. В морозном воздухе звуки стали чище: до него доносились и шум машин, и свежие скрипки снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у трехарочных ворот. Поначалу все это настораживало его, но время шло, и он постепенно все больше и больше приглядывался к тому, что хранил костел для него одного.

И чем больше он приглядывался, тем все неумолимее, все плотнее обступали его темы тех, кого уже не было, кто оставил только в его воспоминаниях.

Он сразу нашел окно, через которое в первый раз прыгал в костел. Именно это: второе он даже не искал. Но это окно, окно своей первой атаки он выбрал сам, сам струсили перед ним, и пограничнику пришлось заплатить жизнью за эту трусость. Такое не забывается: он не был трусом и поэтому помнил все. Даже загустевшую кровь, которая била в него, когда предназначенные ему пули попадали в уже мертвого пограничника.

Но это было потом. Потом, а тогда он ввалился в задымленный костел, кого-то бил, в кого-то стрелял, и где-то здесь его схватили за ногу тот страшный немец с раздробленной челюстью. А до этого он потерял пистолет... До этого или после? Нет, до: его ударили прикладом, он отлетел в сторону, а когда очутился, пистолета уже не было. Значит, все случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас штукатуркой, битым кирпичом и позеленевшими стрелямыми гильзами.

Он бродил по костелу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки от автоматов, обрывки пулеметных лент, раздавленные флаги, винтовки с разбитыми ложками и расщепленными прикладами, ржавые диски от ручных пулеметов — мусор войны лежал перед ним. Он трогал этот хлам, весь наполненный голосами, уже отзвучавшими навеки, голосами, которых он бережно хранил в себе. А он и не знал, что хранит их, что они все еще звучат в нем. Он думал, что он один, в немом одиночестве, но немота прорвалась и одиночество отступило, и он понял вдруг, что прошлое — его собственность, его достояние и его гордость. И что одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое. Самая горькая и самая звонкая доля его жизни.

— Смерти нет, — вслух сказал он. — И все-таки смерти нет, ребята.

Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костеле. Проплыл по холодному воздуху, мягко оттолкнулся от стен, взмыл к разбитому куполу. Плужников замер, прислушиваясь, словно провожая звук собственного голоса, и тут же уловил какой-то иной шум, что чуть доносится снаружи. Еще не поняв его, еще не оценив, он метнулся к оконной нише, вжался в нее и осторожно выглянул. И в тот же миг прошлое перестало существовать: немцы оцепляли костел.

Они еще не замкнули кольцо и — может быть, нарочно, а может, второпях — оставили ему единственную щель: через пустырь к развалинам Белого дворца. Темная фигура на снегу среди ясного дня: шансов высочить почти не было. Но он и не взвешивал шансов, он хотел жить, а если и умереть, то — свободно. И выпрыгнул из окна.

Он бежал, не оглядываясь, не пригибаясь: ему нельзя было терять мгновений. Где-то на полути усыпал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули вспарывали снег у его ног. Он влетел в развалины и, не задерживаясь, бежал все дальше, все глубже, натыкаясь на стены, потому что ни-

чего не видел после яркого света. Бежал, пока хватало сил, и упал вдруг, сразу, потому что сил этих больше не было, и не было воздуха, и ничего не было, кроме бешено стучавшего сердца.

Но отшатываться не пришло. Где-то гулко зазвучали голоса, затопали сапоги — еще далеко, но уже в подвалах, под сводами. Он с трудом поднялся и, шатаясь, побежал во тьму и глубину, не думая, куда, а жаждал лишь уйти от голосов и толота.

Он не знал этих подземелей. Он отложил их исследование, и с той поры, как проводил Мирру, не был здесь ни разу. И бежал сейчас вслепую, натыкаясь на туники и завалы и все время слыша за собой топот преследователей. Видно, немцы совсем не боялись его, уверены были, что он один, и спокойно просачивались подвалами.

За очередным поворотом он разглядел пролом и бросился к нему. Надо было уходить отсюда, надо было во что бы то ни стало прорываться в развалины колыбельных казарм, потому что казармы немцы оценить не могли. Но тот, свой, знакомый ему участок казарм был уже отрезан, и, выскочив из пролома, он побежал в противоположную сторону, в дальний юго-восточный район цитадели.

Видно, немцы не ожидали, что он рискнет еще раз бежать по открытому месту: он успел миновать почти весь двор, прежде чем в спину ударили выстрелы. И опять он не падал, не петлял, бежал по прямой, не пригибаясь, словно нарочно искал смерти. И опять смерть пощадила его: немцы вдруг перестали стрелять, закричали, и тогда он увидел, что вдоль казарм наперебег бегут люди. Бегут, не стреляя, надеясь взять его живым.

Все-таки он Первым достиг широкого пролома и скрылся в нем. Первым потому, что спасал свою жизнь и свободу и, спасая их, выиграл эту минуту. Минуту, которой хватило, чтобы отглядеться и понять, что дальнейшее бегство бессмыслично. Он метнулся к пролому, вскинул автомат и несколько раз коротко нажал спуск. Столп пласкался в ослабевших руках, он, конечно, ни кого не попал, но немцы сразу рассыпались и залегли. Он выскочил, когда они откликнулись ответным огнем, дал несколько очередей и бросился в соседнее помещение.

Это была конюшня: ни гаря, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая куча сухого навоза лежала в углу, у стены и он, не раздумывая, стал зарываться в нее, лихорадочно разгребая верхний сморзящийся слой. Снаружи еще стучали выстрелы, а он, как крот, рыл и рыл, все глубже уходя в кучу. И замер только тогда, когда услышал голоса и шаги в соседнем помещении.

Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки: голоса то удалялись, то начинали звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым трудным: натруженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал весь в поту от слабости и страха, потому что любая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже случайное любопытство могло обнаружить его, но немцам пока не приходило в голову, что он никуда отсюда не ушел.

Не приходило, но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что они собирались здесь, рядом, о чём-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжелым медленно и увесисто прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипение звук, не понял и тут же почувствовал боль: острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. Почувствовал и похолодел: немец сейчас выбьет этот штык, увидит кровь, и все кончится. Но штык взмыл вверх,

снова вонзился в кучу в сантиметре от его плеча, снова взмыл, и снова вонзился, и тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила, он услышал грузные шаги и понял, что немец, коливший его штыком, сошел на пол конюшки.

Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. Саднила рана на боку, он чувствовал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеют, становятся чужими затекшие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить и верил снова, что спасен, что еще раз выскочил, но рисковать не хотел и, теряя сознание, терпел эту немоту, что постепенно завладела телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, воскресая из него и вновь проваливаясь. Он настолько одревесел, что не чувствовал, сочится ли еще кровь или уже свернулась, временами думал, что может застыть и уже никогда не вылезет из этой кучи, но не вылезал, пока не стемнело.

Он с трудом выбрался наружу. Долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и гибкость, растирал ноги. Кровь из раны больше не шла, рубашка присохла, и он не стал разглядывать, что там: перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и послешно сел: ноги не слушались, а в одревесневших мышцах началась такая боль, что он грыз руки, чтобы не закричать. А надо было идти, надо было добираться до своего каземата, залезть в него и сидеть, пока не пойдет снег.

Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хотела и притихла, но не прошла. Шатаясь, он добрел до выхода.

Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она еще не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока немец его вытаскивал. Как бы там ни было, а ему здорово повезло, и поэтому он улыбался, хотя каждый шаг становился сейчас муничтальных усилий.

Но оншел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, толевые шашки и теплые бушлаты и где до сих пор все так напоминало ему о Мирре.

Он не переставал думать о ней, даже когда вляпался в бреду. В последний раз он видел ее у двери: она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она — там, среди женщин, которых приняли ее, как свою. Он видел, как их почему-то очень долго строили, пытались и в строю разглядеть Мирру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну увидели, двор опустел; он выжал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и радость боролись в нем, но радость, что Мирре удалось выскользнуть из крепости, все-таки побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не было: только те, что уже прошли.

Он вдруг остановился, ничего не понимая: он не узнавал местности. Не узнавал своего участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал: перед ним лежали чистые, не запорошенные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко разбросанные взрывом.

А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды: все было погребено под взорванными кирпичами. Все, вся его прошальная жизнь и все надежды на будущую.

Снег предал не только его, но и его убежище: немцы нашли дыру. Нашли и взорвали. И все-таки осталось у него: автомат с полным диском, патроны в кармане, бушлат на плечах да сахар на колени его

вдруг ослабели, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не шевелясь, думая, что же еще у него осталось.

А еще у него осталось яростное желание выжить, мертвую крепость и ненависть. И поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых казарм.

## 2

**Н**очь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озно не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти и, едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым ему подвалам.

Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания: манерку с остатками ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, какие попадались: наши и немецкие. Тщательно пропирил, прятал в разные карманы — калибр к калибру — и считал. Теперь патроны шли на счет, и он заранееставил автомат на одиночную стрельбу.

Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари — впрочем, сухари обрадовали бы его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разబрал ее, смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек был, как у новой, только он не был убежден, сработает ли полуавтоматика: самозарядка долго ваялась под кирпичами, а нрав у нее был капризным — он знал это по училищу. Но ее можно было проверить только в бою: он заново набил магазин и дослал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь: первый он изгрывал еще ночью.

Он возился с винтовкой в незнакомом подвале; в узкий проем проникал свет хмурого зимнего дня. А когда дожевал последнюю крошку сухаря, услыхал голоса. Далекие, чукине и непонятные. Подошел к проему, выглянул: недалеко стояло трое. Один особо выделялся и ростом и сложением.

Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать: просто он вдруг ощущал давящую тяжесть на плечах, ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у рослого была неизменно длинной, с прикинутым трехтранным щитком.

При взгляде на этот сизый холодный щиток он вновь ощущал рану на боку: тупо заняло надломленное ребро. Так вот почему на щите не оказались лоськи крови: щиток нанес колотую рану, а та капелька, что повисла на его острье, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецкими, кинжалными, а своим, родным, трехтранным, и свой щиток не удержал его крови, не выдал, не донес о ней немцам. Щиток ни в чем не был виноват перед ним; виноваты были руки, что повернули этот щиток против него.

Он поднял самозарядку: хорошо, что он нашел ее именно сегодня, вот она и пригодилась. Если не подведет: все-таки она очень капризна, эта СВТ. Он прищурил глаз, ложа на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он проторг глаза, прищурился снова, и снова рослый утратил резкость. С Плужниковским никогда не случалось такого, зрение его всегда было отличным, и все же он сра-

зу понял: он терял зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу.

Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку обоими глазами. Это было непривычно, но все же он подвел ствол туда, куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как рослого швырнуло вперед, как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на спусковой крючок, но автоматика отказалася, и второго выстрела не последовало. А перезаряжать было некогда: надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы.

Оншел быстро, но часто останавливаясь, приглядываясь к отсекам и переходам. Где-то сзади слышались голоса, ударило несколько очередьей. Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется принимать бой, и бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убраться оттуда и теперь предпочел не спешить. Тем более что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и коридоры.

И все-таки надо было искать место, где можно отлежаться: уходить бесконечно он не мог, и в конце концов немцы где-нибудь захапали бы его. И он искал такое место, особенно старательно ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-либо лаз, дыру, пролом, сквозь которые можно было бы выбраться назад или, отложившись, пропустить немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простирали.

Дыру, которую он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была расположена вровень с полом, сразу за уступом под дальнейшей стене, в переходе настолько коротком, что никому бы не пришло в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метро прохода: ему пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно, как в могиле, и, как в могиле, тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора: он оценил ее, еще ничего не проверил, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он сейчас лежал, был мягким и даже теплым, и все это было ему на руку, все пока было удачей.

Топот сапог ударами отдавался в песке, и он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас передовые подходят к темному переходу: из-за толщи песка глухо донеслась очередь. Стрельнули, и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не задерживаясь в коротком переходе.

Топот немецких сапог замирал в его теле: удары ощущались все слабее, все отдаление. Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель.

— Пронесло гадов?

Он резко повернулся: голос звучал из темноты. Хрипкий, задыхающийся. Сердце его забилось в бешеном ритме.

- Кто?
- А ты-то кто?
- Свой!
- Ну, а я еще больше свой. Сколько вас?
- Один.

— Последний?  
— Не считал. Да где ты тут?  
— Обожди, свет зажги. Свечей мало осталось, берегу, но ради такого случая...

Чиркнула спичку, вырвав из мрака худую длиннопалую руку, клок черной, с густой проседью бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему на ящиков огарку и, когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, тухо затянутом ремнем. Увидел отросшие до плеч полуседые волосы, лихорадочно блестевшие глаза и руку, которая тянулась к нему. И бросился к этой руке.

— Погоди, браток. Погоди, не тискай. И ноги у меня болят, и целоваться мы разучились. Дай руку свою, родной твой землячок, советский твой солдат. Руку дай. Вот так. И замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни топлом, ни огнеметами. Не взяли, не взяли!..

Худой, обессиленный человек хрюкло, торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. Смеялся — дрожал — и все говорил и говорил:

— Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я три недели человека не видел, голоса не слышал, сам с собой уж разговаривать начал. Да и ослаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжуся на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцеплен, брачишка твой родной, какие муки вынес, как стерпело все!

— Стерпел, — сказал он, жалея, что не может заплакать от счастья, как плакали этот седобородый. — Значит, одни ты?

— Пончалу много было. Нору эту нашли, ход прорыли. Потом — четверо. А три недели назад последний не вернулся. Вот с той поры и лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? Но коленях-то еще попозан кое-как, а ходить не могу. Отходился, — Кто будешь?

— Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. Как называться, если немцы найдут, а застrelиться не успею. И думал так сказать: русский солдат я. Русский солдат мне звание, русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумам?

— Для немцев — правильно. А я-то свой, лейтенант Плужников.

— Какого полка?

— В списках не значился, — усмехнулся Плужников. — Что, моя очередь рассказывать?

— Выходит, твоя.

Плужников рассказал о себе — без подробностей и без утайки. Раненый, так и не пожелавший пока представиться, слушал, не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И по тому, как слабело поклонение, Плужников чувствовал, что сил у него нового товарища осталось совсем немного.

— Теперь можно и познакомиться, — сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ. — Старшина на Семишиный. Из Могилева.

Семишин был ранен давно: пуля задела позвоночник, и ноги постепенно отмирали. Он уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только в сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, с неистовыможесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немногого еды, патронов, а вода кончилась три дня назад.

Плужников ночью притихнул два ведра снега.

— Ты зарядку делай, лейтенант, — сказал Семишин на следующее утро. — Нам с тобой распускать себя не годится: одни остались, без санчасти.

Сам он делал зарядку три раза в день. Сидя гнувшись, разводил руки, пока не начиндал задыхаться,

— Да, похоже, что одни мы с тобой, — вздохнул Плужников. — Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его, война бы еще легком кончилась. Здесь, у границы.

— Считаешь, мы одни с тобой такие красивые? — усмехнулся старшина. — Нет, браток, не верю я в это. Не верю, не могу поверить! Сколько верст до Москвы, знаешь? Тысячи. И на каждой версте такие же, как мы с тобой. Не лучше и не хуже. И насчет приказа ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамени. — Он вдруг посуетил икончили жестко, почти зло: — Перекусил? Вот и ступай присягу исполнять. Убешь немца, возвращайся. За каждого гада два дня отпуска даем: такой у меня закон.

Плужников начал собираться. Старшина следил за ним, и глаза его странно блестели в робком пламени свечи.

— Что ж не спрашиваешь, почему тобой командую?

— А ты начальник гарнизона, — усмехнулся Плужников.

— Право я такое имею, — тихо и очень веско сказал Семишин. — Имхо право на смерть вас посыпать. Ступай. — И задул свечу.

В этот раз Плужников не выполнил приказа старшины: немцы ходили далеко, а стрелять просто так, ни наверняка он не хотел. Он явно стал хуже видеть и, беря на прицел далекие фигуры, понимал, что попасть в них уже не сможет. Оставалось надеяться на случайное столкновение лоб в лоб.

Однако на этом отрезке кольцевых казарм ему так и не удалось никого встретить. Немцы держались в другом районе, а за ними смутно виднелось множество каких-то темных фигур. Он подумал, что это — женщины, те самые, с которыми Мирра вышла из крепости, и решил подобраться поближе. Может быть, удастся бы кого-нибудь окликнуть, с кем-нибудь поговорить, узнать о Мирре и передать ей, что он жив и здоров.

Он перебежал в соседние развалины, выбрался на противоположную сторону, но дальше лежало открытое пространство, и днем по снегу он не рискнул пересекать его. Он хотел уже возвращаться, но увидел забалленную обломками лестницу, ведущую вниз, в подвалы, и решил спуститься туда. Все-таки за них от кольцевых казарм до этих развалин тянулся спираль, и на всякий случай надо было позаботиться о возможном укрытии.

Он с трудом пробрался по загроможденной кирничками лестнице, с трудом протиснулся вниз, в подземный коридор. Позади здесь тоже был сплошь усеян кирпичами с рухнувшего свода, идти приходилось согнувшись. Вскоре он вообще уперся в завал и вернулся обратно, торопясь выбраться, пока немцы не засекли его след. Было почти темно, он пробирался, ощупывая рукой стену, и вдруг ощущил пустоту: вправо вел ход. Он пролез в него, сделал несколько шагов, завернулся за угол и увидел сухой каменят: сверху, в узкую щель, проникал свет. Он огляделся: камазет был пуст, только у стены прямо против бойницы на шинели лежал труп в изорванном и грязном обмундировании.

Плужников присел на корточки, вглядываясь в останки, некогда бывшего человеком. Густая черная борода покосилась на полуистощивший гимнастерке. Сквозь разорванный ворот он увидел тряпье, тухо намотанное на груди, и понял, что солдат умер здесь от ран, умер, глядя на клочок серого неба в узкой прорези бойницы. Стараясь не прикасаться, он пошарил вокруг в поисках оружия или патронов,

Но ничего не нашел. Видно, человек этот умер тогда, когда нахврещу еще были те, кому нужны были его патроны.

Он хотел встать и уйти, но под телом лежала шинель. Вполне еще годная шинель, которая могла выслужить службу живым: старшина Семишиный мерз в норе, да и самому Плужникову было холодно спать под одним бушлатом. С минуту он еще поколебался, не решаясь тронуть останки, но шинель оставалась шинелью и мертвому была не нужна.

— Прости, браток.

Он взялся за пол, приподнял шинель и мягко вытащил ее из-под останков солдата.

Он астряжнул шинель, пытаясь выбить въевшийся трупный запах, растянул ее на руках и увидел рыхее пятно давно засохшей крови. Хотел сложить шинель, снова посмотрел на рыхее пятно, опустил руки и медленно обвел глазами каземат. Он вдруг узнал и его, и шинель, и погону в углу, и остатки черной бороды. И сказал дрогнувшим голосом:

— Здравствуй, Володька.

Постоял, аккуратно прижал шинелью то, что осталось от Володьки Денинича, придавил края кирпичами и вышел из каземата.

— Мертвым не холодно, — сказал Семишиный, когда Плужников рассказал ему о находке. — Мертвым не холодно, лейтенант.

Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он Плужникова или одобряет. Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не мерзнет, а умирает.

— Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреешь.

С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом сидел, но задрьки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем уступал смерти каждый миллиметр своего тела.

— Стоять начну — разбуди. Не буду просыпаться — пристрели.

— Ты что это, старшина?

— А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею. Слишком много радости им будет.

— Этой радости им хватает, — вздохнул Плужников.

— Этой радости они не видели! — Семишиный вдруг рванул лейтенанта к себе. — Святого не отдавай. Сдохни, а не отдавай!

— Ничего не понимаю. Чего святое?

— Придет время — скажу. А до времени слушай меня, как бога. Не своим именем говорю это, верь. Отдохни! Автомат в руки и — наверх. Наверх, лейтенант! Чтоб знали: крепость жива. Чтоб и мертвых боялись. Чтоб детям, внукам и правнукам своимказали: Россия соваться!

Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки яростного ожесточения все чаще овладевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта наружу. Плужников не спорил: в нем давно уже ничего не было, кроме ненависти, но ненависть эта в отличие от ненависти Семишиного была холодной и расчетливой.

В первый день нового, 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего похмелья утром осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться черных дыр мертвыйкрепости, а только он уложил двоих, уложил наполовину из хорошего беженца. Долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мела выюга и следы его не взяла бы и самая опытная собака.

Он увел погоню подальше от норы: почти к Холм-

ским портам. Тут немцы окончательно потеряли след, покричали, побегали, постrelяли и ушли ни с чем. А он до вечера отлежался в глухой нише и пошел к себе:ложить старшине, что еще двоих можно списать на тот свет.

Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни. Часто впадал в забытье, кричал криком от непереносимой боли, а приди в себя, дрожал в смертном ознобе, и пот каплями застывал на лбу. И только неистовая воля удерживала еще остатки жизни в уже омертвевшем теле.

— Видно, не дожил мне, — с глубокой тоской сказал он, прида в себя после очередного приступа. — Видно, тебе придется.

— Что придется?

— Помирать буду — скажу. Что, война кончилась?

— Непожоже.

— А чего сидишь? Патроны есть?

— Есть, — сказал Плужников, уходя в это метельное новогоднее утро.

А сейчас был вечер, и он спешно обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не добравшись до лаза, услыхал глухие стоны. Видно, кричал Семишиный во весь голос, и даже толщи песка не могли заглушить его криков.

Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в кромешной тьме нашарил последний горячий горючий свечи, зажег. Он не окликнул Семишиного, понимая, что это конец, что опять уходит из его жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер со лба старшину, пот и застыл подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или нет. Он устал провожать людей, устал сражаться и устал жить.

Семишиный замолчал сам. Замолчал вдруг, оборвал крик, и Плужников подумал, что это конец. Но старшина открыла глаза:

— Я кричал?

— Кричал.

— Почему не разбудил? — Плужников промолчал, и Семишиный вздохнул. — Понятно. Себя жалеют? А имевшь ты право себя жалеть? Кто мы такие, чтобы себя жалеть, когда по матери нашей чужие сапоги топают...

Семишиный говорил с трудом, задыхаясь, уже неясно выговаривал слова. Смерть докатилась до горла, руки уже не двигались, и жили только глаза.

— Мы честно выполнили долг свой, себя не щадя. И до конца так, до конца. Не позволяй убивать себя раньше, чем умрешь. Только так. Только так, солдат. Смертью смерть поправ. Только так.

— Сил нету, Семишиный, — тихо сказал Плужников. — Сил больше нету.

— Сил нету? Сейчас будут. Сейчас дам тебе силы. Расстегни меня. Ватник, гимнастерку — все. Расстегни нут! Сунь руку. Ну? Чувствую силу? Чувствую?

Плужников расстегнул ватник и гимнастерку, не уверенно, ничего не понимая, сунул руку за пазуху старшины. И ощутил грубыми обмороженными пальцами холодный, скользкий, тяжелый на ощупь шелк знамени.

— С первого дня на себя ношу. — Голос старшины дрогнул, но он сдерживал дышавшие его рты. — Знамя полка на мне, лейтенант. Его именем призывали тебе. Его именем сам жил, смерть гнал до последнего. Теперь твой черед. Умри, но немцам не отдавай. Не твоя это честь и не моя — Годины нашей это честь. Не запятнай, лейтенант.

— Не запятно.

— Повторяю: кланяусь...

— Кланяусь, — сказал Плужников.

— никогда: ни живым, ни мертвым...

— Ни живым, ни мертвым...





— ..не отдавать врагу боевого знамени..  
— боевого знамени...  
— ..моей Родины — Союза Советских Социалистических Республик.

— Мой Родины — Союза Советских Социалистических Республик,— повторил Плужников и, став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины.

— Когда помру, на себя наденешь, — сказал Семишиный. — А раньше не трожь. С ним жил, с ним и помереть хочу.

Они помолчали, и молчание это было торжественным и печальным. Потом Плужников сказал:

— Двоих я сегодня убил. Метель на дворе, удобно.

— Не сдали мы крепость, — тихо сказал старшина. — Не сдали.

— Не сдали, — подтвердил Плужников. — И не сдадим.

Через час старшина Семишиный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова, и Плужников еще долго сидел рядом, думая, что Семишиный жив, а он уже был мертвым.

Плужников снял со старшины знамя, разделился до пояса, обмотал знамя вокруг себя. Холодный шелк вскоре согрелся, и он все время чувствовал его особую, волнующую теплоту. Всё время — и когда хорошил Семишиного и потом, когда лежал на его постели, укрывшись всеми бушлатами.

Он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится — ни немец, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее: свою личность, свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим Родины, частичка которой грелась его грудь благородным шелком знамени. И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибла. Важным было одно: важным было, чтобы звено, связывающее прошлое и будущее в единую цель времен, было прочным. И твердо знал, что звено это — прочно и вечно.

А поверху мела метель. Белым ковром укрывала земляники и тропы, заносила притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдевших городов.

Но уже горели партизанские костры, и на их свет, укрываясь метелью, пробирались те, кто не считал себя побежденным, кто не считал себя побежденным он. И немцы жались к домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непонятного народа.

Еще не было Хатини, и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый. Но этот каждый четвертый был уже стрелян. Стреляли, и земля становилась для фашистской армии адом. И предвидимо этого ада была Брестская крепость.

Метель мела от Бреста до Москвы. Мела, заметав немецкие трупы и подбитую технику. И другие лейтенанты поднимали в атаку роты и, ломая врага, вели их на запад. К нему. К непокоренному сыну непокоренной Родины...

**P**аним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свицкий, низко склонив голову, быстро шел по грязной, разъезженной колесами и гусеницами обочине дороги.

Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце играло в ветровых стеклах.

Но Свицкий не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз, потому что на спине и груди его тускло желтела большая шестиконечная звезда: знак, что любой встречный может ударить его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой кювета. Звезда эта горела на нем, как проклятье, давила, как смертная тяжесть, и глаза скрипача давно потухли, несурзано длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина сгустилась еще больше, каждую секунду ожидала удара, тычка или пуль.

Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а пилил дрова в лагере для военнопленных. Тонкие пальцы его отрубили, руки стали дрожать, и музыка давно уже отзывалась в его душе. Он каждое утро торопливо вбежал на работу и каждый вечер торопливо спешил назад.

Рядом резко затормозила машина. Его большие, чуккие уши безошибочно определили, что машина легковая, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать тоже, и поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками.

— Юде!

Он послушно повернулся, сдернул с головы шапку и сдвинул каблуки.

Из открытой дверцы машины высунулся немецкий майор.

— Говоришь по-русски?

— Так точно, господин майор.

— Садись.

Свицкий покорно сел на самый краешек заднего сиденья.

Здесь уже сидел кто-то: Свицкий не решался посмотреть, но уголком глаза определил, что это генерал, и сжался, стараясь занять как можно меньше места.

Ехали быстро.

Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, новое же уловило, что машина свернула на Каэтановскую улицу, и понял, что его везут в крепость.

И почему-то испугалась еще больше, хотя пугаться больше было, казалось, уже невозможно. Испугалась, съежился и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась.

— Выходи!

Свицкий послушно вылез.

Черный генеральский «хорхъ» стоял среди развалин.

В этих развалинах Свицкий успел разглядеть дыры, ведущие куда-то вниз, немецких солдат, оцепивших эти дыры, и два покрытых накидками тела, лежащие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие сапоги. А еще дальше — за этими развалинами, за оцеплением, за телами убитых — женщины разбирали кирпич; охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на черный «хорхъ».

Прозвучала команда, солдаты вытянулись, и молодой лейтенант подошел к генералу с рапортом. Он докладывал громко, и из доклада Свицкий понял, что внизу, в подземелье, находится русский солдат: утром он застрелил двух патрульных. Погоня удалось загнать его в каземат, из которого нет второго выхода.

Генерал принял рапорт, что-то тихо сказал майору.

— Юде!

Свицкий сдернул шапку. Он уже понял, что от него требуется.

— Там, в подвале, сидит русский фанатик. Спустившись вниз и уговоришь его добровольно сложить оружие. Если останешься с ним — вас сожгут огнем.

### 3

метами, если выйдешь без него — будешь расстрелян. Дайте ему фонарь.

Оступаясь и падая, Свицкий медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет постепенно мерк, но вскоре осыпи кончилась: начался заваленный кирпичом коридор.

Свицкий зажег фонарь, и тотчас из темноты раздался глухой голос:

— Стой! Стреляю!

— Не стреляйте! — закричал Свицкий, остановившись. — Я не немец... Пожалуйста, не стреляйте! Они послали меня!

— Осети лицо.

Свицкий покорно повернул фонарь, моргая подслеповатыми глазами в ярком луче.

— Иди прямо. Свети только под ноги.

— Не стреляйте! — умоляя говорил Свицкий, медленно пробираясь по коридору. — Они послали сказать, чтобы вы выходили. Они скроют вас огнем, а меня расстреляют, если вы откажетесь...

Он замолчал, вдруг ясно ощущив тяжелое дыхание где-то совсем рядом.

— Погаси фонарь.

Свицкий нашупал кнопку.

Свет потуск, густая тьма обступила его со всех сторон.

— Кто ты?

— Кто я? Я еврей.

— Первоводчик?

— Какая разница? — тяжело вздохнул Свицкий. — Какая разница, кто я? Я забыл, что я еврей, но мне напомнили об этом. Я просто еврей, и только. И они скроют вас огнем, а меня расстреляют.

— Они загнали меня в ловушку, — с горечью сказал голос. — Я стал плохо видеть на свету, и они загнали меня в ловушку.

— Их много.

— У меня все равно нет патронов. Где наши? Ты что-нибудь слышал, где наши?

— Понимаете, ходят слухи... — Свицкий понизил голос до шепота. — Ходят хорошие слухи, что германцы разбили под Москвой. Очень сильно разбили.

— А Москва наша? Немцы не брали Москву?

— Нет, нет, что вы. Это я знаю совершенно точно. Их разбили под Москвой. Под Москвой, понимаете?

В темноте неожиданно рассмеялись. Смех был хриплым и торжествующим, и Свицкий стало не по себе от этого смеха.

— Теперь я могу выйти. Теперь я должен выйти и в последний раз посмотреть им в глаза. Помоги мне, товарищ.

— Товарищ! — Странный, булькающий звук вырвался из горла Свицкого. — Вы сказали: товарищ?.. Боже мой, я думал, что никогда уже не услышу этого слова!

— Помоги мне. У меня что-то с ногами. Они плохо слышатся. Я обопрюсь на твоё плечо.

Костлявая рука скользнула плачно скрипача.

Свицкий ощущал на щеке частое, прерывистое дыхание.

— Пойдем. Не зажигай свет: я вижу в темноте. Они медленношли по коридору. По дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному с мучительным трудом.

— Скажешь нам, —тихо сказал неизвестный. — Скажешь нам, когда они вернутся, что я спрята... — Он вдруг замолчал. — Нет, ты скажешь им, что крепости я не сдал. Пусти ищут. Пусти, как следуют ищут во всех казематах. Крепость не пала. Крепость не пала: она просто истекла кровью. Я последняя ее капля... Какое сегодня число?

— Двенадцатое апреля.

— Двадцать лет. — Неизвестный усмехнулся. — А я просчитался на целых семь дней... Двенадцатое апреля...

— Какие двадцать лет?

Неизвестный не ответил, и весь путь наверх они проделали молча.

С трудом поднявшись по осыпи, вылезли из дыры, и здесь неизвестный отпустил плечо Свицкого, выпрямился и скрестил руки на груди. Скрипач поспешил отступить в сторону, оглянулся и впервые увидел, как он вывел из глухого каземата.

У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль взвесилась в перетянутый ремнем ватник, сквозь дыры на брюках виделись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые черные, обмороженные пальцы. Он стоял, строго вытянувшись, высоко вскинув голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих, пристальных глаз неудержимо текли слезы.

И все молчали.

Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали, бросившие работу женщины вдаль, и охрана их тоже молчала, и все смотрели сейчас на эту фигуру, струготу и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал.

— Назовите ваше звание и фамилию, — перевел Свицкий.

— Я русский солдат.

Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось: этот человек долго прожил в молчании и уже плохоправлялся своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова о чём-то спросил.

— Господин генерал просит вас сообщить свое звание и фамилию...

Голос Свицкого задрожал, сорвался на всхлип, и он заплакал и плакал уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам.

Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий взгляд. И его борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке:

— Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?

Это были последние его слова. Свицкий переведил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел.

Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскоции врачи и два санитара с носилками. Генерал кивнул, врачи и санитары бросились к неизвестному.

Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел к машине.

Оншел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентировался по звуку работающего мотора. И все стояли на своих местах, а оншел один, с трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги.

И вдруг немецкий лейтенант, щелкнув каблуками, вскинув руки к козырьку... Солдаты вытянулись и замерли.

А склонившийся солдат, качаясь, медленношел сквозь стойк оцепеневших врагов и ничего не видел, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше славы, выше жизни и выше смерти.

Страшно, в голос, кар по покойнику, завили бабы.

Одна за другой они падали на колени в холодную апрельскую грязь. Рыдая, протягивали руки и клались до земли ему, последнему защитнику так и не покорившейся крепости.

А он брал к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и

шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел.

Возле машины.

Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза.

Упал свободным и после жизни, смертью смерть поправ.

## Эпилог

На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Соскем недалеко от Москвы: меньше стука идет поезд. И не только туристы — все, кто едет за рубеж или возвращается на Родину, обязательно приходит в крепость.

Здесь громко не говорят: слишком оглушающими были дни сорок первого года и слишком многое помнят эти камни. Сдержаные экскурсруды сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы триста тридцатого третьего полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, пройти к Тереспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костела.

Не спешите. Вспомните. И поклонитесь.

А в музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло, и солдатские башмаки, которые кого-то торопливо зашивало в ранним утром 22 июня. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь возле знамени — единственного знамени, которое пока нашли. Но знамена ищут. Ищут, потому что крепость не сдалась и немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга.

Крепость не пала. Крепость истекла кровью.

Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на десятом месице войны. На десятом, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат.

Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. Эти экспонаты не умещаются на стенах и в экспозициях: большая часть их лежит в запасниках. И если вам удастся заглянуть в эти запасники, вы увидите маленький деревянный протез с остатками женской туфельки. Его нашли в воронке, недалеко от ограды «Белого дворца» — так называли защитники крепости здание инженерного управления.

Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. При-

езжают уцелевшие защитники, возлагают венки, замирает почетный караул.

Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная плита:

«С 22-го ИЮНЯ  
ПО 2-е ИЮЛЯ 1942 ГОДА  
ПОД РУКОВОДСТВОМ  
ЛЕЙТЕНАНТА НИКОЛАЯ  
(фамилия неизвестна)  
И СТАРШИНЫ  
ПАВЛА БАСНЕВА  
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ  
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ  
ГЕРОИЧЕСКИ  
ОБОРОНЫ АЛИ ВОКЗАЛ».

Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее, точно в почетном карауле. Уходит. Приносит цветы. И снова стоит, и снова читает. Читает одно имя. Семь букв: «НИКОЛАЙ».

Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда, дикторы объявляют, что люди не должны забывать билетов, гремит музыка, смеются люди. И возле мраморной доски тихо стоит старая женщина.

Не надо ей ничего объяснять: не так уж важно, где лежат наши сыновья. Важно только то, за что они погибли...



## Михаил Сосенков



И вся она в коротком платьице  
Так не по-здишнему светла...  
Мой взгляд задумчивый опустится,  
Но лишь над буйною травой  
Мелькает белая капустница,  
Как будто легкий бантик твой.

## Владимир Бесналько



★  
Мон поля лесами огорожены,  
К ним не проехать сразу прямиком,  
Мои луга в кустарниках заброшены,  
Застенчиво закрылись лозняком.  
Мои цветы «анютинными глазками»  
Из-под осоки, как из-под ресниц,  
Глядят на мир застенчиво и ласково,  
Не хмурясь перед вспышками зарниц.  
Мои юный дуб ручонками упрыгами  
Подскажет мне еще издалека,  
Что не туман висит-плывет над травами.  
А это за ночь разлилась река.  
Мое село — рассветы все за горкою,  
За крайней хатой издавна живут,  
Здесь всех буренок клучит только  
Зорьками  
И всех девчонок Светами зовут.

## Сестра

Как и все, отец мой был солдатом,  
Но еще он и поэтому был:  
Уходя в поход в тридцать девятом,  
Под окном рабину посадил.  
И ушел. В тот год я и родился,  
И в избе под прикрытием век  
Засинел глазами, засветился  
На отца похожий человек.  
Мать глядит на выросшего сына,  
Вдовья боль уже не так остра...  
Ты — моя ровесница, рябина,  
Ты, рябина, и моя сестра.



Июлем детство все прокатится,  
Потом в какой-то тихий день  
Мы вспомним: сад, коза-проказница  
Привстала на чукой плетень.  
И что тут делать со скотиной?  
Вот так и лезет на беду!  
И, замахнувшись хвостчиною,  
Увидим девочку в саду.  
К ней каждая травинка ластится,  
К ней наклоняется ветка,

★  
Уже желтеет роща изнутри.  
Она напоминает табакерку:  
откроешь свет, и музыка зары  
негромко хлынет — снизу, сбоку, сверху.  
Вног зазвучат деревья и дожди,  
и вспомню я спокойно и невольно,  
как ты писала: «Жди или не жди,  
я жду тебя — мне этого довольно».  
Уже белеет роща изнутри,  
хрустят под каблуками хрупкий лед,  
и резкий свет сентябрьской зари  
издалека между стволов плещет,  
скользит от горизонта, не спеша,  
пронизывая желтыми лучами  
кустарники, где птица — как душа,  
поет от радости, а может, от печали.



Не поминаю лихом — лишь добром,  
и как бы мог я вспоминать иначе:  
дымяк тумана, контур старой дачи  
и солнце над обветренным кустом.  
И запах подсыхающего сена,  
и между туч мерцание звезды,  
и ощущение светлой новизны  
во всем, что до поры обыкновенно.  
И озеро! Три озера в одном!  
И песенку на ветке краснотала —  
она легко и радостно взлетала  
под солнечным и медленным углом.  
Не поминаю лихом, вспоминаю,  
припоминаю чудные черты,  
сквозь всю природу прострашешь ты,  
далекая, любимая, чужая.



Н. КОЖЕВНИКОВА



# КОМСОРГ

По началу знакомства, когда только присматриваясь к собеседнику, замечашь в Борисе Зарубине две черты — внимательность (к человеку) и естественность поведения. В том, как он смотрит, как слушает, — непринужденная занятересованность. Желание по итти. Истинно интеллигентное, уважительное отношение ко окружающим, к каждой отдельной личности. Отвечать на вопросы Борис не спешит. И ясно: такая неторопливость свидетельствует прежде всего о его ответственности за свои слова, о достоинстве, серьезности, «взрослоти». А он молод. За плечами — школа, армия. Сейчас — 4-й курс машиностроительного факультета МВТУ имени Баумана.

Когда Борис говорит: «Чем больше спрашивавше с человека, тем больше он может дать», — понимаешь, что больше всего спрашивает он с себя самого. Поэтому, видимо, и в школе был отличником и в институте — ленинский стипендант, а главное, сумел за служить уважение товарищей: не случайно уже на первом курсе его избрали в курсовое бюро ВЛКСМ (здесь ему поручили учебный сектор), а на третьем и четвертом он стал секретарем факультетского комитета.

И вот что любопытно: если бывают люди с врожденными организаторскими способностями, то Борис

отнюдь не из их числа. Напротив, еще недавно был очень замкнут, книги нередко заменяли ему живое общение с людьми. «Нет, лучше уж самому все сделать, чем с просьбой к кому-нибудь обратиться» — так он считал до поры. И так жил — в школе, в армии. А институте вдруг был выбран в курсовое бюро.. Вдруг?.. Хотя, наверное, не совсем вдруг.. Еще в армии Борис стал кандидатом в члены КПСС. А среди студентов-первокурсников, как известно, кандидатов партии немногого. Но это могло стать решающим. Решало другое: сможет ли Борис по настояющему работать с людьми, обладает ли даром непосредственного, живого общения — этого в первое время никто не знал. А сам Борис знал здесь еще меньше, чем кто-либо. Начинал работать в курсовом бюро, он скорее преодолевал себя, чем следовал естественным своим склонностям. По натуре неразговорчив, а приходилось много и доказательно говорить, беседовать по душам, убеждать. Первовоочередным Зарубин считал всегда личную ответственность — уверенным можно быть только в самом себе.

На снимке перед лекцией. В центре — Борис Зарубин.

Фото А. КАРЗАНОВА.

бе! А оказалось, необходимо нести ответственность за других, за тех, кого еще мало знал, к кому только-только приглядывался. Ну а что ж теперь? Есть ли перемены? Бессспорно.

Вот как мыслил сейчас он сам. И это весьма немаловажно.

...Из стен института ты выйдешь квалифицированным специалистом, получившим определенный комплекс знаний и профессиональных навыков для работы на заводах, в лабораториях, НИИ. Но нельзя забывать, что придется ты к людям! И кроме технических знаний, ты должен обладать крайне необходимыми каждому из нас навыками человеческих контактов, умением общаться с людьми непосредственно, четко и бескомпромиссно.

Этот опыт учебных программами не предусмотрена. Где же его брат? Да, по сути-то, ничего далекого ходить — или и находить его вот здесь, в институтских стенах, рядом со своими сокурсниками, — в беседах, спорах, делах, повседневном общении с ними...

— В будущем я хотел бы заняться научно-исследовательской работой, — рассказывает Борис. — И может показаться, что опыт организаторской работы мне не понадобится тогда. Но это глубоко неверно. Весьма все научные проблемы стоят сейчас на таком уровне, решаются в таком объеме, что трудались над ними возможно лишь коллективно. Открытия в одиночек случаются крайне редко. А значит, нужно уметь разделять работу на части, поддерживать живые контакты с коллегами. А то ведь если каждый замкнется только в своем, то далеко ли до туника! Все распыляется на детали, и целого не соберешь.. Иначе говоря, в науке теперь без организационного опыта не обойтись. Ты помогаешь, тебе помогают — так складываются человеческие взаимоотношения, так выигрывает общее дело. Понять других и самого себя — конечно же, такому ни в учебниках, ни на лекциях не научат. Накопление опыта — только опыт. Здесь уже все от тебя самого зависит. А обрасти опытом, как мне кажется, очень и очень помогают комсомольская, общественная работа... Умение руководить своими товарищами и учиться при этом — я не имею в виду лишь вузовские занятия... самому...

Руководить... В этом понятии масса оттенков. И масса сложностей.

— У нас в комитете комсомола, — говорит Борис, — я знаю ребят, поразительно преданных своему делу, можно сказать, подвижников. И в работе, что очень важно, сложился у нас на «руководящий» стиль, а, так сказать, сотовческий. Никто не «на»д, а все рядом, подле, жалая поддержать, помочь, подсказать, если другому это понадобится. Такая дружеская, творческая атмосфера сама нас воспитывает: мы, даже не всегда осознанно для себя, постепенно и повседневно постигаем те основы человеческих взаимоотношений, без которых нельзя жить в нашем обществе. Большинство из нас станет не директорами и не руководителями многочисленных коллективов, а рядовыми инженерами. И будем мы общаться с конкретными людьми. И нас ведь тоже будут узнавать конкретно, близко, буднично. Как мы знаем друг друга в институтских группах. Как знает своих сокурсников комсюр. Перед сессией можно пойти к нему и спросить, кто может «завалиться» на экзаменах. Он назовет пять-шесть фамилий и очень редко, как правило, ошибается. Не потому, что он так уж сердечно изучает учебные ведомости, а потому, что видит, знает, как кто занимался в семестре, у кого сложные обстоятельства дома, в семье, кто занятия пропускал и по каким причинам. Мы в комитете узнаем об этих возможных «двоичниках» не для того, чтобы им пристраивать. В конце концов они достаточно взрослые люди. Но иной раз

можно успеть предотвратить чай-то «зaval», помочь хотя бы в оставшиеся перед экзаменами дни.

Для воспитательной, организационной работы у человека, конечно, должен быть особый талант, особый можно сказать, склад души. Борис Зарубин согласен с этим. Хотя, считает он, участвовать в общественной жизни — удел отнюдь не избранных. Тем более что работа в комсомольских комитетах или бюро никак не регламентирована. Сегодня понадобилось задержаться на два-три часа, а завтра, возможно, придется отдать делам и все свое свободное от лекций время. А домашние задания, самостоятельная научная подготовка на кафедре, в лабораториях, короче, все то, что так необходимо будущему специалисту, — разве этим можно пренебрегать? Время! Вот проблема проблем. Именно личным временем приходится жертвовать для общественной работы прежде всего.

— Времени порой бывает очень жалко, — соглашается Борис. — Но не от того, что тратишь его не на себя лично. От другого. Нередко бывает: то, с чем можно было бы справиться за час, отнимает значительно больше. Этого не предусматриваешь ведь, составляя план работы. И причины, мне кажется, в недостаточной дисциплинированности наших комсомольцев, в непрородуманности наших организационных дел. Бывает, ищешь человека, а он ушел и не предупредил никого. Мелочь? Допустим. Но время она «сыедает». Комсомольской работой, как и всякой другой, невозможно всерьез заниматься без чувства ответственности. И это чувство необходимо в себе воспитывать — сознательно, строго. Есть еще одна причина, из-за которой работа комсомольцев в комитете занимает больше времени, чем могла бы. Существует солидная двойственность — и не первый уже день — между деятельностью ребят-активистов и других членов БАКСМ. Надо же, чтобы работали все, чтобы каждый знал, за что он в ответе. Тогда не будет такого, что кто-то тащит на себе цепный вуз, в то время как другие спокойно за этим наблюдают. Иначе говоря, в комсомольской, общественной работе необходимо поднять массовость. Но часто пассивности наших ребят виноваты мы сами, члены комсомольских бюро, комитетов. Интерес же к общественной работе может возникнуть лишь в процессе непосредственного обращения к ней. Лишь тогда, когда ты чувствуешь ответственность за порученное дело, ты лично. А ведь часто бывает: дают поручение комсомольцу, а потом заматывают и забывают. Понимаешься, как он справился с ним и спрятался ли. Естественно, что к следующему поручению человек может отнести спущу рукава. В каждом деле (особенно для новичка) необходимо осознавать его целесообразность. И почувствовать результат — а это даст силы, энергию и заинтересованность для новой работы. Наши небрежности или недоработки в таком плане ведут к серьезным последствиям. Ведь главная задача — в освоение наших комсомольцев. Для завтрашнего дня, для будущего... Вот, например: не так давно надо было отправить в почту смену на разгрузку эшелона с картофелем пятнадцать человек с факультета. Авралько. Ребят нашли. Случилось это в субботу, и у каждого наверняка были какие-то свои планы. Но объяснили ребятам: так сложилось — надо, и надо срочно. Если к каждому подойти вплотную да объяснить нормальным, «пекомандирским», языком, всегда можно убедить. И убедили. Ну, поехали ребята... А на следующее утро рассказывали: никакого картофеля не было. Разыскали им вагон с яблоками, они его и раскидали за два часа. А дальше делать нечего. С базы же уехали тоже нельзя: далеко, а автобус только к утру подойти должен. Так они и прослонялись без толку. Следующий

раз, когда к ним придешь, — поехать-то они поедут, но с каким настроением... Нас просят для какого-нибудь мероприятия организовать массовое участие студентов — мы организовываем. А вот о целесообразности иной раз не задумываемся. Но ведь это тоже входит в наши задачи. Дисциплина дисциплиной, но следовало бы поинтересоваться поточнее, чем будут заняты наши комсомольцы на той же овощной базе и нужно ли посыпать туда всех пятнадцати человек. Ждут-от нас не сленого повиновения, а творческого, осмысленного отношения к делу, к поручению. Без этого между активистами нашими и другими комсомольцами может возникнуть недоговоренность. Не у всех ведь иной раз находятся силы разобраться, понять. Но убеждайт, спорить необходимо — и с каждым в отдельности. Иначе будут ребята тебя все вместе слушать, но, как бы ты ни выразилась, барриера недоверия, недопонимания не перейдет. А если видишь перед собой каждого отдельного человека и надо именно к нему пройтись, заставить понять, ты уж особые слова найдешь, особый подход. И иди в ид у альный, а значит, самый человеческий, самый верный... Пожалуй, если говорить совсем начистоту, я считаю главным в нашей работе не в и д у ш е. Ничем его не заменишь — ни опытом, ни эрудицией, ни умом. И очень редко первенствующее остается без ответа...

...Вполне возможно, — продолжает Борис, — что до окончания учебы в МВТУ я не буду все время комсоргом. Но устремиться, отойти вообще от общественных дел я уже наверняка не смогу. Как не смог этого сделать прежний наш секретарь Володя Причинин — мой прямой предшественник. Он сейчас аспирант, занят научной работой на кафедре. Но, когда я должен был заступить на его место, как он мне помогал! Чуть ли не каждый день мы с ним встречались: советы мне давал, вводил, так сказать, в курс дела. И сейчас знаю — рядом есть человек, к которому всегда можно обратиться за помощью. Опыт организационной, воспитательной работы неизменно должен передаваться вот так, от человека к человеку, по наследству. Без этой преемственности ни одно дело немыслимо. И даже если человек знает, что не вернется больше к комсомольской работе, он не может не думать о своих преемниках, не может не беспокоиться, кто придет на его место. Это естественно. Вот когда наш факультет занял только пятое место по подготовке формирования строительных отрядов, помни, как Володя Причинин расстроился! Встретил меня и как набросится: «Что же это вы? — говорит. — Никогда у нас на факультете такого не было. Пятое место? Подумать только». Вроде что ему сейчас наши дела? Так ведь нет, болеет он за них, тревожится. Взырчательный, экзапсивный... И я уверяю, он и в своем научном работе не сможет быть взятым, равнодушным — всегда, до конца, до последней клеточки будет выкладываться. Так уж воспитан. Таким стал, сформировался. И немалую роль здесь сыграла — я убежден — его комсомольская, общественная деятельность... Дружбы души — это, по моему, самое опасное в человеке. И некого в этом винить, только себя самого. Не заешь своей душе работу, она и обмякнет, как мускулы без физической нагрузки. Ничто не действует на человека так пагубно, как бездеятельность и одиночество. Вот поэтому мне кажется такими важным введение общественно-политической практики в наш учебный процесс.

В чем она заключается? Вот в чем.

В ее будет входить агитаторская, лекторская работа, выполнение общественных поручений, прослушивание факультативных курсов, повышающих наши теоретические знания. Организационно это ново.

Введение такой системы позволяет контролировать общественную работу каждого. Раньше ведь 40, даже 50 процентов студентов заканчивали вуз без элементарных навыков организационно-воспитательной работы. А как бы это пригодилось им в будущей жизни! И еще.. Как известно, в комиссию по распределению студентов после окончания вуза обязательно входит комсомольский актив — секретари комитета, бюро. А ведь это должности сменимые. Вот я, к примеру, в прошлом году был в составе такой комиссии, подписывал характеристики дипломникам, а ведь знал-то из них не больше пятидесяти человек. Не пришлось мне с ними работать: Володя Причинин тогда секретарем был. Ну вот, подписываю характеристики, а там написано: он, мол, хороший. Я верю, не могу не верить: негативные сведения у меня нет. Но хотелось, чтобы были эти характеристики полнее и подоказательней. Оценки по общественно-политической практике, думаю, дадут нам вот такие более точные сведения о каждом из студентов, позволят подготовить фактический материал для комиссии по распределению. Что делал, чем интересовался, как проявил себя в комсомольских делах — это все же поможет прояснить картину, даст какое-то представление о человеке, даже если ты не был знаком с ним лично... Ведь вот когда я уйду из секретарей, кто-то новый, кто придет на мое место, начнется так же мало будет знать моих реек, как и я когда-то старшие курсы. Тут уж ничего не поделаешь. Только время может помочь и опыт. И тогда даже по самой скромной характеристике можно узнать либо... Но все же главное, что даст введение общественно-политической практики, — это, конечно, возможность охватить активной организационно-воспитательной работой каждого из студентов. Потому что всем необходима такая работа души, без нее человек не может быть по-настоящему счастливым...

Я перечитала свои заметки о Борисе Зарубине и увидела, сколько кратки они и неполны. Но можно ли рассказать и объяснить все в одной короткой статье — весь многообразный круг проблем, ежесменно возникающих и решаемых комсомольскими активистами, комсортами? Жизнь, ее повседневное течение, непрерывные малые и большие конфликты — все это неповторимо индивидуально и многогранно. Здесь уже понадобились бы не журнальные статьи, а книжные исследования, где слились бы наука, опыт, люди, поиск.

Опыт. О нем я и хотела рассказать на примере Бориса Зарубина. Опыт в начале самостоятельной жизни, в становлении личности и характера молодого человека наших дней.

Опыт. Процесс его накопления, создание определенного рода фундамента, на котором строится завтра и человек, необходимый этому завтра. Слияние личного и общественного — гармония жизни, создающая в конечном счете и гармоничную личность. Именно об этом и речь. Ему еще жить и жить, развиваться и ошибаться, исправлять и обогащаться, находить — Борису Зарубину, студенту МВТУ, секретарю факультетского комитета комсомола. Конечно же, он не идеален. Но он — в поиске.

Итак, опыт и поиск.

И обретение себя. Не для себя лишь лично, но для себя — для многих



Мои друзья  
Салих Атов  
с женой Вале



Вечер.

Из произведений О. А. ВУКОЛОВА



Праздник.



Новый год.



Ожидание.

---

Л. ВИЛЬЧЕК

# «ХОЧЕШЬ ЖИТЬ— БРОСКОМ ВПЕРЕД!»

Писатель-публицист Валентин Овечкин (1904—1968 гг.) широко известен как автор «Районных будней», яркой и правдивой книги о жизни деревни 50-х годов. Огромный ее успех несколько заслонил в памяти читателей другое, не менее интересное произведение — рассказ «С виноградом, принесенным». Публикуемая статья, основанная на материалах архива, показывает, каким сложным путемшел к этой книге писатель.

**В**ойна застала Овечкина на Кубани, в станице Родниковская. Он жил здесь на положении профессионального писателя — после шести лет разъездной, корреспондентской работы в газетах Ростовской области и Краснодарского края.

Овечкин рвется на фронт. Его не берут — «нет разрядки на писателей». Овечкин завидует своему другу Михаевичу, когда того наконец призвали. Он пишет (17 октября 1941 года):

«Эх, не пришлося, Саша, вместе повоевать. Ну,

ладно, будем воевать порознь. А писать после об

этой войне будем опять вместе.

Сколько не осуществленных планов, сколько поломанных жизней! Да разве у нас только!

Араться буду зверски. И за белорусские, и за украинские колхозы, и за свой родной, где осталась моя молодость и лучшие годы».

Очень по-своему, похоже на себя самого начал Овечкин пробиваться на фронт.

Из письма В. Овечкина А. Михаевичу 7 ноября 1941 года:

«Я получил повестку РККА, потом отставили. Все мои просьбы перед военкоматом не действуют — не требуется моя категория и должность, не дают разрядки. Но все-таки нашел другой выход. Скоро все же уйду в армию. Уже живу в казарме, имею коня, обмундирование. Народ, с которым пойду на фронт, очень интересный, все — красные партизаны, добровольцы той и этой войны, есть отцы 2—3 и даже 6 сыновей, находящихся сегодня на фронте. Теперь уже гвердо — скоро буду на фронте...»

Ополчение вскоре ушло на фронт. Но ушло без Овечкина. Буквально за несколько дней до заветного срока он был отозван из ополчения Краснодарским крайкомом ВКП (б) и направлен в газету Кавказского фронта. В «Боевой Крымской» Валентин Владимирович работал в «гражданской должности писателя» с



В. Овечкин. 1943 год. 4-й Украинский фронт.

30 декабря 1941 года по 8 июня 1942 года, то есть фактически все время, пока существовал фронт в Крыму.

С ликвидацией фронта прерывается журналистская работа Овечкина. Вонюк он продолжает в звании пехотного офицера, в должности агитатора полка.

Полиграфия в пехотной части — самый долгий период в армейской биографии Владимира Владимира Овечкина. Он воевал на Стalingрадском фронте, прошел с армией по многим районам юга России. «С каким чувством ступаю я на землю, которую сам отбивал у кулаков, сам пахал» (письмо к А. Михалевичу 2 июня 1943 года). Писать ему, естественно, некогда. Почти все время он — в ротах, непосредственно под огнем. Единственное «литературное наследие» этой поры — записные книжки писателя, в которых мы находим склонное сплетение нескольких сюжетов.

Линия внешнего слоя — плавы и заметки докладов, лекций, бесед, практических разборов опыта последних боев. Темы: разъяснение приказов Верховного Главнокомандующего; более всего и настойчивей — о дисциплине и сноса о дисциплине, о храбости и трусости, о присяге, о честности, недопустимости лжи, вводящей в заблуждение командиров. В скользких пунктах планов — чисто овечкинское упрощение, уменье неоступно осаждать тему, перебирая все ее возможные грани, связи. Так, если речь, скажем, о дисциплине, то уж разрабатывается эта тема от аспекта: «Дисциплина — как основа ленинского плана построения партии — в отличие от меньшевистской расхлябанности» — и до аспекта: «Дисциплина и внешний вид солдата, неопрятность поваров, расхлябанность ездовых».

В заметках разбора опыта боя читаем: «Артиллерия часто била по своим...» У Овечкина это встречается неоднократно — и про артиллерию, которая бьет по своим, и про разведку, которая ориентир указала неверно, но ни то, ни другое не переосмысливается образно, не вырастает в трагедию; его вывод: «...слишком неповоротливо». Или «...очковтирательство на фронте вдвое преступно».

Агитатор полка В. Овечкин сознательно подчиняется себе унифицированному языку уставов и приказов. Высшая гуманность заключалась для него теперь в том, чтобы научить солдата и командира мыслить уставными положениями как категориями их собственной нравственности и морисозердания: раскрыть живое, человеческое содержание сухих строк устава — и вновь придать им форму коротких категорических формул.

Но наверно было бы сделать вывод, согласно которому «скогда говорят пушки — музы молчат». Муз Овечкина не молчали. Она искала завтрашние слова, пока писатели завоевывали право сказать их людям.

Как заявлял он это право, рассказывают те же блокноты: сюжетные линии второго их слоя — записи, протоколы опущенных, каждый раз вынесенных из только что догоревшегося боя. Истины, передаваемые потом другим, он — далеко не умозрительно — испытывал на себе.

«...Перед вечером с горы — немецкие танки — 4 штуки. Яростный огонь — тук, тук, тук, как в дверь стучатся — из танков... начинается драк. Я послан Сагновым задерживать бегущих. Удалось остановить грушу человек 10, положить у сопки, заставить оборону...

23 февраля шел в цепи наступающей пехоты. Полк — извод, человек 40... Только подошел и пришел возле одного сержанта из 75 СБ — ранило его пулей в ногу выше колена — навылет. Интересно щелкают разрывные, когда ударяются о толстый бурьян вблизи. Будто кто-то стреляет над самым ухом.

Нервы вообще спокойны. Сам удивляюсь, будто три года уже на фронте и каждый день под пулями...»

И наконец наболеве сокрытые, глубоко залегающие слова, в которых как бы растворяются впечатления из двух внешних, проявляясь, вспыхивая уже в чисто писательских ассоциациях, образах.

На этом уровне дневниковая запись вдруг превращается в стихотворение в прозе.

«Смертное поле, вспаханное сардами, забороненное пушками. Буряны. Пустота. Даже зерн ушел из этих бурян. Гуси пролетают над степью, и те летят высоко-высоко, распутанные зениктами и железными черными орлами.

В двухлетнем буряне — развалины домов, каменные и сраманные стены без крыши. Остатки сожженного еще осенью 1941 года села.

Как мы шли к нему ночью!

Ночь весенняя, но холодная, резкий ветер. Обрадовались — село, обогреемся! Но подошли ближе — одна хата сожженная, другая — развалина, третья — без крыши, дымоход с трубой горит над развалинами — все село проши, кат 200 — все пусто, мертвое.

Кто-то сказал:

— Мертвое село.

Да, мертвое село. Есть Мертвое море, есть Мертвые пустыни, это — Мертвое село.

Я бы никогда не стал восстанавливать это село. Так бы и оставил эти руины на 1 000 лет. Воды бы сюда людей и показывал — здесь в 1941 году побывали немцы.

Все чаще рядом с деловыми пометками — фраза, моментальная сцена, образ, непроизвольно зафиксированный взглядом художника:

«Прополочные заграждения в реке...»

«...Был случай. Будка. Музыка. Каждый вздохнул. И все закричали: «Доловально! Не расстреливай!»

Все чаще паузы между двумя записями становятся незримым полем какого-то мучительного, драматического душевного борения — на поверхность выпыльвают разрозненные части, но по ним интересно, до внезапного холода в сердце, следить за подводным течением.

«Слепые и зрячие вместе работали в одной мастерской. Бывало, не различишь, где слепые, где зрячие. Но однажды ночью пошло электричество. Зрячие прислали работу, а слепые продолжают.

Преимущество слепоты.

Эта тема — очень странная для Овечкина — будет возникать у него еще неоднократно. Само ее появление свидетельствует, что простота его правды — сложная простота, результат мучительного раздумья и выбора. «Преимущество слепоты» — огромная этическая проблема. Не будем кривить душой — Овечкин-агитатор, пропагандист без колебаний готов использовать это преимущество, коль скоро оно ведет к победе... — таков первый слой дневников, о котором мы говорили. Овечкин знает: для победы нужна вера, пусть даже слепая вера и ее атрибуты: авторитет, легенды, символы. Эта вера должна быть очищена от любых рефлексий и не должна знать конкуренции ни с какой другой. Отсюда:

«Бангист на военном закрытом суде. Законченный враг. Дали 10 лет. Напрасно! Надо было полюбоватьсь, как типом, а потом расстрелять».

Но нравственным условием, на котором Овечкин приемлет беззогорючную веру, является то, чтобы атрибуты веры не заслонили и не подменили ее высокий человеческий смысл. Когда это случается, рождается самое — по Овечкину — страшное: цинический фанатизм, своего рода религия без веры и человека:

«Фанатики, начетчики и циники. Циники, подобные неверующим попам.

Один циник. У него на всякий случай жизни такой классический пример:

— Н. работал, на заводе номер 371. Завод разрушен. Он обозлился убить столько, какой номер носил его завод. К пришел в часть 137. Он обозлился убить столько, какой номер носит его часть».

Так неожиданно посторонняя для Овечкина тема о «механических людях» воскресает в удивительно точном образе своеобразно бюрократического сознания, вынывая у Овечкина острую неприязнь, глубокий нравственный протест, хотя в данном случае конкретная цель вроде бы замечательна, «контрольные цифры достаточно высоки». Овечкину небезразлично, с каким моральным прицелом убивают врага, он вдруг ощущает, что, делая объективно полезное дело, можно внутренне обесцветить его убийством «думки», идеи. Простые истины, за которые Овечкин порой сражался с отвагой, объяснялись, казалось бы, действительно лишь «преимуществом слепоты», на поверку — свидетельствуют фронтовые блокноты — были итогом очень зрячего раздумья и выбора. Блокнотные записи в этом плане раскрывают удивительное многое.

Запись. О ком написано, неизвестно. Видимо, уже о грядущем герое:

«Есть люди честные, но лишь потому, что существуют законы, карающие за нечестность. Этот же честен по природе своей.

Первые — материал для фашизма». За этим должно следовать одно из двух: либо глубочайшее презрение к человеку и апологетика кары, либо мудрое понимание: люди такие, какие есть; нельзя поощрять подонков, но что касается большинства — не только их, но и моя, твоя, наша вина, если возникли условия, в которых в рост могло пойти худшее, а не лучшее.

О немцах: «...они вытоптали целые области, загадили города, устроили в музеях уборные, превратили школы в конюшни. И это делают не только земляне из Нидуха, надевшие солдатские шинели. Это делают приват-доценты, журналисты, доктора философии и министры...»

И о своих:

«После немцев написать — кто действительно был своловью, а кто только сплоховал. Резко — разграничи, прекратить травлю!»

И вот тут же о других виновниках — об отставших колхозах и виновных этого отставания, о председателе колхоза, о секретаре райкома, о тех, кто довел людей до равнодушия к советскому строю — до того, что они не чувствовали 12 лет преимущества колхозного строя... И тут же — пришли фронтовики, и что они делают.

Может быть — серию очерков.

Так, отказавшись от себя самого, сливвшись с тем целим, что называлась Армия, и вновь обретя себя в тех условиях, в которых жил каждый солдат, Овечкин возвращается в литературу, вынося из боев выстраданные, испытанные суровой правдой времена темы.

Все чаще страницы его блокнотов пестрят пометками «Тема для рассказа», «Надо написать о...». Все чаще записи звучат как отрывки из еще не написанного, однако уже задуманного. Иногда выбор тем, избирательность зрения, настойчивость возвращения к одной из них, как всегда, у этого человека принимавшая форму одержимости, могут казаться странными. Действительно, почему его столь остро привлекают, скажем, темы отношения к населению освобожденных районов? Почему так остро волнует его: кто как вел себя при немцах?

Овечкину первостепенно важно, во имя чего надо отбить у врага ближайший поселок. Логика Овечки-

на в достаточной мере ясна: если те, кто ждет тебя в этом поселке, за людей не считаются, вычеркнуты навек из «своих» — то борьба за поселок оказывается борьбой за географическое понятие, а не за человека, в лучшем случае утомлением мести, а это — трагическая цель, ибо с ее достижением жизнь теряет смысл. Поэтому залогом нравственного выживания в войне, залогом возвращения к жизни и представляется Овечкину утверждение: твоя цель — освободить родных тебе людей, но не своим волею живущих под игом фашизма. Если они и не были сплошь героями, так ведь и твой геройизм — результат преждевременного организации, частичкой которой ты стал, а те были одинокими против организаций. Поэтому поспеши — для того, чтобы вызволить из беды грешных смертных, могущих не дожить до твоего прихода. Мироощущение это емко выразил А. Твардовский:

Не пощади врага в бою —  
Освободи семью свою.

Овечкин думает о жизни. Война теперь не просто озаряет героическим светом надежное и добре в прошлом. Война сама — жизнь, в которой, как во всякой жизни, рождается добро и зло.

«Каким дураком я был, думая, что война своим очистительным пламенем выжгнет все язвы», — пишет о. А. Михалевич 2 июня 1943 года. Нет, война не только сжигает худшее, но и уродует, оставляет долго не заживающие рубцы. Война сеет жуткие зерна счастья, война еще и «оправдывает» зло. Будущее — не прошлое, очищенное войной. Будущее будет таким, каким придем в него мы — пусть «с пустым рукавом», но только «не с пустым душой», в которой в священном, да, в священном огне, но выгорело все — способность любить, доброта, само желание жить. Только не с пустою душой. Это все острее понимает Овечкин. Однажды возникнув на страничке фронтового блокнота, не исчезает теперь все синтезирующий вопрос:

«Как будем жить?»

Писать о войне Овечкин начинает в должности военного журналиста в газете 51-й армии «Сын Отечества».

«...ровно 22 июня, в день рождения, я получил назначение на новую работу и потопал по фронтовым дорогам к месту... Сейчас пока не выезжаю, сижу в квартире, в небольшом селе, где мы расположились, и пишу очерки на материале, который накопил в полу. А материала много!

...Сейчас мне легче стало писать на фронтовые темы, потому что прошел солдатскую жизнь, с курсов, с полка. Это опять дает мне такое же преимущество перед другими писателями, какое я имел, когда писал о колхозах...» — пишет он жене, Е. В. Овечкиной, 3 июля 1943 года.

Журналист. В. Овечкин, если не считать оперативных корреспонденций — иногда за третью подписью — Гильбух, Годник, Овечкин, — обычно встречает, находится в изменчивой фронтовой обстановке то, что уже продумано и описано им в блокнотах дикционной поры, словно реальность — это его материализовавшиеся раздумья, разумеется, несколько конкретизированные.

Ряд статей — страстный призыв вызволить из фашистской неволи близких — «освободи семью свою». Призыв этот в очерках обретает конкретный облик и драматизм, преображается в напряженную сюжетную ситуацию. Например, в очерке «Этого больше не будет» рассказано, как бойцы отдали хаты в освобожденном селе, привыкли к обитателям хаты, в которой установились, побояли их как родных, поняли: ни дед Щекин, ни Настя, его невестка, жена солдата, ни восемилетний Колька не ви-

новаты, что остались при немцах, наоборот, это они, бойцы, виноваты, что не сумели в сорок первом их защитить. И вот теперь бойцы обещают: больше фронт не откатится, удержатся они здесь, соберутся с силами — пойдут дальше. Однако не удержались. Оттеснили их немцы всего на какой-нибудь километр. Так и стояли потом в обороне — с КП виден был дом старика Щекина. К змие наступление возобновилось: в коротком бою «вышибли» бойцы врага из села. Забежали погреться в знакомую хату — и страшную, наивес обжигающую холодом лужу увидели картину. Всего только километр...

В другом очерке («Дорог каждый час») — всего только час:

«В одно село на Дону мы вошли, когда оно уже пытало, подожженное немцами с трех сторон. И жителей не нашли мы — не было их и в погребах.

Нас встретил дед лет восемидесяти, с трисущей головой. И с ним пес его, испуганный, дрожащий, — вот все, что уделено из живого в селе.

— Что было б вам, ребята, поспешить хоть на час! — говорил дед. — Ох, опоздали вы, родные! Вот, вот только что постреляли!»

...Вонна между тем, выжигая захватчиков, шла на запад, вышибающая до Овечкина его «опытное поле», давая воочию увидеть то, что так его волновало и мучило: как проявлялись люди в условиях оккупации, насколько прочными оказались те ценности, на которых держалась его надежда и вера.

Очень сильное впечатление оставляет очерк «Два года немецкого «нового порядка» в кутуре Шевченко» — запись рассказа колхозников. Нервный накал этого очерка страшен. Ни накал этот неизр — писатель подчеркнуто подавляет любые эмоции, которые могут застичь суть дела. А суть эта в том, что немцы сохранили на оккупированной земле форму колхозов. Почему, зачем? Очевидно, чтобы связать организации, взаимоотвественностю, круговой портупи. Следовательно — ведь может возникнуть мысль! — колхоз — форма осуществления централизованной власти над крестьянином, форма его государственной эксплуатации.

Автор спокоен. Но это то спокойствие, когда «ни кровинки в лице». Он не произносит слов «родное — чужое», это — эмоции, а он требует сути: способ управления? Контроля? Распределения? Сколько выращивали при немцах? А прежде? Сколько забирали немцы? Сколько шло прежде «на госпоставки»? Сколько осталось красноты? В какой степени зависимости от урожая? От труда? Он идет на рискованное, пытающее сближение, чтобы не самим бескомпромиссном уровне принять бой за свою идею, за свою веру в колхоз как «самое справедливое устройство жизни в деревне», чтобы неопровергнутым холодным анализом доказать: при немцах колхоза не было, была колония, коллективная форма хозяйствования при немцах отличается от колхоза в принципе — именно тем, что она — «льши для упрощения хлебозаготовок», что она — форма рабства, а не справедливости... Это «рукопашная» писателя, та самая рукопашная, которой «немец не выдерживает».

...Мы уже говорили: многие оперативные материалы в газете «Сын Отечества» подписаны тремя именами: майор Гильбух, капитан Годник, капитан Овечкин. Но один раз субординация и алфавит нарушается: под материалом на первом месте стоит подпись Овечкина, затем — его друга майора Гильбуха и еще множество подписей. Материал этот — акт комиссии, расследовавшей злодействия немцев в Седльцовском районе, Сталинской области УССР. Документ стал страшен, что его тяжело даже пересказывать. Достаточно представить тридцатисемиметров-

ый, десяти метров в диаметре ствол шахты, почти доверху, как склонская яма, заполненный трупами, в том числе трупами женщин, подростков, даже грудных детей, расстрелянных немцами и подручными их из местных подонков.

Овечкин подписывает этот акт первым. Не в звании капитана, а в звании писателя. Писателя. Полпреда памяти, совести, гуманизма. Это символическое снятие официальной формы имеет для нас сейчас совершенно особый смысл, ибо еще раз говорит о том, как, какое право и логика привели Овечкина к одной из главнейших тем его военного творчества — теме освобожденного населения. Дневники вновь «материализуются», на этот раз в виде цикла очерков «Фронтовые встречи». Мы уже говорили, как трудно шел к этой теме писатель, какие мучительные нравственные коллизии должен он был решить для себя.

Да, палачи, полицаи, предатели — это в конце концов единицы среди десятков и сотен тысяч, им нет процента, можно вычеркнуть их из жизни — и все тут. Мицение — единственное, что им воздастся, — об этом очерк «Фрачева вдовы». Но он писатель. Ему не уйти от ответа на вопрос: каков генезис предательства. Психолог углубился бы в анализ личности. Овечкина более интересует непосредственно социальный срез: насколько, например, соотносимо предательство с довоненной репутацией человека, с его отношением к труду, колхозу. Овечкин еле скрывает радость, когда обнаруживает: полцайд — бывший «летучий», начальник местной полиции — бывший уголовник-рецидивист. Но однозначная, ясная схема обнаруживает свою непригодность. Овечкину хватает мужества, чтобы признать: нет, все не так просто, вот ведь — труда, вполне вроде бы положительный человек, но какие дьявольские в нем раскрылись потенции. И где, наконец, та грани, за которой вынужденная осторожность перерастает в трусость, трусость — в предательство?

Страшно не простое создание — человек. Не семя, которое выкапывает или умрет, но всегда хлеб остается хлебом, поплыть — поплынь. Нет, не семя, а целое поле, в которое брошены разные семена, а какие взойдут — дело социальной культуры. А потому... Нет, борьба за колхозное дело для Валентина Овечкина не борьба за центнеры и надол, а непосредственная борьба за человека, отражение овечкинской концепции человека, чего порой очень не понимали критики, писавшие об Овечкине прежде всего как о знатоке проблем хозяйства.

Война сограла миллионы тех, которые «честны по природе своей». Многих она закалила, очистила, но ведь будущее придется строить и со вторыми. И от того, как решится эта нравственная коллизия, осознанная и впервые поставленная перед обществом В. Овечкиным, зависит теперь чрезвычайно многое: «как жить будем?» Будем строить грядущее выносящими, «запятнанными» — со всем вытекающим отсюда: стилем отношений, формами руководства, мерой демократии? Или будем исходить из того, что было большое обще горе, оказалось — не без урода в семье, но, запомнив это, мы будем все же строить жизнь человеческую, свободную, справедливую, полностью доверяя и уважая к людям.

Эта глубинная работа сознания и затвердела, кристаллизовалась в цикле «Фронтовые встречи». Многие приемы позволяют думать, что этот очерковый цикл с значительной мере не журналистика, не прямая фиксация увиденного, а та же сложившаяся внутренняя лирическая тема в форме журналистики, в форме непосредственных наблюдений.

Овечкин тщательно «разводит» очерки по теме так, чтобы «простреливался» каждый ее клочок. Очерк

«Жизнь заново» (частично та же тема — в очерке «Первое советское слово»): сплоховал человек — вышел из окружения, да и остался в селе под фашистами, сладился. Но все же потом ему поверили, дали оружие — и все лучшее теперь реализовалось в нем; унижение, презрение к самому себе, своей трусости обратились теперь в действенную ненависть к врагу; до Берлина — еще героям успеет стать.

Рядом «Фрицева вдовы». Жена полицая, сбежавшего с немцами. Теперь — полуумная. Пусть. Не жаль. Эти — холуи, упивавшиеся предательской властью, а не просто лишенные внутренних моральных устоев, искривленные люди, «честные лишь потому, что существует закон, карающий за нечестность», эти — опора, ревностные служители законов, которые утверждают бесчестье, человеческое ненавистничество на земле.

И снова: «Марина». Уже знакомая нам грань темы: молодая, красивая женщина — трудно поверить, что к ней осталась равнодушной немецкая солдатка; но все вокруг подтверждают: когда с фронта вернется муж — она сможет встретить его, не опустив головы. Да, она не убила, скажем того немецкого офицера, что жил у нее в хате, видимо, не прогнезвала его и чрезмерной резкостью: берегла двух своих ребят. Но сейчас у всех радость — свою вернулись, а Марина стоит в стороне и плачет.

«Из рассказов женщин и самой Марины выясняется: какой-то интендант из трофейной команды, разыскивавший брошенное немцами имущество... забрал у Марины пару банок немецких консервов и куек сахара и укорил ее при этом: «Иль, нахала! добра!. Все тут — немецкие постылницы. Мы за вас кроквы пропиливали, а мы с фирмами пугались».

..Да, конечно же, Овечкин тоже весьма упрощает тему, но ему важнее всего сейчас кратчайшим путем, устраивая поводы, могущие обострить дискуссии, привести читателя к выводу:

«Жаль, что не застал мы этого интенданта. Поговорили бы с ним по душам. Дураки могут навредить нам сейчас в отношениях с жителями освобожденных районов не меньше, чем мародеры».

Так кончается одна из последних статей, написанных Овечкиным в действующей армии.

Овечкин остается самим собою. Он не просто «отображает действительность». Он предлагает, какой ей быть. Война, понимает он, диктует свои законы, но война рожденна фашизмом, а не наами, и законы войны принимаем не наивно, а лишь затем, чтоб ценой жертвы, ценой превращения человека в «боевую единицу», безоговорочно подчиняющую свою волю приказу, отстоять как раз человека. Этим и определяется его взгляд в мир сквозь войну, война не как объект, а как призма, сквозь которую рисуется будущее.

Так он пишет. Сначала становится героем, прототипом для грядущих произведений своих. И на сей раз проверяет справедливость сухого уставного требования: попал под обстрел — не останавливайся, продолжайся вперед.

Затем — журналист — ищет соответствия в объективной реальности, создавая предметную модель своего личного опыта, не образ еще, а живой образ.

И, наконец, реальность переосмысливается в символ, из «образца» превращается в литературный образ:

«Хочешь жить — броском вперед!»

Этот фразой заканчивается повесть Овечкина «С фронтом мы приветом», произведение, вобравшее в себя все раздумья, весь трудный опыт, выпесенный писателем из войны.



## Игорь Халупский



### Прыжок

Я помню первый свой прыжок  
с пятиметровой вышки.  
Рассвет на гребнях волн зажег  
мерцающие вспышки.

В ушах звучанье ветерка  
пронзительнее флейты.  
Как под тобой вода тонка,  
как высоко над ней ты!

И все-таки она манит,  
взывают оголтело,  
и будто бы иглу — магнит,  
притягивает тело...

### В юности

Еще усталость кажется блаженством,  
и сладость крепкой горечи горька,  
еще своим не овладела жестом  
худая, полудетская рука.

И слов своих сильнее слово чье-то,  
и грубоватость нежности нужней,  
и дальневидные гуденье самолета  
родительского голоса  
слышней...



Если бы узнало солнце это,  
сколько раз в стихах оно воспето  
за неисчислимые годы,—  
грело бы оно, как греет ныне,  
или же, тускнея от гордины,  
охладело к людям навсегда!

Если бы сегодня птицы, травы  
ощутили сумели бремя славы,  
песнями подаренную им,—  
так ли быстро птица бы летала,  
так ли ярко б зелене зацветала  
или стал бы мир вокруг иным?

Ал. МИХАЙЛОВ

# ОСТАНОВИМ КАРУСЕЛЬ!

Еще раз о песне

Рисунки И. ОФФЕНГЕНДЕНА.



**В**о второй половине прошлого года состоялось несколько дискуссий о современной советской песне. В них приняли участие поэты, критики, композиторы, исполнители, а также и те, к кому обращена песня, для кого она написана, кто ее слушает, воспринимает, напевает сам. Словом, дискуссии о песне имели довольно широкий отклик.

Эта статья, разумеется, не претендует на подведение итогов, на мне как участнику одной из дискуссий (в «Литературной газете») захотелось продолжить разговор в молодежном журнале, адресуясь главным образом к тем любителям песни, от требовательности и вкуса которых очень многое зависит. Кроме того, надо еще и еще поискать ответы на некоторые вопросы, возникшие в ходе обсуждения песенного творчества наших поэтов и композиторов.

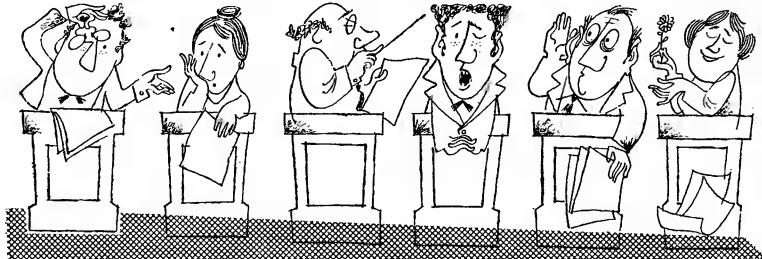
Чем же вызван столь острый и горячий интерес к песне, поскольку в дискуссии примерно в одно и то же время включились различные органы печати и — если учитывать огромный поток писем в редакции — сотни людей?

На этот вопрос ответить и просто и не просто. Просто потому, что песня с древних времен стала спутником человека от колыбели до глубокой старости. И в радости и печали человек ищет созвучного настроения в песне. Слушая песню или напевая ее,

сопреживая певцу, поэту, композитору, он раскрывает душу на встречу добру и участию. Вот почему, коротко говоря, подавляющее большинство людей нравноудушно к песне.

Помните ли вы тургеневских «Певцов»? Помните ли, как песня преобразила и тех, кто ее пел, и тех, кто ее слушал, людей довольно разных характеров и судеб, порою заматеревших в пороке и пьянстве?..

Но состязание певцов закончилось полным торжеством фабричного рабочего Якова-Турка, который по душе был «художник во всех смыслах этого слова»: «Первый звук его голоса был слаб и верен и, казалось, не выходил из его груди, но пронесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга... Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, во, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участием. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и неизбранным широким, словно знакомая стель раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль... Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томление, если бы Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке, словно голос у него обгорвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный на-



шим молчанием, вопрошающим взором обвел всех и увидел, что победа была его...

Вот она, колдовская сила песни, ее тайна, ее очарование. Со дна жизни, из глубины порока поднимает она людей, вызывая душу до понимания прекрасного.

Символичен в этом смысле финал пьесы Горького «На дне» со знаменитой последней репликой Сатини: «Эх.. испортил песню.. дурак! К кому относится эта реплика: к Актеру, обманутому Лукою Пиянице, потерпевшему надежду вылечиться от алкоголизма и покончившему с собой, или к Барону, так не вовремя возвращавшемуся в почтежку с этой вестью? Наверное, и к тому и к другому, но главное-то не в адресате, а в потере того мгновения внутреннего согласия и гармонии, в котором сошлись души пропавших людей.

В первоначальном замысле пьесы, по словам Станиславского, Горький хотел вывестить почтежников с наступлением весны на чистый воздух, на земельные работы, где бы они «ели песни и под солнцем, на свежем воздухе, забывали о ненависти друг к другу».

Песни революционного подполья были оружием в борьбе против самодержавия. Первые советские песни, с которыми шли в бой красноармейцы в годы гражданской войны, песни первых пятилеток, песни Великой Отечественной войны, — в них нашла отражение славная история нашего народа и государства.

Отважусь на странную вспоминание. Трагической для нас осенью 1941 года, когда гитлеровские полчища затопили Украину, Белоруссию, Прибалтику, неострословно угрожали Москве и Ленинграду, будучи молодеными солдатами, услыхал я песню На слова В. Лебедева-Кумакова «Священная война»:

Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  
С фашистской силой темною,  
С проклятою ордой!

Впечатление было огромным. Не раз сам я пел эту песню в солдатском строю и неизменно испытывал чувство великой решимости сражаться с врагом, чувство полного самоотречения во имя Родины.

Не смеют крылья черные  
Над Родиной летать.  
Поля ее просторные.  
Не смеет враг топтать!

И столько силы, столько убеждения и веры было в этих словах, в мелодии песни, в патетическом ее звучании, что каждый раз, слыша ее, я чувствовал, как мурашки бегут по спине, как постепенно исчезает усталость в теле, как прибавляется си.

Пропело более тридцати лет с тех пор. Срок немалый. Но и сейчас, слыши «Священную войну» по радио в исполнении Краснознаменного ансамбля, я вновь с огромным волнением испытываю все те же чувства, которые испытывал много лет назад в суроже, трагическое и героическое время минувшей войны. Эта песня стала для меня, для людей моего поколения эмоциональным знаком того времени.

Ст. Лесневский, называя несколько песен, в том числе и эту, заметил, что «их величие идет в первую очередь» не от текста и не от мелодии. «От всего вместе» — справедливо утверждает он, — а в наибольшей мере — от того, что за текстом и за мелодией — от музыки времени...» Но ведь все же и от текста и от мелодии, ибо они отражают г то, что за текстом и за мелодией. Взмосвязь здесьальная, одно из другого отделить нельзя.

Совершав этот небольшой экскурс в прошлое, я хочу сказать молодым читателям: ни смерти, ни крови, ни страдания не могли поставить в человека человеческое, нравственное, не могли подавить интимных

движений души. Ведь у каждого солдата где-то осталась мать, жена, возлюбленная, просто знакомая девушка, и длительная разлука с ними, обостренная постоянной опасностью гибели, переживалась особенно глубоко. Так вот, другое, самое эмоциональное воспоминание о песне — сурковская «Землянка» (хотя это стихотворение у Алексея Суркова не имеет названия, мы привыкли называть его уже как песню — «Землянка»). Ее пронзительный лиризм, свобода и доверительность тона покоряли с первого же знакоства. Это было так близко, так лично, словно песня выпадала из твоей души.

Бьется в тесной печурке огонь,  
На поленьях смола, как слеза.  
И поет мне в землянке гармонь  
Про улыбку твою и глаза

Главное здесь, конечно, постоянное, выход чувства, эмоциональная разрядка. И бережно переписывал солдат песню на линованном тетрадном листочке, сворачивал в треугольничек и слал ей, как посыпал стихотворение Симонова «Жди меня», как посыпал другие стихи и песни, в которых нашел отражение своих чувств, переживаний, желаний и страстей. Понимал солдат?:

Ты сейчас далеко-далеко.  
Менди нам снета и снега.  
До тебя ми дойти нелегко.  
А до смерти — четыре шага.

Это была горькая и суровая правда. Выговорив ее, эмоционально обособившись своим признанием от гнетущего ощущения долгой разлуки, солдат оставался верным своей любви.

Пой, гармоника, выюге назло.  
Заплутавшее счастье зови.  
Мне в холодной землянке тепло  
От моей негасимой любви.

Песни, подобные этой, были несобщимы солдату на фронте.

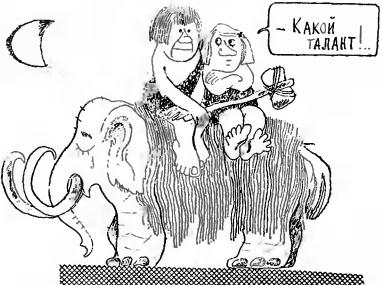
Однажды в Госпитале мне удалось на офицерский ремень выменивать старенькую, нешибко звучную гитару. Я привез ее в часть и около часа таскал за собой по фронту, пока одважка вместе с ротным имуществом она не попала под бомбёжку. Бывало, в часы затишья или когда стояли в обороне, брали я руки гитару и пел вот эти солдатские песни, пел, конечно, неважко, но, за неимением лучшего певца в роте, пользовался успехом. (Нигде после, бывая на концертах выдающихся артистов, в самых знаменитых концертных залах, я не видел такой благодарной аудитории!) Рота жила песней, ее совершенно не смущал дребезжакий, с фальшивинкой аккомпанемент старой гитары и простуженный голос певца, она опушала его волнение, и этого было достаточно, все осталное было в песне и в собственном сердце солдата...

У большинства людей, в том числе, конечно, и у молодых, есть какие-то воспоминания, связанные с песней, воспоминания о том, как та или иная песня вошла в жизнь, стала любимой. Может быть, не всегда запоминаются моменты встречи с песней, но сама она остается в памяти сердца.

Песня сопровождает его повсюду, она звучит по радио и с экрана телевизора, без песни не обходится почти ни один современный фильм, песни сопровождают работу и отдых.

Вот эта всеобщая причастность к песне, горячая личная заинтересованность в ней и дают ответ на вопрос, почему такой широкий отклик вызывают все дискуссии о песне.

А почему не просто ответить на этот вопрос? Да потому, что амплитуда вкусов необычайно велика,



и нередко бывает так: то, что нравится одним, решительно отвергается другими. Мы же знаем случаи, когда дешевые и попловатые песенные изделия, которые теперь прочно и навсегда забыты, получали широкое распространение и часто исполнялись, многими были любимы. Стало быть, речь идет также о вкусах.

Молодой любитель песни, учащийся, писал в одну редакцию: «Чего вы требуете от автора песни? Вы требуете мастерства Исааковского, кажется, по меньшей мере. Но Исааковский у нас один. Остальные — это остальные... Всё, кажется, хотите сказать, что они беспарные. Но тогда чем же объясняется огромная популярность песен, написанных на их стихах?»

А другой, перечислил несколько популярных в прошлом, но явно плохих песен, о которых сейчас вспоминают с иронией, пишет: «Эти песни, однако, не помешали людям, певшим их, отлично трудиться, громко сражаться на фронтах, наконец, петь действительно хорошие песни, когда они появлялись».

Легче всего просто отмахнуться от этих аргументов — дескать, что это за уровень разговора об искусстве... Разобраться же в них не прости. Действительно, песни типа «Ландышей» на какое-то время завоевывают очень широкую популярность, и нельзя сказать, что их поют только люди с низрымским вкусом. Нет. Попут и те, кто понимает, что это ширпотреб, ремесленное изделие. Покот иногда механически, не придавая особого значения словам, смыслу, а так, в силу инерции, поддаваясь «моде» на песню, а иногда как бы иронизируя, подсмеиваясь над собою. Но — поют!

И может быть, еще потому, что наше искусство, наши поэзия и музыка не могут удовлетворить огромную потребность в песне произведениями только высокого художественного вкуса. Этим же, наверное, отчасти можно объяснить и достигшее огромного размаха самодеятельное песнеписательство. Множество самодеятельных ансамблей эстрадных коллективов имеют в репертуаре песни собственного сочинения. «Свои» песни есть у студенческих коллективов, у факультетов, строительных отрядов, бригад, колхозов, школ, пионерских отрядов... Но это особая, обширнейшая и своеобразнейшая область песнеписательства, о которой в этой статье я только упоминаю, ибо подобный разговор о ней увел бы нас с сторону от основной темы. Ведь в самодеятельном песнеписательстве свои особенности, свои критерии, многие его произведения не лишены таланта.

Само же это явление показывает, какое огромное место занимает песня в эмоциональной и духовной жизни человека и какую огромную потребность в ней должно удовлетворять искусство. Это, естественно, хорошо понимают те люди, которые профессионально занимаются сочинением песен. И, конечно, в большинстве своем они искренне, с полной отдачей сил и таланта стремятся удовлетворить потребность в песне.

Но нельзя ни на минуту забывать о том, что спрос рождает предложение и что наряду с подлинным искусством порою даже оперативнее, быстрее отвечает на спрос ремесленник, халтурщик, человек, лишенный способностей и таланта, но прекрасно улавливающий конъюнктуру, знающий, чем потрафить невзыскательскому вкусу. Он и поставляет на песенный «рынок» изделия дурного вкуса, этаких размалеванных рыночных лебедей в лазурном пруду. А если это сочинение исполнит популярный певец или певица, то и закрутится пластиника, запоет магнитофонная лента, засунув очередной «шиллер» над парками и садами...

Верно, конечно, что такой «шиллер» не помешает людям отлично трудиться, прямую зависимость тут установить нельзя, но вот петь действительно хорошие песни может помешать. Я не хочу быть излишне категоричным в этом споре, ибо, повторю, плохие песни иногда покот люди с воспитанным вкусом. Но уж воспитание хорошего вкуса и пониманию истинно прекрасного у массы людей они не способствуют. Да и у тех людей, что отдают себе отчет в эстетических достоинствах «шиллера» и все же напевают его, притупляют вкус.

Ремесленные песенные сочинения и я обединяют людей духовно, эстетически, задерживают развитие художественного сознания народа — вот в чем скрывается их отрицательное влияние на общество.

Сейчас особенно важно помнить об этом, так как воспитание гармонически развитого человека, человека нового, коммунистического общества — задача на какого-нибудь будущего, а сегодняшнего дня. «Без высокого уровня культуры, образования, общественной сознательности, внутренней зрелости людей коммунизм невозможен, как невозможен он и без соответствующей материально-технической базы», — говорилось в Отчетном докладе ЦК КПСС XIV съезду партии.

Прекрасная папа певица Людмила Зыкина справедливо писала в «Правде»:

«В связи с качеством, характером песенного репертуара нельзя не сказать о низкой еще требовательности редакторов радио и телепередач. Ведь от их вкуса, культуры, гражданского темперамента во многом зависит отбор произведений, воспитание молодежи».

Часто говорят о триаде: поэт — композитор — певец. И это верно. И все же основа песни — слова, стихи, поэзия. В них содержание, смысл. Музыка помогает раскрыть этот смысл, она создает гармонию, во много раз усиливает эмоциональную природу поэтического текста. А иногда выразительная мелодия помогает скрыть убожество содержания. Так тоже бывает. И композитор в данном случае полностью разделяет ответственность за убогое содержание песни с автором текста, так как он выбрал его, этот текст, написал к нему музыку и таким образом способствовал его массовому тиражированию, широкому распространению. А будь он просто стихотворным текстом, никому бы и в голову не пришло печатать его из-за его убогости и поэтической несостоятельности.

Я касаюсь в данном случае эстетической стороны взаимоотношений композитора и поэта, которая распространяется и на исполнителя. Если бессодержательную, убогую по смыслу песню окрывает музой композитор, если ее эмоционально украсят своим обаянием искусством талантливый певец, то не мудрено, что это ремесленное в своей основе сочинение подхватывают многие и многие люди, менее искусственные в искусстве.

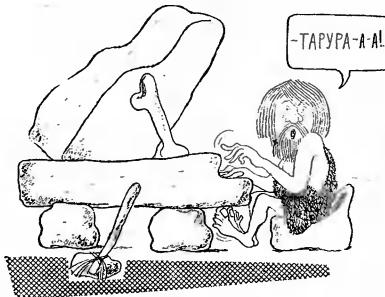
Мне не хотелось бы создавать у читателей журнала впечатление, что хороших, истинно поэтических, глубоких по смыслу и эмоционально возвышающих песен у нас нет. Они есть. Их не так мало. Но они теряются в потоке посредственности и серости, заполняющей не только эфир, но и бесчисленные эстрадные сборники.

Если бы я сейчас стал перечислять лучшие произведения песенного жанра, то, вероятно, смелился бы во времена в прошлом. Песня должна устремиться в гармонию слов и музыки, должна найти своего исполнителя, чтобы прозвучать убедительно. Далеко не каждой хорошей песне сразу удается покорить сердца слушателей. Песни К. Ваншенкина и Э. Колмановского «Алеша» по-настоящему прозвучала после исполнения ее болгарскими певцами. Подобные случаи нередки.

Признаюсь честно, мне захотелось еще раз вернуться к разговору о песне именно в критическом плане, так как не все было высказано в ходе состоявшихся дискуссий и немногое из сказанного было усвоено теми, кому надлежит отвечать за певческий репертуар в его массовой пропаганде. Так мне показалось.

Видимо, прав был Морис Попхизвили, что «за последнее время песня привучила наш слух к поззии, а именно к «текстам». Видимо, прав Константин Ваншенкин, который говорит о том, что у нас «почти утрачено органическое возникновение песни», что потребность в песне «киностудий, театров, радио и телевидении, всевозможных вокальных коллективах и т. п. вызвала к жизни профессию поэта-песенника, вернее, простого песенника, готового написать песни о чем угодно, когда угодно и сколько угодно». Это стало ремеслом. А было искусством». Полна грустной иронии статья Булаты Окуджавы «В защиту бездарности», где он точно вскрывал и внутренний механизм переходления талантливых поэтов в «песеников-текстовиков», в результате чего «стаки талантливые поэты, которые по слабости ли душевной, или обезумев от успеха, или по иным причинам изменяют своему таланту и пекут «тексты слов» в громадных количествах, для любого композитора, на любой вкус...».

Налицо тесная взаимосвязь: именно появление таких мощных средств массового распространения и



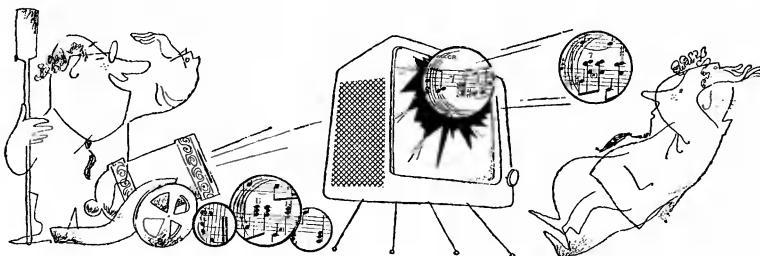
пропаганды песни, как радио, телевидение и кино, вызвало необычайное оживление этого жанра, и именно через эти каналы приходит популярность к тем или иным песням и, стало быть, их сочинителям.

Воспитание вкусов с детских лет, со школьной скамьи — вот один из важнейших аргументов в борьбе с посредственностью и серостью в песенном репертуаре. Надо, чтобы сами слушатели не принимали, отвергали плохие песни. Я понимаю, что есть в этом пожелание некоторое забегание вперед, но можем же, должны же мы потешить будущее!

Прекрасны лекции о музыке Дмитрия Борисовича Кабалевского! Вот если бы нашелся человек, который на таком же или близком к этому уровне вел бы регулярные передачи о песне по радио или телевидению с конкретным показом и разбором достоинств и недостатков песен! Какую огромную пользу могли бы принести такие передачи для воспитания вкусов массы слушателей, для верного понимания характера, идеально-эстетических качеств песни...

Процесс эстетического воспитания масс длительен, художественное сознание народа, общество изменяется постепенно, и, кстати, песня является одним из важных средств эстетического воздействия на человека. Но даже люди профессионально занимающиеся литературой, не всегда единодушны в оценке идеино-художественных достоинств песни. Процесс осознания прекрасного противоречив, помимо непосредственного отклика души, он требует от человека интеллектуальных усилий.

В «Литературной газете» поэт Николай Тарасов уверял читателей, что «история песенного творчества знает и великие песни, слова которых, отторгнутые



от музыки, выглядят тускло, незначительно». Конкретного подтверждения этим словам автор не приводит, лишая своих оппонентов возможности обсуждать вопрос по существу, но мне это утверждение представляется весьма спорным. Все-таки слова, стихи — основа песни, признают все, в том числе и композиторы. Так что же это за великие произведения искусства, основа которых выглядят тускло, незначительно?

Следуя своей логике, Тарасов считает, что текст песни — это «лучшем случае плоскостное ее изображение», он решительно возражает против того, чтобы слова песен «испытывать на отрыв от мелодии».

Бряд ли надо бесконечно повторять ту элементарную истину, что песня как жанр существует в музыкальном, мелодическом выражении. Верно и то, что не каждая песня может прозвучать как стихотворение (на этом особенно настаивают те, кто может сочинять только песни). Впрочем, каждая песня Михаила Исаковского — это стихотворение, да еще какое! Например, «Враги сожгли родную хату...». Боязнь испытания слов «на отрыв от мелодии» выдает слабость сочинителей текстов; нельзя обнажать пустоту! Ее скрывает мелодия, сцена, экран, эстрада — весь автограф, который «делает» песню из ничего, из несколкаих пустых, банальных строчек, повторяемых по два-три раза, и всевозможных «стару-рам» и «труля-ля», заполняющих пространство смыслами, подменяющими его.

Н. Тарасов не видит «большой беды» в том, что «рифмованные строки спасены от мгновенного забвения» музыкой и исполнением, он думает в данном случае о судьбе стихотвория, поставивши песянных текстов. А как же быть с теми, кто слушает и даже поет эти «рифмованные строчки»? Может быть, «мгновенное забвение» было бы для них благом?

И критик тоже приходит на защиту песянного ширпотреба. В. Сухаревич пишет эстетическое оправдание следующим строчкам из песни:

Сокнет кактус на окончике  
Без тебя,  
Почему-то грустно кошке  
Без тебя.

Кого ни вообразят в роли исполнительницы этого куплета — «озорную» ли, «лукавую» девчонку, как предлагает В. Сухаревич, или еще какой-нибудь изобретенный на этот случай персонаж,— эстетический эффект будет один: перед нами пародия на любовную песню, но не сама песня. И не надо представлять критиков подобных текстов людьми, лишенными чувства юмора. Юмор тоже контролируется вкусом, в юморе не меньше (если не больше), чем в любой другой разновидности литературного творчества, опасности скатиться к пошлости, игнорируя эстетические критерии.

Особенности песянского жанра дают большие возможности повеселить слушателей. Скоморохи на Руси и пели, и приплясывали, и на разные лады потешали публику. Я хорошо помню, как много лет назад артисты Северного русского народного хора впервые в Москве, в Концертном зале имени Чайковского, исполнили северные скоморошки, как потом года через два повторяли их исполнение и как с каждым разом все восторженнее принималась этот номер зрительным залом. Отыскала и записала эти скоморошки, кажется, где-то на Пинеге, неутомимая собирательница и пропагандистка народного песянского богатства Севера, создательница хора выдающаяся Антонина Яковлевна Колотилова. Это был подлинный прадзник народной песни!

Но в «современных» репертуаре моего любимого Северного хора (как, впрочем, и в не меньшей степени) — в репертуаре хора имени Пятницкого, Воро-

нежского, Уральского и других хоров!) нередко звучат жалкие стилизации под народные песни, более рассчитанные на эстрадный успех, нежели развивающие традиции песянской культуры русского народа.

Я не хочу называть народную песню тем, кто ее не любит, и тем более подменять ею современные песни. Молодежь сейчас любит динамические ритмы — в музыке, в песнях. Я говорю о преобладающем вкусе. Но, право же, в огромном многообразии песянского богатства народа есть произведения на любой вкус! Все лучшее из этого великого наследия, если умно и высококвалифицированно его популяризировать, найдет своего слушателя, будет доставлять наслаждение, способствовать воспитанию эстетического вкуса. А сочинителям песен будет поистине напоминать о том, как полезно прачататься чистому источнику вдохновения и слежести.

Ссылки на многообразие жанров не оправдывают, они могут оправдывать эстетическую беспомощность песянных текстов. Все жанры хороши, кроме скучного, это верно, слова Вольтера мы любим повторять, когда надо опровергнуть догматизм и инерцию художественного мышления. Но ведь при этом имеются в виду жанры искусства, а не ремесла. Ремесло часто маскируется под жанровое разнообразие, «оправдывает» себя жанровым разнообразием.

Как преодолеть инерцию посредственности (за нею проскальзывает откровенная халтура!), которая буквально сметает все редакторские заслоны на радио, телевидении, в кино и печати, что противопоставить ей, какие организационные, творческие, педагогические меры способны изменить положение дел на песянном фронте?

Песенный Ренессанс, который предсказывал кто-то из участников дискуссий, не может наступить, если мы не решим первой и главной задачи — не преградим дорогу массовому распространению песянского стандарта. Впрочем, самым надежным средством противодействия агрессивному наступлению песянной посредственности может и должна стать талантливо написанная и талантливо исполненная песня, в которой мы услышали бы ритмы дыхания современности, в которой раскрылась бы душа советского человека наших дней, его взгляд на мир, его нравственные, духовные качества. Песня, которая, естественно, вынесет все подделки и имитации.

Наверное, это тоже забегание вперед? Но без этого невозможен никакой песянский Ренессанс, а его ждем не только мы, люди литературных и музыкальных профессий, но — и более всего! — общество, народ. Песня нужна всем.

А пока, как утверждает В. Соловьев-Седой, «на кажущую хорошую песню появляется десяток ремесленных поделок. В этой гонке за лидером получается так, что на каждого Аполлона приходится уже не четверка, а десяток лошадей. Спрос порождает предложения, предложения стимулируют спрос, и пошла карусель...».

Остановите карусель!

Простите, не то... Давайте объединим усилия и остановим карусель, которая крутится по инерции. Я обращаюсь с этими словами не только к поэтам, композиторам и певцам, редакторам репертуарных сборников и музыкальных передач, но и к вам, молодые читатели, молодые люди с требовательным и строгим вкусом, к вам, любителям песни.

Остановим карусель!



Иван КУПЦОВ

# ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ МУЗА

**K**огда три года назад я уходил с выставки Олега Вуколова, устроенной «Юностью» и вызвавшей симпатии зрителей, мне было и радостно и тревожно.

О живописи Вуколова веяло душевной бодростью. Свежие, энергично положенные на холст краски излучали оптимизм. Серебристая стrelка-вертолет зависала над корзинкой с дивными заильскими. В мастерской художника радушно встречали Новый год, и седобородый старик дружелюбно махал рукой с толкотьем что закоченевшего полотна. А рядом возникла то натюрморт с русскими барабанами, то уличка живописного Нальчика, то любовно изображенное семейство близких друзей автора.

Радостно сознавалось, что в искусство приходит новый художник. Его тянуло к большим сопоставлениям, и он публицистически соединял увитую листвой девушку и космонавта в скандинфе, окружая их небесной синью в стаей летящих ласточек. Он был искренен и непосредственен. Как-то удивительно органично соединялись в беспрестном его рассказе впечатления кавказского детства, молодости, прошедшей на неясных набережных, поездок в Тарусу с ее заокскими далями, жизнью в громадной, бурливой Москве. Впрочем, всюду художника окружал столб любимый им простор, а главное, он оставался самим собой. Это ощущение творческой индивидуальности, высенесенное с выставки, будило мои раздумья критики.

С влюбленностью в вечернюю тишину художник пишет молодую мать и мальчика, доверчиво открываяющих природе свои умиротворенные чувства. Закатные лучи солнца теплыми прикосновениями ласкают землю и невесомые отлетают в сучающуюся прохладу. Художник живописует мир, достойный человеческого счастья, и счастье, обогащающее себя среди этого доброго безмолвия, приволья, опущающего сердце, взором, губами.

В полотнах Вуколова природа ляжет и скорбит. Художник изображает мир трехмерным, ничем не стесняющим этот простор света и воздуха, цвета и как бы звучащих человеческих чувств. Надолго в

памяти остается то опущение, которое так сильно и захватывающе пробуждают во мне картины «Вечер», «Возвращение», «У самовара», «Танкисты. Осенние маневры», «У старого маяка», «Прощание», «Праздник». Это — опущение быстротечной человеческой жизни, в которой все значительно.

А вот что говорит об О. Вуколове художник П. Никонов: «На осенней выставке 1973 года мы остановились у его работы «Вечер». Картина была написана густыми цветами. Состояние чуть тревожное, настороженное, как это часто бывает в летние вечера, было передано очень сильно. Кто-то из нас заметил, что работа выиграла бы, если бы не было некоторой приближенности в пластике фигур и особенно лиц. Художник согласился с легкостью, в которой угадывалось внутреннее несогласие, во всяком случае, это замечание ему не казалось существенным. Он стал с восторгом рассказывать, какой это был вечер и как он тут же с ходу написал этот холст... Для Олега Вуколова характерен именно этот подход к работе. Он пишет холсты быстро, с большим напором, доверяя своему тонкому чутью художника, и они, как правило, получаются непосредственными и заражают зрителя своей эмоциональностью». Может быть, многое тут идет от характера О. Вуколова. Об этом хорошо сказал художник В. Попков: «Олег до сих пор как ребенок. Он все время спрашивает и задает вопросы, но в отличие от ребенка часто сам на них отвечает, но отвечает опять же в вопросительной форме. Он видит мир как будто бы через призму восторга, восхищения, гармонии и согласия, будь то девушка с виноградом, танкисты на учениях, портреты художников или писателей. При таком устройстве души должны соседствовать взлет в его творчестве и промахи. Ему очень важно заниматься и жить тем кругом мыслей, образов и понятий, которые будут в ладу с его даром — тогда взлет, а в другом случае — промах, и начинать все сначала».

Родственность человеческих душ, светлое и бодрое мироощущение — вот содержание картины «Осенние маневры», которое раскрывается всей ее живописной пластикой, а не только сюжетом: молодые танкисты на запыленных машинах въехали на деревенскую улицу, их приветствуют колхозники, девушка угощает яблоками. Сознаю, в моем пересказе склоняется начисто исчезает все чувственное очарование полотна, его подлинная, очень глубокая художественная идея. Это живопись гладкая, одновременно динамичная, и мажорная, и созерцательная, склоняющая к элегичному раздумью.

Десятки альбомов Вуколова заполнены натурыми рисунками, в которых еще и еще раз проштудирован каждый ракурс человека, работающего на тракторе, виличащего ребенка, пожимающего руку товарищу, идущего по незнакомой улице. И в каждом штрихе выявлено душевное состояние изображенного.

«Юность» помогла Вуколову умвожить свои способности рисовальщика, на ее страницах появлялись его первые иллюстрации к художественной литературе, проникнутые, как и все творчество художника, волниющим чувством современности.

КРУГ  
ЧТЕНИЯ

БУХОВА  
Вначале  
была  
Земля...

КАКИМ  
ОН БЫЛ...

составлял бы обстановка». Тонкое наблюдение Каманина подтверждает, что Юрий Алексеевич Гагарин был особенным, не бросающимся в глаза в повседневности талант, он органически сливался с эпохой, с обстановкой, он смешал музыку времени, чутье отчаяния и природное чувство он был естествен, смел, его никогда не покидало самоизбранное, уверенность в успехе.

Интересную, содержательную книгу Лидии Обуховой обогащают размышления писателя о предназначении человека, о счастье, о памяти...

О. ГРУДЦОВА

## ГОЛОСА

Позицию Кирилла Ковальдина характеризует доброжелательность, интерес к жизни, строгость форм и конструктивности стиха. Он лишена стихийности, замятного темперамента, и это возможно, потому что ему не хватает искренности. Но его новая книга стихов «Голоса» («Молодая гвардия»), вдруг тронула меня, хотя я давно не читал стихи Кирилла Ковальдина. Я привыкла к сдержанной его поэзии. Лирика проникновенная и человечная! Снова ощущаешь живую душу поэта, его первую обаятельную юношескую интонацию. И видишь, что поэт сумел сохранить в себе самое главное.

В книге есть прекрасные стихи «Белая ночь без тебя», «Соединившиеся», «Жажда из самых глубин души»:

И вот убралась Броню  
я белой ночью  
и повторю:  
здравствуй! Летний сад,  
свой давний сон  
увидел я воочию,  
перебирал строй  
твоих оград.

Но эта ночь случилась невсподад, к другим годам ее я привык. Всему тому, что я себе пророчил, пристало сбываться двадцать лет назад. Но я опять один, и потому как посторонний прохожий я мимо: все, что люблю, могу любить с любими, все, что люблю, мне в тягость одному.

Броню по Ленинграду наудачу, свой черный час от белой ночи прычу.

Такая, называлась бы, жесткая «конструкция», откуда же эта щемящая грусть и непокой? Это

КИРИЛЛ НОВАЛЬДИН  
**ГОЛОСА**



ОБРЕТИЕ  
МУЖСТВА



ДОСТОЯНИЕ  
СЕВЕРНОГО  
РЕДИСА  
Литературные  
манифесты

Михаил Аксенов  
Литературные  
манифесты  
Сергей Тихонов  
Литературные  
манифесты

КЛУБ  
12  
СТУЛЕЙ

СТУЛЕЙ

уже новые черты в творчестве Кирилла Ковальдика, о которых публиковались в техниках стихах, как «Это щит и лекарство», «Баллада о любви», «Человек убывает...», «Мне чудится, что под землей...»

Кирилл Ковальдик. Ковальдик хорошо принят читателем. Очень быстро она исчезла у нас с книжных прилавков Кишинева. Это не мудрено: здесь же, в городе, звучат здесь он начинает. Но и всесозионный читатель теперь имеет возможность познакомиться с лирикой Кирилла Ковальдика, в которой есть много первых наблюдений и света.

А. КОРИННА

## САМО СОБОЙ НИЧЕГО НЕ УСТРОИТСЯ

Константин Щербаков — один из критиков, чьи неутомимые рецензии и публикации в физкультурной и буквально на каждом дне, вот уже немало лет отдающего себя рабочей повседневности нашего театра и кинематографа, сама по себе вызывают удивление. Напечатав его книгу «Обретение музыки» (Издательство ВТО, 1973), все время ощущающее «за предром» полное знание автором всего остального. Он все видел и ничего не пропустил. Но отобразил определенные спектакли и фильмы.

По какому же принципу? Не трепетствуя на зачинах, не воротясь к формализму, можно сказать так: по хронологии умственного и нравственного развития своего поколения. А поколение его — актеры, драматурги, режиссеры, не глядя на появление в более широком историческом и общенародном смысле, вступило в сознательную жизнь в эпоху сложную, переломную...

Во все времена были критики, яростно отказывавшие молодому поколению в самом праве быть критичным по отношению к действительности. И это время, когда появились первые статьи автора. Щербаков изначально не приемлет такой позиции, и в этом смысле его книга — это импосторический документ времени. Он сторонник интеллектуальной самостоятельности молодого героя, и именно поэтому он обнаруживает нечто своеобразное, что ни устроило его самого начала и с чем борется он на протяжении всей книги. Это «нечто», когда красноречие,

ем подменяется реальностью дела.

Вот книга и есть исследование типических общественных черт характеров нынешних молодых, их проверка на нравственную стойкость, гражданскую честность и, конечно, тут же способность, если можно так сказать.

Потребность в общественной правде — для него несомненное достоинство героя. Продолжая тему, автор пишет: «доброму быть с кулаками ему попросту чуждо. Но книга его — публицистическая, проповедь должна искать союза с живым общественным делом, важности непрерывного духовного самоусовершенствования, ибо «само собой ничего не устроится».

Очень скоро после начала книги, естественно расширяя сферу своего исследования, К. Щербаков обращается к оптике героя, к образам старого поколения. Этому необходимо, чтобы проследить происхождение различных, в том числе трудно распознаваемых черт характера своего современника. Книга эта рождается и развивается в человеке стойкость и отступничество, самостоятельность и приспособленчество, как, например, старые крестьяне в себе личности... и как личность в себе убывает и уходит место безличности.

Заканчивается книга чисто патристической темой, разработанной в программной работе «Современника» — «Вечно живые и спектакль-ревиевые Театра на Таганке «А зори здесь тихие...». Одним из главных тем в книге становится проблема, не только развитием ее главной мысли, но и усложнением эстетического анализа и совершенствованием критического понимания автора. Собственно из этого, начавшись на протяжении десятилетия в периодической печати, она отмечена внутренней логикой и последовательным развитием в биографии. Этого ее достоинство подтверждает очевидно, оттого, что, работая все это время в бурном и противоречивом газетном ритме, автор сохраняет верность самому себе.

А. СВОБОДИН

## НА СТОРОНЕ КУЛЬТУРЫ

Разделы сборника известного литературоведа Т. Мотылевой «Достижение современного реализма» («Советский писатель»,

1973) берешь, как вершины в походе: «Ленин и забытые идеи», «Мани и послание 1918 года», «О мировом значении Достоевского», «Черты новой прозы»...

автора размежеванный шат, искаженный огнем, на котором страстей тяготится за именами и проблемами, о которых идет речь в спокойной книге! Вней нет страниц, «нейтральных», идейных срезов, нет даже Т. Мотылевой по-разному, но всегда пристрастна и Иоганнесен Бехеру и Анне Зегерс, и Юнкту Дарвашу и Захарию Станку, и Герману Бланку, Альберту Каю и Роберту Мерингу и Фоллеру и Андерсону, и многочисленными героями сборника, а равно и ко всем персонажам своего произведения, включая и писателей.

Зациклившись своим взором на действительность и судьбы культуры, а значит, и вступая в полемику с ее противниками и вступая в конфликт с Мотылевой всегда на стороне культуры, ее воинов и строителей. Место автора именами здесь: ни разу не пропадают яростные драматичности Т. Мотылевой, не исключаются ее передохнувшие смысли передовой на тылу «чистой науки». Не сбивая шаг, устало отставая от венца.

Во всеоружии знания мирового искусства, наращивающего скорость вместе с эпохой, Т. Мотылевая верна этике знатока, обзывающему поднимать Целью жизни, а не газету, подчеркивая замасленную голову цитат. Расшифровывать в черновике Ленина имена, которых не было в архивах, имена, Помогать собиранию имен. Поворачивать неожиданной стороной привычные темы, выясня, к примеру, какими образом «Чтение Толстого» подготовлено Ролланом к восприятию жизненного дела Ленина и таким образом Ленин помог Роллану по-новому осмыслить Толстого...

Автор, наше теперь говорят, — «на уровне», — «на уровне»! И вот мы можем повернуть на слово, ибо поздний, вместе сличным опытом, получит доказательства: очень это непросто идти «на ногу с весом», дергаться «на уровне», зачастую гораздо сложней, чем бежать «переди прогресса». Так вот, именно потому, что автор — за культуру, за классическую и современную прозу, за наследие — за постоянно обновляющейся реалистм, новая книга нам — тоже «достояние», полезное и зоркое и юному читателю.

М. КИРИЛЛОВ

## СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Красиво изданный этот плод коллектива единомышленников и соавторов — томов членов «Клуба 12 стульев» из «Литературной газеты» («12 стульев», Изд-во «Искусства», 1973) разбросан быстро, скользя на внушительный тираж — сто тысяч экземпляров. Юмор — это спасательный круг на волнах жизни! Так образно выражает однажды в своем немецком писателе, сыне судебного чиновника Вильгельма Раабе.

А кому же не хочется на всякий случай иметь при себе спасательный круг? Ведь жизнь это бурный поток, как учит нас наш современник, «известный людовой и душевый» Евг. Сазонов. Кому же сказать, что «масло на масле» никогда не смешит во всем его «бесценном творческом наследии», публикумом «Литгазетой».

Все двести с лишним страниц отданы памяти писателя-сказчика Вильгельма Раабе от писателя Евг. Сазонова, посвящены одной благородной цели: рассмеять публику, будничную тот спасательный спасательный круг, о котором наприменя скажал немецкий писатель и который подразумевал наше душевое и людоведение. Огромно говорят авторы издания обилие своего сполна. Особенно отличился при этом «Бумеранг», из всех сил ударивший по рядовым графоманам, да еще Альберт Ильин, где показавший в своих пародиях «настоящее лицо» некоторых членов Союза писателей.

В общем, посмеяться есть над чем, и это можно сказать с уверенностью, что незаурядное остроумие Гр. Горина, Арк. Арканова, Василия Анисенова, Андрея Кучавы с его «славянским «Мозговым користью», а также других, включая себя и других писателей, как Мих. Зощенко и Ари. Аверченко из «Лавки букинистов», и, наконец, жизненутверждающая сила юношеского таланта Евг. Сазонова помогут читателю удержаться на поверхности жизни и не дадут безвозвратно исчезнуть в ее бурном потоке.

Александр  
МИХАЙЛОВ



Я подружился с Алимом Кешоковым тридцать лет тому назад, на фронте. В ту пору он был армейским журналистом, а до этого служил в кавалерийской части. И во всем его облике было что-то крылатое, грациозное. Мне всегда он представлялся всадником на горной тропе с облаком над левым плечом. Его друг по газете, известный критик В. Гоффеенштейфер позже вспоминал, что по праздникам Алим Кешоков вместо «общевойсковой» гимнастерки надевал черкеску с шестнадцатью газелями на груди. Однажды он, ринувшись в стремительную пляску, вырвал из кобуры пистолет и во славу молодой удачи и поэтического пыла всадил пулю в потолок, хотя по тем временам это было нарушением воинского устава. Алим Кешоков был блестательным офицером, и это было единственным случаем нарушения дисциплины. Его стихи обратили на себя внимание еще до войны, а слава поэта пришла к нему позже. Из-под его пера вышли десятки книг стихов, несколько романов и пьес. В начале нынешнего года в издательстве «Художественная литература» появился двухтомник его избранных произведений.

Первое стихотворение в нем датировано 1935 годом, а стихи из книги «Тавро» — 1968 годом. Вот какой большой период творчества вмещают эти две книги! В стихах Алима Кешокова, о чем бы он ни писал, всегда прослеживается духовная связь со временем, преемственность человеческих ценностей. Они могут трансформироваться, уходить в глубь столетий, но приобщают нас к самому дорогому, значительному, возвышенному. Вот две строфы из стихотворения «Лермонтову»:

Прошу тебя:  
— Побудь еще немногоЛ  
Но снова, бурни чёрное крыло  
Ты весело откинув у порога,  
Садишься в карабдинское  
седло.

И скакашь по горам  
не иноверцем,  
И, как мюриды, издавна  
верны,



**Яков  
КОЗЛОВСКИЙ**

# ПОЭТ СО СВОЕЮ ПОСАДКОЙ В СЕДЛЕ



Тебя я слева прикрываю  
сердцем,  
Кайсын Кулиев с правой  
стороной.

Я вырвал из стихотворения две строфы, но даже по ним вы опущаете, как благороден смысл стихотворения, как наповед ой горским духом. Когда-то Есенин, обращаясь к Кавказу, просил его: «Ты научи мой русский стих кизиловым струямы соком». Пламень истинной поэзии Кавказа не погас с тех лет, напротив, он разгорелся еще ярче. И одним из хранителей и творцов его является Алим Кешоков. Традиционны темы, к которым он обращается: война, доблесть, любовь, совестливость, верность, — но в том-то и заслуга поэта, что эти темы в его творчестве обретают оригинальность открытия, нескожесть черт, самобытность мыслей и образов, лада и яркости. Кому принадлежит конь, можно узнать по тавру, кому принадлежит стих, — по его художественной выразительности. Вот опять я безбожно вырываю из стихотворения «Книжал» строфу, чтобы подтвердить справедливость сказанного:

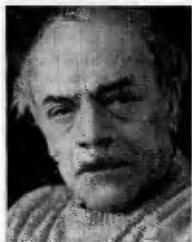
Два лёзвия книжала одного,  
Они спиной обращены  
друг к другу  
И меч собою делят отгото  
Один позор или одну заслугу...

В стихах Алима Кешокова всегда ощущается какая-то надежность, они словно дом, способный выдержать любой обвал. В этом доме нельзя жить бездумно, беспечально, но можно быть счастливым. Алим Кешоков может всадить пулю в потолок, но не способен стрелять в воздух словами. Горская муз подает ему стремя.

Для вечности год  
не длиннее мгновенья,  
Высокие звезды склонились  
к земле.  
Я знаю:  
имеет лишь дату рождения  
Поэт со своей посадкой  
в седле...

Таким поэтом видится мне и Алим Кешоков.

## Давид Самойлов



### Купальщица

Когда бежит через липовый полдень  
Купальщица, ее волнистый бег  
Невольным обещанием исполнен  
Беспечных радостей и сладких нет.  
И вот уже она вступает в волны,  
Вот исчезает вдалеке. Она  
Почти, как речь поэзии, условна  
И, как язык печали, солона.

### Рассвет

Светало. Воздух был глубок.  
Вблизи долина, словно заводь.  
А там, где должен был восток,  
Два облака учились плавать.  
И постепенно, без болей,  
Ночь умирала за домами —  
Посередине тополей,  
Потом вверху, потом над нами.



Вот в багровой листве и лазури  
Перед нами возник Сигнах,  
Словно витязь в тигровой шкуре,  
Чуть привставший на стременах.

А внизу, в Алазанской долине,  
До чреды дагестанских вершин  
Мне звучал в багрянце и сини  
Грибоедовский клавесин.



Березы, осины да елки —  
Простой подмосковный пейзаж.  
Художник в татарской мурмолке  
Весенний открыл вернисаж.

Художник, немного раскосый,  
С татарской раскладкой скул,  
Дымит и дымит папирюсой  
И слушает внутренний гул.

Из гула рождаются краски,  
Из звука является цвет.  
Природа плетет без развязки  
Один бесконечный сюжет.

Но надо включить его в раму,  
И это искусства залог,  
Когда бесконечную драму  
Врубают в один эпилог.



Там дуб в богатырские трубы  
Играет на сильном холме.  
Но светлые, тихие струны  
Звучат на душе и в уме.

И сливаться с землею и небом  
Мечтает беспечный артист,  
С закатом, где тополь над брегом  
Так легок, летуч и ветвист.

Какое прекрасное свойство —  
Уметь отрешиться от зла,  
Бродить, постигая устройство  
Пространства, души, ремесла.

Слияния легкая тризна!  
Дубы замолкают тогда.  
И грозные трубы отчизна  
Сменяет на флейту дрозда.

### Солдат и Марта

Из стихов «О веке Петровом»

Первую брачную ночь Марта  
и драгун Рааб провели  
в доме пастора Глюка.

(«Из Разысканий об императрице Екатерине Первой», т. 1, стр. 86).

ОН: Любимая, на говори,  
Что надо нам прощаться!  
Пускай до утренней зары  
Продлится наше счастье!..

ОНА: Драгун! Драгун! Ведь завтра бой,  
Нам суждены печали.  
Не на разлуку ль нас с тобой  
Сегодня обвенчали!..

ОН: Любимая! Не говори!  
Нам суждено прощаться.  
Но пусть до утренней зары  
Продлится это счастье!..

И грязнул бой... Свинцовых пчел  
Раздразился гул. Чугунный  
Гром ядер... Рядом с трубачом  
Упал вояка юный.

Спасли солдата лекаря,  
И он узнал от друга,

Что слух идет: мол, у царя  
Живет его супруга.

Там купола, как янтари,  
Над старою Москвою...

ОН: Любимая! Не говори!  
Вот я перед тобою...  
ОНА: Зачем здесь этот инвалид,  
Игрушка чьих-то козней!!  
Беги! Не то тебя велит  
Убить супруг мой грозный!  
ОН: Любимая, не говори!  
Как разошлись дороги!..  
Спокойно властуй и цари!..

И он упал ей в ноги.

ОНА: Деньгу солдату! Пусть он пьет!  
Не знает сам, что мелет!  
Гляди, когда великий Петр  
Словам твоим поверит!..

ОН: Любимая! Не говори!  
Уже настало утро!  
И поскорей умри, умри  
Та ночь Мариненбурга!

ОНА: Да, поскорей умри та ночь!  
Умри то утро боя!  
Солдат, ступай отсюда прочь —  
Я не была с тобою.  
Ступай, ступай, хромой драгун,  
И обо мне — ни звука!  
Забудь про то, что был ты юн,  
Про свадьбу в доме Глюка.  
И пей хоть деньги, хоть два, хоть три —  
Хоть до скончанья света!..

ОН: Любимая! Не говори!  
Не говори про это!..

Когда же очнется багульник, как пламя горя,  
раздастся оленя труба и призыв глухаря,  
и вдруг соловей онемеет, устав от труда,  
года ли не петь?  
Отчего же мне грустно тогда!



Дело наездника — выбрать себе скакуна,  
пусть незаметного, но из всего табуна!  
Весь ведь успех среди скакеч, ристалищ,  
погонь определят лишь они: только всадник и конь.

Свойство любви — сторониться чужого ума.  
Ищет дорогу свою и находит сама.  
Сколько ей длиться, любви, и насколько  
верна — лишь молодые решают: лишь он да она.

### Бурятское седло

Нет, не спина хулэга легендарного,  
но и не затхлый дух угла амбарного —  
удел твой, старое бурятское седло.  
Тебе почет немалый оказали,  
ты и помещено в музейном зале,  
где оживленно, людо и светло.

Но всякий предмет заслуживал такое,  
И плохо ль на почетном на покое  
быть экспонатом нашей старины!  
Но для того, чья жизнь — одни дороги,  
покой куда страшнее, чем тревоги,  
и дни без скакчи — смутны и грустны.

Седлу какой в безделье интерес-то!  
Спина коня — единственное место,  
достойное, по мнению, седла.  
Лишь там седло седлом и остается,  
будь то спина лихого иноходца  
или старой клячи — только бы везла,

везла бы только всадника степного:  
хоть старца,  
хоть мальчиконку озорного...  
Ну что ж...  
Седло тоскует неспроста.  
Ведь слух о нем гремел на всю округу,  
и говорили все взахлеб друг другу:  
— Ведь экая работа! Красота!..

Какой прекрасный мастер безымянный  
рукой, и вдохновенною и ряжной,  
серебряный узор тот сотворил,  
в котором рог изюбря непокорный  
сплелись с извилис светлой речки горной,  
а с бытнем сплелся волшебный пыль...

Да, доживает век свой, вспоминая,  
как хороша при ветре ширь степная,  
старинное бурятское седло.

## Алексей Бадаев



Перевел  
с бурятского  
Ю. РЯШЕНЦЕВ



Когда опустеют поля, и появнут листы,  
и серая слякоть из хмурой попьет высоты,  
и к югу помчится живая стрела журавлей,  
мне вроде должно быть грустнее,  
а мне веселей!

Там пахнут сарана и ая-ганга,  
и, словно в барабаны, спозаранку  
копыта бьют легко и тяжело!

Где эти кони — серые, гнедые,  
огнем и вихрем будто налитые,  
бурякшие, степные искони!  
Их гривами, как тучами, обьяты  
все небеса, хвосты их — водолады!  
Где эти кони! Где теперь они!

## Владимир Павлинов



### Маяк

Алеют тучи на бегу,  
Смерч на бегу уснул.  
Маяк на правом берегу  
Погас — и вновь мигнул.  
В огне желтеют тростники,  
И глядь реки в дыму.  
Налево — Черные пески,  
Направо — Красные пески,  
А посреди — Аму.

Встает луна, густеет мрак,  
Уже десятый час.  
На правом берегу маяк  
Мигнул — и вновь погас.  
Он, как живое существо,  
Со мнюю говорит:  
— Спешишь! Куда и для чего!  
Придешь, а в доме — никого,  
И лишь огонь горит.

Я оторваться не могу  
От огонька окне.  
Маяк на правом берегу  
Подмигивает мне.  
Искал любви и славы я,  
Кружила голова,  
И вот я здесь, Амударь!  
Все — в прошлом: легкие друзья  
И легкие слова.

Я за веселые грехи  
Готов держать ответ:  
Нагородил я чепухи  
За двадцать с лишним лет!

А ветра свежая струя  
Щекочет нос дымком...  
Да, может, дружная семья —  
Бригада первая моя —  
Вон там, за маяком?

Луна по облаку плынет,  
Плынет по камышу.  
Маяк зовет меня, зовет,  
И я спешу, спешу.  
Что сети хитрые плести  
И лавры покинать,  
Когда вот счастье: быть в пути  
И на далекий свет идти,  
А что там ждет — не знать!

### Дух войны

Ленивой злобой томимы,  
В холодных северных морях  
Старинные морские минны  
Стоят на ржавых якорях.

Вода и соль течений сонных  
Покрыли слизью их бока.  
Они на тросях напряженных  
Покачиваются слегка.

В ленивых и глухих глубинах,  
Где мрак и зло растворены,  
Как злобный джин, таится в минах  
Горбатый, мрачный дух войны.

Порою эхо дальних бурь  
Металл минрепа разрывает —  
И ржавый шар, лилово-бур,  
Из мрака медленно всплывает.

И бродит по волнам, пока  
Беспечный пароход не встретит  
И тонкие его бока  
Печатью смерти не отметит.

И грохот взрыва — крик беды,  
Раскатистый и гулкий грохот,  
Разносится, как чертов хохот,  
Среди разверзшейся воды.

### Проводы капитана

Рыхлый дым на песок оседает,  
Белый дым над зеленою рекой.  
Капитан свой корабль покидает:  
— А теперь мне пора на покой!

— Счастья вам и хороший погоды!..  
Друг о другу стучат катера.  
Тридцать лет он водил теплоходы,  
А теперь и на поезд пора.

Белый дым оседает на плесы,  
И виски капитана в дыму.  
Мотористы, механик, матросы  
С верхней палубы машут ему.

А на встречу бегут теплоходы,  
В небе наики кричат, как всегда.  
А кругом — те же самые воды,  
Только годы бегут, как вода...

На откосах — туман.  
И на плесах — туман.  
В добрый путь, капитан!  
В добрый час, капитан!

## УВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Под вашей рубрикой «Я + Я = семья» много написано о том, что происходит в семейной жизни, когда люди уже поженились. Мне почему-то кажется, что истоки счастливого или несчастливого брака надо искать где-то раньше. Я сама замужем уже пять лет. Удачен мой брак или нет — сказать определенно не могу. Наверное, если бы начинать все сначала, то только с моим теперешним опытом и пониманием, я бы сделала все иначе...

Ирина К.

Магадан.

## Дорогая «Юность»!

Я читаю твои статьи о браке и семье, вижу и вокруг себя много разных семей, и думаю вот о чем. Мне только 17. Говорят, я недурна собой, во всяком случае мальчикам нравлюсь — это точно. Но ведь мне надо думать о серьезном: о замужестве, о том, чтобы построить крепкую семью. И тут мне начинает казаться, что я многого просто не знаю. Как, например, угадать, какой из моих знакомых будет хорошим мужем, а какой — плохим? Сейчас мне нравятся веселые, остроумные и спортивные. Но нужно ли это все для семейной жизни? Мне хотелось бы узнать о браке все с самого начала.

Наташа В.

Минск.

## Дорогие товарищи!

Нам кажется, что разговор о семье надо было бы начинать с того, какие парни нравятся девочкам, а какие девочки — парням. А то говорят: будь серьезным, и тебя все будут любить. А посмотришь — разве серьезных так уж любят?

Игорь В., Вадим А.

Липецк.

## Ада БАСКИНА

# ОЖИДАНИЕ

И так, продолжая разговор о молодой семье, попробуем начать все с самого начала. Впрочем, что считать началом? Первый год совместной жизни? Или первый месяц? Или свадьбу? Или еще раньше — первые встречи, свидания, наконец, просто знакомство?

А давайте-ка вспомним, что было до всего этого — до свадьбы, и свиданий, и знакомства.

Вы выходите из дома ранним солнечным утром, вдыхаете легкий воздух, и вас охватывает великолепное ощущение: ожидание, надежда, уверенность — все будет, как надо. А как надо? И вы начинаете мечтать. Ведь почти любой встрече, которая потом поведет к браку, предшествует мысль о ней — размышление, мечта, игра воображения.

На чем основана эта «игра»? Вокруг чего ревизуется воображение? К чему мы стремимся приблизить реальную жизнь? К идеалу.

Но что это, собственно, такое — идеал? Попробуем разобраться. Мы лепим в воображении некий образ. Сложный комплекс черт, свойственных этому созданному фантазией образу, складывается из всего того, что нас окружало с детства, а потом в отрочестве, юности. Книги, фильмы, спектакли, картины. Родители, учителя, соседи, друзья. Случайные впечатления, услышанный разговор. Все это незаметно для нас формирует наши потребности. А из этого в конечном счете и складывается идеал — естественно, разный у разных людей. Часто, правда, оказывается, что люди встречаются, влюбляются, женятся, живут счастливо и всю жизнь посмеиваются: «Да ведь ты была совершенно не моим идеалом, я мечтал о голубоглазой блондинке, а вовсе не о жгучей брюнетке!» Знаешь, мне тоже рисовался в мечтах высокий, широкоплечий... А полюбила вот тебя. Между прочим, ты знаешь, почему я перестала носить высокие каблуки?»

Не совпадали идеалы? Ничего подобного. Различными оказались только внешние черты: блондинка — брюнетка, высокий — невысокий. Но если им хорошо вдохновлены, если, как принято говорить, они нашли друг друга, значит, чаще всего совпадли и образ, нарисованный мечтой, и живой человек. Просто есть представления, которые не так легко сформулировать словами и даже мысленно, они где-то глубоко внутри нашего сознания. Но когда мы встречаем человека и чувствуем — скорее интуицией, чем разумом, — вот ОН или ОНА, стало быть, не отдавая себе отчета, встретили свой идеал.

Один мой знакомый долго отбивался от вопросов своей молодой жены: «Ну почему, почему из



**Я + Я = СЕМЬЯ**

всех красивых, умных, эффектных девушек ты выбрал именно меня!» Челсаэк он был серьезный, слов неточных или не совсем верных употреблять не любил. Так что, атакуемый вопросами жены, отмахивался, только улыбался, не торопясь с ответом. А однажды все-таки сказал: «Я просто почувствовал печенкой, что ты — это ты». И это был самый точный, самый верный из всех возможных ответов. Почувствовал — ну не печенкой, конечно, а просто интуитивно, — что вот эта девушка с ее складом мыслей, с ее восприятием мира, с направленностью ее чувств — истинно близкий ему человек.

Разумеется, далеко не во всех браках идеал совпадает с действительностью. Ленинградские социологи задали замужним женщинам вопрос: «Соответствовали ли ваш жених представлениям о будущем избранике, которые сложились у вас до знакомства с ним?» Ответы распределялись так (в %): соответствовал — 74, не совсем — 6, не соответствовал — 20.

Ну, а что же собой представляют идеалы наших девушек и юношей? О чём они мечтают? Или спросим иначе: по каким критериям оценивают достоинства друг друга? Для сравнения возьмём две анкеты. Первая была предложена в Одессе молодым рабочим. На вопрос девушкам: «Какие качества вы больше всего цените в юношах?» — они ответили: «трудолюбие и увлечённость своим делом», «целеустремлённость», «уважение к людям», «образованность», «воспитанность».

Другую анкету заполняли ленинградки, большей частью служащие и учащиеся. Они сформулировали свои представления об идеальном муже так: «сисла и мужественность», «ум», «любовь к работе», «весёлый характер», «серьезность», «хорошее отношение к нему других людей».

Разные города, разные слои населения, но как много общего в представлениях о том, что социологи называют «системой ценностей»! На одно из первых мест девушки ставят «трудолюбие», «увлечение своим делом», «любовь к работе». В этом видится важная примета времени: человек прежде всего оценивается по делам своим, по тому, сколько он полезен обществу. Немаловажно для девушек и то, как складываются отношения их избраников с обществом. Недаром же они высоко ценят такие свойства, как «уважение к людям», «общественный почет», «хорошее отношение к нему других людей». То, что девушки придают значение чертам, казалось бы, не связанным прямо с любовью и браком, объясняется в значительной степени тем, что они ведь и сами учатся или работают. Они знают, что любому коллективу уважают добросовестное и увлечённое отношение к труду. Знают, что авторитет человека складывается не только из того, как он работает, но и как относится к людям. А ведь для любой девушки небезразлично, что говорят о ее любимом, пользуется ли он уважением окружающих.

Чрезвычайно высоко ценят девушки «серьезность» или близкую к ней «целеустремлённость». Ну и, естественно, каждой хочется, чтобы ее будущий спутник был умен, мужествен, образован, воспитан и обладал при этом весёлым яром.

Ну, а о чём мечтают юноши? Какие достоинства ценият они в своих подругах? В одесской анкете эти черты названы в таком последовательности: «скромность», «гордость», «ненавязчивость», «доброта», «внешняя привлекательность», «любовь к искусству и литературе».

Однажды, выступая на молодежном диспуте в Калуге, я получила несколько записок с вопросами вроде: «Скажите, какие девушки больше всего привлекают?» И тут мне пришла в голову неожиданная мысль. «А что вы сами об этом думаете?» — обратилась я в зал. Затем прочитала список девичих достоинств, составленный юношами, — но не в том порядке, как это было у них, а в произвольном. Установить же очередность предложила девушки. Когда ответы были собраны и подсчитаны, я поразилась разнице в представлениях.

На первое место девушки единодушно поставили «внешнюю привлекательность». На второе — «любовь к искусству», на последнее — «скромность», с точкой зрения юношей достоинство.

Я, помнится, тогда серьезно задумалась: действительно, об устремлениях, склонностях, вкусах молодежи плохо осведомлены даже те, кто обязан быть в курсе дела, — психологи, социологи, педагоги, родители. И совсем уж мало знают друг о друге сами молодые люди. Между тем глубокое знание нравственных, этических, эстетических потребностей нового поколения помогло бы взрослым влиять на эти потребности, формировать вкусы. А юношам и девушкам подобные сведения дали бы еще больше.

Социологи (в частности, профессор И. С. Кон) утверждают, что личность человека формируется в значительной степени соответственно тому, что от нее ожидают окружающие. И если бы, к примеру, девушки знали, что молодые люди высоко ценят их гордость, ненавязчивость, но вместе с тем и доброту, то это, наверное, сказалось бы на их самовоспитании, они бы, очевидно, и стремились в первую очередь развивать в себе именно эти качества. То же самое и юноши. Если бы они знали, что подруги больше всего уважают их вовсе не за длинные волосы и даже не за умение играть на гитаре. Знай они, что легких щеками и веселым девичьим смехом прячется глубокий напряженный интерес к их личности, отношению к труду, к обществу, к своему месту в жизни; знай юноши, на что могут, оказывается, склоняться «сердца красавиц» — их духовный облик, похожий, формировался бы тоже неслучайно иначе.

Тут молодые читатели могут мне, конечно, возразить. Мол, что вы говорите о каких-то духовных и душевых ценностях. Придите вечером на танцы, посмотрите, кого приглашают чаще всего. Не «книжницу» Соню, не добруютолстушку Тому и уж, конечно, не скромницу Анию. Отбою от кавалеров нет у Маринки — смазливая мордашка да стройная фигура. Ни души, ни ума. Что ж, не спорю: успех на танцах объясняется чаще всего внешними признаками. И не только на танцах, скажете вы. Вот у нас во дворе — тоже девчонка без царя в голове, но красотка, так каждый парень старается ей понравиться. И это верно. Хотя и не до конца. А если ваша красотка Марина и в самом деле глупа и холодна, так не завидуйте ей: долго нравиться она никому не будет. А юноша, у которого уже сложились представления об идеале, человек достойный, серьезный, тот и вовсе не обратит на нее внимания.

Бывает, однако, и по-другому. Девушка красива, отнюдь не глупа, умеет держаться с достоинством, не позволяет ни вульгарности, ни фамильярничанье, умеет поддержать беседу, но, если надо, и осадить неумного или развязного собеседника. Со стороны кажется: красотка, и только, — а поговорите-ка с теми, у кого от нее голова кружится, они вам наверняка скажут и об этих привлекательных свойствах ее натурь.

А вот еще третий, наиболее распространенный вариант. Замечали вы, что в устоявшихся молодежных коллективах наибольшим успехом пользуется, как правило, вовсе не самая красивая девушка, не самый эффектный внешне юноша, а... как бы это сказать... Часто тут не могут даже придумать четкого определения. Говорят: «в нем что-то есть», «к ней так и тянет» или еще что-нибудь в том же духе. А это «что-то» имеет между тем вполне точное определение: обаяние.

#### Из чего же складывается обаяние человека?

На вопрос этот ответить непросто. Один, допустим, приветлив и улыбчив. Другой мрачноват, но остружен. Третий душевно чуток. Четвертый безупречно воспитан. Пятый добер, сердечен. Шестой привлекает живостью, общительностью. Все они по-своему обаятельны. С каждым общение желательно и приятно.

Интересные данные о том, какие качества чаще всего привлекают в человеке, приводит кандидат психологических наук Я. Коломинский в своей книге «Человек среди людей».

В главе, которая там называется «Тайны обаяния», автор пытается проанализировать, по каким причинам люди становятся «звездами» — официальный психологический термин, которым называют человека, пользующегося наибольшей симпатией окружающих. Правда, в книжке речь идет лишь о результатах тех экспериментов, что проводились в детском саду, в младших, средних и старших классах школы. Но ведь эти данные интересны: в них, по сути, истоки формирования идеала.

«Звезды» детского сада — это ребята, которые прежде всего проявляют себя с наибольшим блеском в творческих играх. Они лучше всего организуют, придумывают увлекательные повороты, сюжеты, охотно берут на себя самые сложные роли. Это естественно: игра в раннем возрасте имеет большое значение для всестороннего развития человека. И по тому, как ребенок играет, педагоги и психологи судят о свойствах его натуры — уме, воле, способности к творческой фантазии. Итак, «звезды» — это наиболее развитые члены детского коллектива. Они, как правило, к тому же аккуратны, общительны, дружелюбны, чаще всего обладают симпатичной внешностью.

В школьном возрасте система ценностей несколько изменяется. В начальных классах для ребят крайне существенны успехи в учебе, готовность делиться с друзьями собственными вещами, общественная активность, самостоятельность, уверенность в себе, честность. Важную роль и тут играет хорошая внешность.

Шестиклассники продолжают уважать в своих «звездах» серьезное отношение к учебе, но уже выделяют у них и другие качества: преданность в дружбе, умение хранить тайны, не прощают же им грубости, дурного характера.

И, наконец, критерий «звездных» старшеклассников (15—17 лет) — сверстники, у которых хорошо развиты организаторские качества, общественные активисты, ребята сильные, спортивные, люди, обладающие интеллектуальными достоинствами. Опять-таки важную роль играет и внешность. Но самым главным становится то, что потом, у взрослых, выйдет на первый план: свойства человеческой личности, индивидуальности. И чем отчетливей выражена вот эта неповторимость черт, чем более гармонично индивидуальные свойства сочетаются в одном человеке, тем ярче личность. В понятие Личности с большой буквы входит прежде всего система

убеждений, зрелость и определенность взглядов — то, что еще иначе называют мировоззрением.

Впрочем, здесь мы уже вторгаемся в другую область понятий. Нас же интересуют сейчас юношеские идеалы — то есть то, что привлекает друг к другу будущих женихов и невест, мужей и жен. Интересует, из чего складывается обаяние, то есть какие свойства делают человека приятным, что заставляет нас стремиться к его обществу. Именно этот вопрос я задала Я. Л. Коломинской.

— Обаяние! — переспросил психолог. — На этот счет существует много различных суждений. В США, например, часто выходят популярные брошюры с лукавыми названиями, вроде «Как быть обаятельным?». Написаны они с расчетом на примитивного, падкого на дешевую сенсацию, нетребовательного читателя. Там, в частности, можно найти рекомендации: хотите понравиться человеку, говорите с ним только о том, что его сейчас волнует. Если прыщ на шее увлекает землетрясения в Африке, говорите о прыще. Мне кажется, что такие советы рассчитаны просто на эгоистов и глупцов. Это обычновенный обман: вы изображаете перед собеседником интерес, которого нет, он принимает вас интерес за искреннее участие, которого тоже нет. Истинным же обаянием обладает тот, кто можно назвать интересным человеком. А это значит — быть интересным человеком? Для этого необходимо обладать интеллектуальной и эмоционально-эстетической информативностью.

Иными словами, человек должен многое знать — литературу, искусство, науки, политику. Он должен уметь пропускать эти знания через себя, через свое восприятие мира, то есть уметь вырабатывать собственное отношение к объективной информации. Интересный человек — это и тот, кто умеет разбираться в душевных состояниях других людей, кто хорошо понимает настроения, чувства другого и способен сопереживать этим чужим чувствам. Но для того, чтобы судить о человеческих проблемах, необходимо хорошо в них разбираться, необходимо уметь проникать в духовный мир другого человека, знать человеческую психологию, понимать суть человеческих поступков («мотивы поведения», как говорят психологи).

Конечно, не следует рассматривать этот собирательный портрет интересного человека как норму для каждого. Все это составляет скорее некий эталон, которого редко кто достигает, но стремиться к которому не помешает никому.

Правда, одного стремления мало, необходимо помочь науки, психологию. А у нас в школе почему-то изучение психологии не считается обязательным. Хотя, наверное, трудно найти человека, которому было бы неинтересно лучше знать и понимать людей.

Но многое, разумеется, зависит и от нашей собственной инициативы. Не лениться думать над сутью явлений (кстати, новые школьные программы очень способствуют развитию мышления), быть искренне доброжелательным к окружающим людям, уметь не просто наблюдать человеческие отношения, но и вникать в их сложную суть — все это, несомненно, углубляет человека, делает его тоньше, а значит, и привлекательней.

И все же мы знаем немало примеров, когда человек вроде бы и образован, и неглуп, а вот большой симпатии не вызывает. Это уже проблема в чисто внешней манере поведения, недостаток общительности, а иногда и простая невоспитанность. Любопытно, что пренебрежение к людям — нарочитое,

подчеркнутое — свойственно не только малокультурным, но порой и интеллектуально развитым молодым людям. Есть здесь и своеобразная бравада: все это, мол, условности — «извините», «простите», «пожалуйста», всякие церемонии, а мы выше этого, мы знаем, что главное — это то, как человек мыслит и какой суммой информации обладает.

Что ж, истинная ценность человека, конечно, не в том, как он держится, а (как мы уже говорили) в том, что он собой представляет как личность. С этим никто и не спорит. Но ведь речь идет не о «голове человека на голой земле», а о существе общественном, которое живет окружением себе подобных. И значит, нельзя не думать о том, чтобы этим «тебе подобным» было бы с тобой приятно иметь дело — не только девушке, которая понравилась, но и соседке по дому, и коллеге по работе, и старушке, которая пришла в гости к твоим бабушкам. В нашей печати в последнее время много говорится о культуре поведения, сообщаются очень полезные сведения, хотя некоторые из них и грешат примитивизмом. Потому что дело ведь не столько в правилах хорошего тона, сколько в том внутреннем чувстве такта и меры, который не позволяет сделать чего-либо, что было бы неделикатно по отношению к окружающим.

В повседневной жизни, кстати, умение внешне держаться тактично, воспитанно, с достоинством ценится очень высоко. Если юноша, скажем, груб, или угрюмо-мопчали, или чрезмерно называя, вам как-то уже и не хочется иметь с ним дела, даже когда вам известно от других, что это очень содержательный человек.

Я постаралась здесь избежать слов «манера держаться», потому что их порой путают с манерностью. Нередко мы видим, как молодой человек ведет себя наизнурено, напыщенно, напряженно. Не просто говорит — произносит; не естественно смеется, а делано; не просто учится — веялки чрезмерно. Все это, разумеется, как и всякая чрезмерность, малоприятно. Однако не стану спорить, что естественность как манера поведения дается далеко не всем. Любленые хорошо, например, знают, что только немногим удается вести себя непринужденно в присутствии любимого человека. Иногда, чтобы покраситься, юноша или девушка дают себе задание: будь сегодня чрезвычайно весел, или, наоборот, очень мопчали, или еще — будь вести себя так, как будто мне все безразлично. Ничего хорошего из таких искусственных намерений обычно не выходит. Человек утрачивает главное, что определяет его Я, — естественность, истинность. Чаще всего это не остается незамеченным.

Ну и, конечно, совсем не последнюю роль в мужском или женском обаянии играет внешность. Правда, в нашем сегодняшнем разговоре я так упорно отодвигаю на дальний план внешнюю привлекательность, что может показаться, будто считаю ее вовсе незначительным признаком. Отнюдь... Просто в первую очередь хочется обратить внимание на качества, которые мы сами в себе можем воспитать. А красота — что же, она от природы, тут нашей заслуги нет. Здесь идет, конечно, речь лишь о той красоте — гармонии черт, сочетании красок, пропорции линий, — которая на нас не зависит.

Впрочем, так ли уж не зависит? Лицо, фигура, одежда, осанка — разве мы ничего не можем во всех этих внешних атрибуатах изменить?

Мне довелось бывать много раз во ВГИКе — Все-союзном государственном институте кинематографии. И каждый раз бросалась в глаза разница меж-

дентами первого курса — нет, даже первых недель первого курса — и, скажем, третьего, четвертого. Они все, как правило, становятся значительно красивее, В чем тут дело?

Ну прежде всего, уже на первых же занятиях по актерскому мастерству студентов учат всячески развивать свои личные, индивидуальные черты. Из массы мальчиков и девочек постепенно вырисовываются характеры, индивидуальности, что в значительной мере отражается и на внешности. Иными словами, внутреннее содержание у будущих актеров постепенно получает внешнюю выразительность. Развивают у актерской молодежи и умение свободно держаться, легко владеть своим телом, красиво двигаться.

А кроме того, почти у каждого есть огромный запас и неиспользованных внешних возможностей, которые он может вызвать к жизни сам, а может — с помощью специалистов: парикмахеров, косметологов, художников-модельеров, портных. Почему же мы далеко не всегда этот резерв используем? Иногда — от излишней застенчивости: как это я модно постригусь или, сошью юбку по последнему номеру журнала мод? Но чаще — от неравнитета вкуса. И эта вторая причина, кстати, куда неприятней первой. Именно по плохому вкусу девушка может надеть туалет немыслимых сочетаний, где будет перепутано все — и стиль, и несовместимые краски, и не идущие к фигуре линии. Иногда кажется, что ее дурной вкус, эстетическую безграмотность не так уж трудно ликвидировать, и молодым людям часто советуют: посещайте художественные выставки, приходите в Дом моделей, выписывайте журналы мод. Это, конечно, в какой-то степени может исправить или сформировать вкус, особенно если, скажем, опытные художники дают квалифицированные советы, как лучше одеваться. Но, к сожалению, истинно хороший в широком понимании вкус подобные советы разить не могут. Для этого необходима внутренняя культура. Только она подскажет то чувство допустимого, то чувство меры, то «чуть-чуть», которое делает внешний облик человека выразительным и приятным. Добавлю еще, что не надо здесь списаться на ограниченность материальных средств — модную вещь можно сшить из очень недорогой ткани.

Однако... Не слишком ли далеко мы в своих рассуждениях об идеале отошли от нашей темы — брак и семья? Нет, не слишком, ибо все это — важная часть той же проблемы.



Лев КОКИН

# ЗАПИСЬ ВСЕГО

Голография — от греч. *hōlos*,  
весь, полный и.. гра ф ия  
(БСЭ, т. 7).

...три, — сказала Алиса и

прыгнула в Зеркалье.  
Льюис Кэрролл. «Сквозь зеркало,  
и что там увидела Алиса».

1

**И** З БЛОКНОТА (разговор с Денисюком): — Не знаешь, стоит ли вам браться за это — писать книгу? — Я не знаю, есть что-то настолько интересное, что меня отвращает. Я раньше слышал, не искал, а теперь, после Ленинской премии, предпочитаю то, что не скрываешься. Конечно, история в известной степени поучительная, особенно для молодежи, для мальчишек, когда все еще ломают, неустоявшимися, когда все интересно, когда находит интересное, становится интересен. И книжка или даже статья таин в себе, вероятность выбора. Сам в свое время стильно перепечатал! А теперь — голография в моде! — просто приглашает с лекциями; так вот, для меня самая благодарная аудитория — школьники, мальчишки. У сына выступал в школе, просто удовольствие получил. Для этого народа, вы правы, рассказать стоит.

ИЗ НЕКРОЛОГА писателя-фантаста И. А. Ефремова («Литературная газета», 11 октября 1972 г.): «...Изобретатель голографической метода, позволяющего получать голограммы с изображением при обычном освещении». Денисюк признавалась, что идея этого открытия почерпнула в рассказе И. Ефремова «Тень минувшего»...

ИЗ БЛОКНОТА (комментарий Денисюка): — Это правда, натолкнула меня на идею рассказа. Но только не «Тень минувшего» — я его позже прочел; в нем изображение вымершего динозавра возникает в воздухе. А сначала — где зеркальце, в котором лицо

марсианина или что-то в таком духе.. Я и задумался: как это можно осуществить? А, у вас и книжка с собой, интересно, посмотрим, посмотрим; я ее, должно быть, с тех пор не листал. У сына наверняка есть, для мне некогда... Вот-вот, это самое произведение Это место... вот он, первый толчок.

ИЗ ПОВЕСТИ «Звездные корабли»: «...Оба профессора невольно содрогнулись. Из глубины совершенного прозрачного слоя увеличенное неведомым оптическим ухщирением до предела естественного размера изображение вздохнуло, содрогнулось, изменило цветение своих волос... Сомнение, исполнение, чародейство их возникло. Незвестным способом изображение было сделано рельефным, а главное — необыкновенно, невероятно живым... в упор смотрели громадные выпуклые глаза... пронизанные умом и напряженной волей...»

2

Мало ли молодых инженеров читает фантастику? Денисюк не была среди них исключением. Он работал в Оптическом институте и занимался оптическими приборами. А поскольку он только что кончил Институт точной механики и оптики, то казалось, инженерная его судьба складывалась отлично, разыгрывалась в избранном направлении. А он почему-то не испытывал удовлетворенности, и жена его, Галка, бывшая сокурсница, ставшая сослуживцей, которая, в силу всего этого, должна бы понимать его, как никто, не могла до конца уяснить, чего Юрка хочет. Он и сам не знал толком. Видел лишь, что высокая наука — квантовая механика и т. п., которую проинструктировал выпускник инженерно-физического факультета, — едва ли пригодится в том деле, за которое получал зарплату. Ему дали делать прибор, и он сделал: рассчитал, сконструировал, испытал и проверил, и начальство им было довольно, потому как толково делал, добросовестно и с умом. А он тосковал на своей инженерской орбите.

Впрочем, мало ли молодых инженеров попачкают тоскует, не умея приложить обширных своих знаний к практической повседневной работе? В этом тоже Денисюк исключением не был. Со временем человек становится полноценным работником, специалистом. И тогда обычно становится ясно, что познания пригодились в тонких тонкостях и глубоких губинах узкой области, в какой он специалист. Каждое дело, когда в него углубляешься, вскрешает непознанные пласти, как правило, становится интересным.

Денисюк этому правилу не захотел подчиняться, стал искать дела, на которых смог бы как следует развернуться, применить свой научный багаж — уж такой у него был масштаб... теоретика, что ли, хоть в тогдашней, пятнадцатилетней давности оптике все это было не так-то просто.

И ему повезло. После долгих раздумий ватолкнулся он на тот удивительный дискуссионный дикт, на это обладавшее памятно зеркальце.. Издавна, однако, это произведение большими тиражами, а наткнулся почему-то один Денисюк. Удача, — сопшлемся по этому поводу на авторитет Пастера, — удача одаривает только подготовленные умы.

Теперь легко говорить: удача. Тогда же, в начале, да, увы, и не только в начале, захватывавшая его неожиданная идея обличалась совсем иной стороной. Это только в научных статьях мир идей и проблем существует сам по себе, независимо от всего остального. А «все остальное» — это наш, человеческий мир, и жена, и ребенок, и работа, за какую получаешь зарплату... И поскольку спрашивается, тебе предлагают еще полстакана, вовсе не лишние, учишься и жену ребенка... Но твоим замыслам это наперекор, вот какая загвоздка. После работы и без того котелок тяжеленек...

Кто скажет, что ситуация бесконфликтна? Слова о равной разуму напряженной волне повторить тут было очень к месту.

Он, наверное, не раз их себе повторял.

### 3

В мире знания важны прежде всего результаты, а не путь человеческий к ним.

Не простое дело восстановить ход мыслей, в особенности когда это мысли — не только умозрения, не оставляют следов, и даже если удастся, оглядываясь, воспроизвести логическую цепочку, нельзя поручиться за полную достоверность. За правдоподобие — и то хорошо. Таково свойство ума: раз понял, представляешь себе, что всегда так думал. Трудно освоиться с непривычным, с новым. Но, уж освоившись, одолев барьер, не менее трудно вообразить, что до этого многое видел иначе. Аругое дело, если мысли обвещаны в экспериментах, в статьях, в докладах. Тут есть историческая основа. Только тки, историк!

Но Денисюк (так сложилось), прежде чем поставить первый эксперимент, продумал идею чуть ли не до конца.

Ход упрямых его размышлений видится примерно таким (от печати).

Всякий освещенный предмет рассеивает, отражает лучи — эти потоки световых волн, что падают на него. Волновую природу света предсказал еще Гюйгенс (в 1690 году). Волновая теория позволяет понять: глаз воспринимает измененные при отражении от предмета световые волны — именно так мы видим предметы... И если бы этот поток волн, это образованное ими в пространстве волновое поле каким-то способом удалось в точности, в деталях, со всеми подробностями воспроизвести, вот тогда предмет, которого сейчас нет перед глазами, представился бы нам не менее реально, чем если бы был...

С подобными иллюзиями мы ведь давно ссылались. Только малый ребенок пытается програтить свое отражение в зеркале и убеждается довольно скоро, что там нет такого. «Это, верно, один обман!» — говорит Алиса. Секрет зеркала, во всяком случае, разгадывают куда раньше, чем научаются мысленно продолжать отраженные лучи... И лишь в кино удается трюк — диалог с отражением в зеркале.

Задачка, которую задал себе инженер Денисюк, в сущности, была от этого не так далека: в самом деле отразить отражение от предмета, создать за поминайка ющее в зеркало.

Представляете: изображение в зеркале существует само по себе. Заглядываешь на него сбоку и видишь профиль. Можешь рассмотреть и то, что за ним, позади, опущена объем, глубину. Блески света на блестящих деталях ярки, они перебегают как бы вслед твоему взгляду, пересверкивают, скользят, как на навык.

Что фотография? По сравнению с этим очень грубая вещь, подделка, несовершенство которой легко убедиться. Достаточно просто смытьте глаза, смешать точку наблюдения, как поймете, что видишь на снимке не сам предмет, а всего лишь его проекцию на плоскость.

И все-таки фотография — великая вещь! Под действием света меняется прозрачность фотомузульки; не надо быть оптиком, чтоб это знать. Равно как и то, сколь многим обязана обладающей фотохимической памятью пластиинке человеческая культура.

Конечно, никто не спутает фотоснимок с предметом, и, более того, нужен навык, чтобы по снимку

представить себе предмет: фотография в известной мере условна. Но именно от фотопластинки можно было ждать помощи в создании запоминающего зеркала: запомнить изменения световых волн она бы смогла... Следовало лишь воспользоваться давно, более полутора веков известным явлением — интерференцией световых волн... И странно было, что до этого не додумались раньше!

Интерференция вызывает наложение волн друг на друга. Стоило Томасу Юнгу (еще в 1804 году) на них пути поставить экран, как на этом экране появилась некая черепососица света и тени, «зебра» интерференционных полос (темных там, где волны взаимно погасили друг друга, светлых — где они, напротив, совпали). Перегородить поток волн, отраженных предметом, и в то же время направить на экран освещдающие лучи — вот что решил Денисюк. И чтобы экраном при этом служила фотопластинка. На ней «зебра» отпечатывается — и волновая фотография готова!..

Привлечем для ясности математический аппарат, знакомый еще по начальной школе. Правило вычитания: если от уменьшаемого отнять вычитаемое, получится разность. Так вот, полосатая «зебра» есть разность от вычитания волн, отраженных предметом, из волн освещдающих. Но, увы, в этой разности никаким не узнать предмета: глазу, как уже говорилось, нужны для этого сами отраженные волны.

Денисюк для себя сформулировал так: чтобы в составить по волновой фотографии вид предмета, надо ее осветить точно так же, как был освещен сам предмет при съемке. Тогда, пройдя сквозь «зебру», как сквозь сито, освещдающие волны превратятся в колпин отраженных предметов. (Те же правила арифметики подсказывают: вычитаемое равно уменьшаемому минус разность... Отраженные волны равны освещдающим минус «зебра»...) И тогда за пластинкой возникнет копия волнового поля — поля волн, отраженных предметом, или, иными словами, его объемное изображение. И создаст при этом полную иллюзию действительности!

(Ну, а тот, кто в арифметике совсем не силен, пусть примет за аналогию не вычитание, а... ваяние. «Я беру глыбу и отсекаю от нее все лишнее», — говорил Роден. Когда же «лишнее» определено заранее, не нужен Роден, достаточно каменотеса... Или: не нужен предмет, хватит его волновой фотографии... Денисюк вроде бы вправе повторить за Роденом: «Беру свет и выбрасываю из него все лишнее...»)

### 4

ИЗВЕСТНО: Оно, конечно, сказать все можно, а ты подог демонстрируй!» (Менделеев).

Для того, чтобы демонстрировать, инженеру Денисюку пришлось превратиться в аспиранта, сдав положенные экзамены и пройдя по конкурсу. Зарплаты это ему отнюдь не прибавило, зато избавило от инженерской работы, и, казалось, давало возможность приступить наконец к экспериментам.

На деле, однако, это удалось далеко не сразу.

Казалось бы, просто: помести в волновое поле фотопластинку, «зебра» отпечатается на ней, и затем останется лишь насквозь ее просветить. В принципе оно так и было. Но недаром у инженеров присказка: прибор должен действовать не в принципе, а в кожухе...

Все должно было получиться — так казалось — лишь при очень тонком светочувствительном слое (что-то меньше трети микрона, в половину длины

световой волны). В более же толстой, объемной эмульсии вместо четких интерференционных полос, казалось, запишется какая-то неразбериха...

ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА «Образы внешнего мира» (журнал «Природа», 1971): «...Поиски фотографического материала, тощница эмульсионного слоя которого была бы меньше этой, и без того очень малой величины (треть микрома), к успеху не привели. Задача казалась совершенно безнадежной...»

ИЗ ТОЙ ЖЕ СТАТЬИ: «В конце концов возникло предположение, что и объемная картина несет в себе информацию...»

Предположением этим он обязан был одному из пионеров цветной фотографии, Габриэлю Лишману.

Из ЕБС, том 46: «В 1891 франц. физик Г. Лишман разработал новый метод получения цветных снимков и фотографических схем, основанный на интерференции световых волн... Несмотря на высокое качество изображений спектров, интерференционный метод... не получил распространения из-за его технич. сложности...»

Денисюка «технич. сложность» не отпугнула. Дело в том, что при съемке «по Лишману» в толстом слое эмульсии отлагаются волнистые зеркальные прослойки из серебра — запечатленные интерференционные волны. Денисюку пришла мысль, что прихотливые их изгибы могут заключать в себе полные сведения о волновом поле.

ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА в журнале «Природа» (примечание): «История работ Лишмана ярко иллюстрирует причудливый и странный характер выяснения истин в науке: Лишман фактически... разработал технику регистрации стоячих (то есть, интерференционных) световых волн... Независимо от этого Лишман медленно получал изображения, и даже предложил метод их регистрации. Однако этот метод не имел никакой связи с его же собственными работами...»

## 5

Для первой съемки Денисюк подбирал такой предмет, чтобы «обманенный» его двойник как можно полнее выразил его свойства. Остановился на зеркале — вогнутом, собирающим лучи в фокус. Оптический двойник зеркала сам должен быть зеркалом!

И наступил день...

Это был поистине острый эксперимент, тот самый классический в чистом виде «*э к сп е р и м е н т у м к р у п и с*», который должен разрешить все сомнения и надежды, отвечать либо да, либо нет на вопросы, заданные природе. К этому дню Денисюк готовился несколько лет. И вот день наступил...

ИЗ БЛОКНОТА: Держу в руках волновую фотографию вогнутого зеркала (теперь принято другое название: голография). Если не ту, первую, то, во всяком случае, ее близнец. Держу с обжигающим трепетом — как бы не выронить, расколется исторический зеркальчат... но не могу. Моя рука — это слух, мой слух, моя голография. Когда я слышу, я смыкаю глаза, но прежде решили взглянуть, а что в них видно. И оказалось — видно все, только блине надо рассматривать. Такая же разница, как между фотографией и окном: либо поле зрения сужено, либо надо поближе подойти.

...Держу, стало быть, голографию — на стеклянной пластинке розоватый круг побольше металлического рубля. Навоку круг на солнце, и тут же неподалеку вспыхивает зайчик, точка ярко-зеленая потому, что снимали в зеленом свете ртутной лампы. Направляю ее на ладонь. Не жжет. Заглядываю, пытаюсь разобрать, что там «внутри». Когда обводишь кружок

взглядом и поворачиваешь, покачиваешь при этом пластинку, там вспыхивают зеленые блики и иногда разбегаются крестом с красной и синей поперечинами — в согласии с законами волновой оптики...

ИЗ ВІДВІДНО: Оптика — древня наука, ее летопись хранят предания о событиях необыкновенных и поразительных. Так, Архимег Сиракузский поджег римские корабли неподалеку от Сиракуз, сконцентрировав солнечный свет «зажигательными» вогнугами мізеркалами.

ИЗ БЛОКНОТА (со слов Денисюка): — А я голограммой зеркала глаз обиж. Старался рассмотреть, как она работает, всею лицо поверхностью, или все же отличается чем-то от зеркала. Ну, и не заметил, как повредил роговицу. Пришлось капли капать...

Легенды об Архимеде он, должно быть, не вспомнил при этом. И уж наверняка не подумал об Альке, которая сомневалась, можно ли пить зеркальное молоко.

## 6

ИЗ ВІДВІДНО: «Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов» (Ньютона).

Инженер Денисюк, аспирант Оптического института, оправдан на труды достойных предшественников — Христиана Гюйгенса и Томаса Юнга, Эрнста Аббе, Габриэля Лишмана, Уильяма Брэгга...

Но был у него еще один предшественник, о котором он до поры до времени не подозревал.

ИЗ БЛОКНОТА (со слов Денисюка): — Году в шестьдесят один товарищ из нашего института привез из-за границы кое-какие научные открытия. Я их просмотрывал, перелистывал. И в статье некоего Гуссена Эль-Сама из Стенфордского университета наступился на имя Габора; оно мне мало что говорило. Автор, однако, соскальзнул на работу, которая, насколько я помню, Поль Габор, и открытие Габора в «Тайдах Королевского общества» за 1949 год. Отсыпал, прочел аннотацию, и стало мне плохо с сердцем, первый раз в жизни.

Английский физик Денис Габор, по происхождению венгр, эмигриант из нацистской Германии, работал в фирме «Бритиш Томсон Раундс Рэгис» над усовершенствованием электронного микроскопа.

ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА: «Габор столкнулся с необходимостью улучшить качество изображения, которое сильно искасалось так называемой сферической aberrацией, введенной в оптику в XVII веке. Габор, изучивший эту проблему, сделал вывод, что сферическая aberrация обычных линз известна, что сферическая aberrация линз исправляется достаточно просто. Однако в электронной оптике действуют несколько иные законы, и сферическую aberrацию в этом случае невозможно исправить. На этот счёт было дано множество различных теорий... Имело место явление такой, в общем, весьма частотной, однако вместе с тем очень характерной задачи и было предложено голография (термин ввел Габор).»

Идея Габора состояла в том, чтобы, получив голограмму, созданную рассеянными электронами, воссоздать изображение при помощи света — и обойти тем самым «соответствующую» теорему. Как на своих предшественников, Габор ссыпался при этом на тех же Гюйгена, Аббе, Брэгга...

ИЗ БЛОКНОТА (со слов Денисюка): — Справившись со вполне объяснимыми эмоциями, я тогдаательно перекомпенсировал статью Габора и, разобравшись, понял, что не так уж моя дела мрачны. Сначала-то показалось: он сделал все. Но нет, и на мою долю кое-что осталось...



Юрий Николаевич  
Денисюк

Полученное Габором изображение имело вид темного силуэта на светлом фоне, как бы тени; это кружило, лишь отдаленно напоминавшее объект, отнюдь не претендовало на иллюзию действительности. Собственно, этого и не требовалось для тех специальных задач, которые решал исследователь. Во многом отличалась и схема опыта.

ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА: «Недостатки сильно ограничивали область применения метода (Габора), и поэтому в дальнейшем предпринималась главным образом в приложении к некоторым задачам электронной и рентгеновской микроскопии. О возможности получения объемных оптических изображений естественных объектов в то время даже не упоминалось. И все же, несмотря на все недостатки и ограничения этого метода, именно Габор признаан основателем голографии. И это, безусловно, правильно...»

За основополагающие исследования в области голографии Денисус Габору была присуждена Нобелевская премия по физике 1971 года.

## 7

Когда Денисюк понял, что не просто повторил следование Габором, от сердца отлегло. Однако открытие (для себя) статьи Габора заставило поторопиться с изложением собственных результатов (для других). Точнее, не поторопиться (это слово сюда едва ли подходит), а перестать медлить: материала к тому времени набралось на... пять статей. Он не спеша с публикацией не потому, что был медлителем или нерешителем на натуре, вовсе нет. Считал правильным дождаться «экспериментум круцис». Подтвержденные опытом теоретические построения выглядят куда убедительнее... А ведь он, автор, претендовал не на мелочь какую-то — на открытие нового явления. До тех пор известны были всего лишь два способа светового изображения: теневая проекция и с помощью линзы (на чем основана вся геометрическая оптика). В своих пяти статьях Денисюк описывал третий, до сих неизвестный человечеству способ. В редакции научного журнала, куда автор привнес их скопом, на него однако посмотрели с недоумением. Таких многосерийных произведений в журнале не давали и академики. А тут аспирант неостепененный. И полноценных представителей обогащающего им человечество посоветовала статья объединить. В одну...

Что ж, автор не стал особенно с этим спорить. Объединил. И приложил к статье сопроводительное письмо.

ИЗ ПИСЬМА ДЕНИСЮКА в редакцию научного журнала: «Я отдал себе отчет в том, что нормы превышает принятые нормы. Прошу, однако, учесть следующее. Настоящая работа представляет собою обобщение метода цветной фотографии Липмана и голограммного метода Габора. На русском языке работ, посвященных голограммической фотографии, не было. Существуют только схематичные описание в курсах оптики. Что же касается голограммного метода, то какие-либо упоминания о нем в советской технической литературе вообще отсутствуют.

Вместе с тем журнал «Труды Королевского общества» (Лондон) считал возможным уделять изложение метода Габора страницы. Попытавшись танжерине такой известной оттиски, как М. Бори, в своей книге счел необходимым привести подробное описание этого метода...

Автор не берется сам судить о правильности выдвигаемой им теории, однако считает бесспорным, что рассматриваемый в ней общий случай гораздо более трудно доказуем, чем случай, рассматриваемый в голограммном методе...»

Автор не брался судить о своей теории. Этим занимались другие.

## 8

Спустя восемь лет после описываемых здесь событий кафедрой технических наук Юрий Николаевич Денисюк получил Ленинскую премию. Вместе с лауреатом чувствовал себя именником и его многолетний начальник Александр Ефимович Елькин.

ИЗ БЛОКНОТА (со слов доктора технических наук А. Е. Елькина): — Когда меня с его Ленинской поздравляли — вот, мол, ваш ученик! — я отвечал: он не ученик мой, а воспитанием и помочь не могу, но ученик член моего семейства. Да-что-то присочетилось. Мне еще когда-то как инженера дали, ну, скромную медаль. Вдумчивый, способный парень, это скоро стало ясно. Но «волнистой фотографии» я не мог оценить. Не физик. Чувствовал: интересно, а оценить не мог... Нужна-то была, сами понимаете, работа. Так как экспериментами ему удалось заняться лишь став аспирантом, эта работа осталась в долготу зеркала. А потом, когда я начал заниматься, я ему даже лабораторию дал, и они вдвоем колдовали над эмульсиями. Когда он написал статью, я ему сказал: выясните, не потеряете ли приоритет. По открытиям у меня, правда, опыта не было. Но изобретениями только. Там порядок такой: сначала оформляют заявку, а потом уж можно публиковать...

Елькин был его наставником. А кто же учителем? Пожале, что Старый Борн, как принято было со студенческих пор именовать уже к тому времени затрепанную «Оптику» Макса Борна, изданную в Харькове в 1937 году. Вот книга! И вот ученый. Из тех гигантов, которым проще самим написать новую главу науки, нежели составлять ее из чужих сочинений. (Так думает Денисюк.)

...По совету опытного своего наставника Денисюк подал заявку на открытие нового явления. Это было в феврале 1962 года, а к осени он уже располагал тремя отзывами из солидных научных учреждений. В первом отзыве говорилось: данное явление не отличается от голограммного метода Габора. Во втором утверждалось: оно не отличается от метода цветной фотографии Линмана. В третьем же провозглашалось, будто данного явления, вовсе не существует, работа Денисюка несостоятельна, а слово «открытие» применительно к этому заключалось в кавычках. Вот так!

Три единодушных в своем отрицании мнения за исключением решительного «нет!» не сходились ни в чем. Когда бы сошлися, это было бы более чем грустно... Но, сложенные вместе, отзывы взаимно исключали, уничтожали друг друга... как световые волны в противофазе...

Ну и, кроме того, пока несообразные отзывы вызревали, произошли и события иного порядка. Журнал «Доклады Академии наук СССР» по представлению академика В. П. Линмана («Работа очень интересная», писал академику) напечатал короткую статью Денисюка (в июне 1962 г.), статью-концепт с изложением самой сути, и на публикацию отклинулся Денис Габор: прислал новые свои материалы.

А это уже позволяло Денисюку спокойно отражать выпады оппонентов, в ряду которых находился, увы, и ученый совет родного Оптического института...

Впрочем — постараемся быть объективны,— его открытие уже не было для него делом жизни и смерти. Инженер, а потом аспирант, который многим пощектировал ради своей идеи, к этому времени стал звездой бамбуковой тематики лаборатории по-прежнему была от идеи его далека. Чем-то он поступился, не напел в себе «напряженной воли» жизни, класть на доказательства своей правоты. Возможно, устал. А возможно, не считал для себя главным просвещать тех, кто противился просвещению. Это ведь была уже не наука, а, если хотите, педагогика. Денисюк считал, что сделал свое дело и рано или поздно в открытом им разберутся, раз явление существует. Уж в этом-то он был уверен: оно существовало!

ИЗВЕСТНО: великий Галилей не пошел на костер, хоть и с ясностью понимал, что «все-таки она верится».

## 9

ИЗВЕСТНО: «Несмотря на все свои революции, наука остается консервативной» (Оппенгеймер).

Всякое открытие, любой новый факт, тем паче, когда он неожидан, изменяет сумму знаний, сложившуюся до его появления. Принять эти изменения, не сопротивляясь, невозможno. В противном случае оказалась бы размытой граница между Знанием и Незнанием. Такова диалектика.

И в то же время ИЗВЕСТНО: «Каким бы крупным ученым ты ни был, с определенного возраста появляются так называемые «слишком трудные понятия»... (Планк).

Одним из самых решительных рубителей Денисюковской идеи оказался, однако, некий младший научный сотрудник, который рубил со свойственной молодости и достойной лучшего применения дерзостью. Из доброй сотни страниц он, по мнению Денисюка, прочел не далее третьей. Доберись он хоть до четвертой, то обнаружил бы несостоятельность не в работе Денисюка, а в собственном на нее взгляде. Но поскольку этого не случилось, его отзыв сыграл роковую роль.

ИЗ ЮМОРИСТИЧЕСКОГО РАССКАЗА. «...С бьющимся сердцем переступил я редакционный порог. Вот. сочинил новеллу... — пробормотал я. — Зачем? — строго спросил редактор...»

ИЗВЕСТНО: «К чему новорожденный ребенок?...» (Вениамин Франклин).

ИЗВЕСТНО также: ученый монах Роджер Бэкон во второй половине XIII века заметил, что вогнутая линза помогает лучше видеть пожилым братьям. В сущности, это было изобретением очков. Наши пребэки (в лице церкви) отблагодарили изобретателя тюрьмой, где он провел около четырнадцати лет.

ИЗ СТАТЬИ «БЭКОН, Роджер» (БСЭ, том 6): «С точки зрения Б. существуют четыре помехи познанию истины: преклонение перед ложным авторитетом, укоренившимся привычка к старому, мнения невежд, гордыми мимой мудрости...»

Комитет по делам изобретений и открытий не признал открытия Ю. Н. Денисюка. Ошибочно, как потом оказалось, решение, принятое 29 октября 1962 года, исправлено в 1970-м.

## 10

...Все же, по авторитетному свидетельству Макса Планка, «слишком трудные понятия» появляются с определенным возраста. И в нашей истории это вроде бы лишний раз подтвердилось. Публично, при свидетелях, на предзащите. (К чему эта репетиция перед защитой диссертации, сказать затрудняюсь.)

ИЗ БЛОКНОТА (со слов свидетеля приведенный): Эльзы Земцовой, старшего инженера: Юрий Николаевич очень волновался, от волнения слова не мог сказать. Доклад зачитывала жена. Члены совета рассматривали экспонаты — голограммы вогнутого зеркала и микрометрической шкалы. Придирчиво — на свет, против света. Шкалы наглядно показывали четкость изображения. Но возникало она почти на самом краю зеркала, и это было недопустимо. Сперва тогда, а не в лучах лазера, как снимают теперь, а при свете ртутной лампы.) И вот один известный старый учений резко выступил против: это, мол, обычные диализоптические с изображением на самой пластинке. А все остальное — фантазии. Кто-то его поддержал, кто-то робко стал выражаться. Мы, совсем зеленые, не могли понять, что же это за разницу, скажите, кто прав, но почему-то сразу взяли сторону Денисюка... К защите его все-таки допустили. Сочинили, что в кандидатской работе не обязательно открывать что-то новое. Достаточно продемонстрировать умение вести исследовательскую работу. С этим-то никто не стал спорить...

Действительно, известный ученый, который выступил против, был стар... Но и поддержавший Денисюка академик Линник ненамного был моложе. Так же, как академик Капица и Обреинов, которых, наряду с Линником, Денисюк в одной из первых своих статей благодарили за внимание и поддержку. Зато консерватору, о ком шла речь раньше, в ту пору не стукнуло и тридцати. Так что не стоит понимать Макса Планка чересчур буквально.

Свои первые голограммы Денисюк снимал в свете ртутной лампы. Изображения, это правда, получались тускловаты. Чтобы сделать пироже, приходилось по-всякому искривляться. Он возился с эмульсией и их рецептурой и меняя спектр света в поисках лучших вариантов. Но ртутная лампа есть ртутная лампа... Других источников однородного, когерентного света в ту пору еще не существовало (источник тем более когерентен, чем меньше отдачаются друг от друга излучаемые им волны).

**ИЗ БЛОКНОТА** (со слов Денисюка): — О лазере я от коллег услышал и оценил его значение для голографии скоро, о чём тогда же и написал. Но сам в то время голографии уже перестал заниматься...

Год рождения лазера, или оптического квантового генератора, — 1960.

**ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА** (октябрь 1963): «...Основная трудность заключалась в отсутствии достаточно пристального монохроматического излучения. Наиболее перспективный прогресс в этом направлении должен давать использование квантовых генераторов, излучение которых обладает большой яркостью при очень высокой монохроматичности...»

В сущности, эта мысль — о применении нового, необычно яркого источника света для голографии — напрашивалась сама собой и, естественно, пришла не в одну голову. А поскольку Денисюк занимался совсем иными делами, то и осуществил это на практике, естественно, другого исследователя. Точнее, другие... Экспериментально такие голограммы впервые получили американские физики Э. Лейт и Ю. Упатинекс в 1964 году.

**ИЗ СТАТЬИ ЭММЕТТА ЛЕЙТА И ЮРИСА УПАТИНЕКСА** (журнал «Наука и жизнь», 1965): «...Применяя газовый лазер в качестве источника света, мы в нашей лаборатории Мичиганского университета научились получать высокочастотные трехмерные голограммы с изображением частичек в движении. Мы получили следующие, частично, результаты: того, что лазер как источник когерентного света сущит колоссальные, еще не изведенные перспективы, интерес к возможным применениям этого замечательного фотографического процесса ныне значительно возраст...»

В этой переведенной из журнала «Сайентифик Америкэн» статье Денисюк не упомянут ни разу. Тем не менее он мог быть благодарен авторам. Статья невольно напомнила — тем, разумеется, кто знал да забыл, — что ведь был и у нас аспирант, который noscens с подобной идеей. Интерес к ее применению в самом деле значительно возрос... Словом, когда Юрию Денисюку предложили организовать новую лабораторию голографии, ему не надо было раздумывать над ответом.

## 12

На солнечном припеке вместе с Димой Стаселько — сотрудником лаборатории голографии, молодым кандидатом наук — рассматриваем голограммические снимки самого Димы. Снимки вдвоены Димины: он и фотограф (голограф?), он и объект съемки. Иными словами, рассматриваем голограммические автопортреты.

Если уж быть совсем точным, рассмотреть их пытаются я. Дима показывает. Учит меня видеть. Для этого требуется пока что определенные навыки.

Две стеклянные пластиинки с виду не отличишь. На обеих (по словам Дими: я покажем не вижу ничего) — голограммы, снятые в лазерном свете. Но одна — по способу Лейта, а другая — по способу

Денисюка. Снимок «по Лейту», объясняется мне Дима, надо рассматривать в тех условиях, при каких велась съемка. То есть в тех же одноцветных лучах лазера. В белом солнечном свете, что содержит в себе всю радугу (Дима, понятно, говорит: спектр), изображение смазывается. Но Дима все-таки показывает его — для сравнения.

Наставляя пластиинку на солнце, с трудом улавливаем некое красное пятно; под умелым Диминим руководством наконец вижу подобие красной маски с белыми перечеркками губ и глаз.

Теперь очередь второй пластиинки.

На просвет, против солнца, она мутновато-прозрачна. (Под микроскопом, — комментирует Дима, — был бы виден замысловатый интерференционный узор, по внешности ничего общего с объектом.) Но снимок «по Денисюку» надо рассматривать не против, а по солнцу. Поворачиваемся, как по команде «кру-гом», и когда я заглядываю на пластиинку из-за Диминого плеча, мне просто кажется, что у него в руках зеркало. Правда, непривычное, темно-красное: будто бы медное. Дима выглядит в нем индейцем.

(Комментарий Димы: «Снимок сделан в красной области спектра. Если бы снимали в синей или зеленой, изменились бы соответственно цвета...»)

Если смотреть на изображение прямо, видишь Диму вполоборота. Он и на самом деле там стоит. Если заглянуть справа, из-за другого его плеча, — на пластиинке профиль. Шагнув влево, могу рассмотреть Димин фас.

Но я еще не поверил в портрет. Иллюзия зеркала так велика, что я поворачиваю Димину руку с пластиинкой вместе, и, вот чудеса, в «зеркале» Димино лицо ложится набок, тогда как в натуре, разумеется, нет. А кроме того, в натуре оно смеется, тогда как на пластиинке остается сердитым. Как ни верти, никак не денешься: это портрет. Без обмана! Или, точнее, с обманом, но только с оптическим. («Сейчас мы работаем над тем, — буднично говорит Дима, — чтобы добиться при воспроизведении естественности цветов...»)

В сущности, Дима Стаселько продемонстрировал мне то самое, от чего в повести «Звездные корабли» «невольно содрогнулись» оба профессора. То самое, что заставило в свое время молодого инженера Денисюку сделать выбор. То, что стало его целью. Он достиг ее весной 1969-го (разумеется, в первом приближении, вчерне).

## 13

Занялись этим сразу же, едва лаборатория образовалась. Но прежде чем «пушкарь» у лазера произнес «клиенту» скромительное: «Слопойно, снимаю!» — пришлось поломать голову над десятком проблем. Теперь, когда Денисюк был уже не один, ответы отыскивались сравнительно быстро.

В один прекрасный день у оптиков завелся лабораторный мышонок.

**ИЗ БЛОКНОТА** (со слов Дими Стаселько): — Я его притянул из знаковых из оптического института и привез в оптическую преобразовательную группу, к нему науки. А именно: был мал (то есть требовал минимальной мощности лазера), бел (то есть хорошо, диффузно рассеивал свет) и прыток. Чтобы ограничить последнее свойство, при съемке сажали мышонка в текстильную клетку и вскоре танки образом подобрали необходимую выдермину. Он не воспринимал гравитации и не двигался. Существование импульсных лазеры не спряталось с задачей. Пришло разрабатывать собственный...

После нескольких десятков сеансов мышонок стал сплюнуть... Но погиб не от лазера, а от барабанного воспаления легких. Испачкался, стал хуже рассеивать свет, его вымыли и простудили... Как жертва науки

он был торжественно погребен под стенами Оптического института.

Вторым «живым объектом» стала человеческая рука. С ней экспериментировали, чтобы не терять времени, пока придумывали, как от лазерной вспышки предохранять глаза.

**ИЗВЕСТНО:** на первых фотоснимках «агерротипах» изображены *натюрморты*. Когда же стали снимать портреты, то лица чуть ли не мелом белели, а головы ущербливали в специальных завихтах, чтобы не искажалась. Выдержка достигала получаса.

**ИЗВЕСТНО ТАКЖЕ:** первые телевизионные передачи требовали такой освещенности, что вынести ее могли лишь гипсовые фигуры. Затем было передано изображение человеческой руки — первые, кстати, засняты в Ленинграде, километрах в пятнадцати от Оптического института, в Лесном, в 1926-м.

**ИЗ БЛОКНОТА** (со слов Стаселько): — Придумали наивную машину для записи на пленку излучения, рассеивающегося. Он синхронизировал излучение по расчету в миллион раз. Но все же потока желавших запечатлеться для истории не наблюдалось. Короче говоря, с себя начали. Тема моя, я и сам первым, потом соавторы... Ощущение в момент съемки! Словно где-то сбоку маянут красным платком.

Голографическому портрету человека посвящен лишь один из разделов кандидатской работы Д. И. Стаселько по импульсной голографии. Кроме этого, на основе разработанных под руководством члена-корреспондента Академии наук ССР Юрия Николаевича Денисюка теории, схем, методов, с помощью «собственного» импульсного лазера получены голограммы таких мгновенных явлений, как, например, газовая струя при горении пороха.

## 14

**Будущие возможности голографии Денисюк сумел оценить рано.**

**ИЗ ПЕРВОЙ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА** («Доклады АН СССР», 1962): «...может оказаться полезным для развития изобразительной техники, в структурном анализе, гидрологии, радиолокации, ультразвуковой дефектоскопии, а также для изготовления элементов типа дифракционных решеток»...

Через год он прибыл к звуко- и радиовидению возможностям. Дебют видимыми и электронные волны (что сумел еще Габор) и рентгеновские. Теперь к этому добавляют потоки газов, и элементарных частиц, и космической пыли. Короткий импульс — «составился, мгновенность!» — и волновой фронт заморожен, запечатлен, замурован. А потом, в «размороженном» виде, изучайте его, сколько и как хотите. Хоть полет пули или мезона, хоть взрыв, хоть термоядерная плазма!

Голографические приборы для контроля деталей... Голографические запоминающие устройства небывалой емкости...

**ИЗ СТАТЬИ ДЕНИСЮКА** (журнал «Природа», 1971): «На первый взгляд такое изобилие возможностей может показаться парадоксальным, но это, конечно, гравюра, чье приложение еще не найдено. Однако это не так. Специфика голографии как раз в том и состоит, что она представляет собою некое достаточно универсальное орудие исследования внешнего мира...»

И все же для самого Денисюка изображение — «необыкновенно, невероятно живое» — воссоздающее полную картину действительности, по-прежнему остается самым интересным, захватывающим. В отличие от многих исследователей, обратившихся к голографии для решения сугубо технических задач, он с этого начал и хранит этому верность.

**ИЗ ЛЕКЦИИ ДЕНИСЮКА** (1973): «Летчику, который пытается посадить в тумане самолет, приборы могут дать все необходимые данные. Однако цифры сами по себе мало что говорят пилоту. Можно, конечно, пытаться запустить их в компьютер, однако современный компьютер горит быстрее, чем решит все возникающие в этой ситуации проблемы. Положение совершенно меняется, если на основании этих цифр с помощью голограмм подать пилоту «вычисляемое» изображение посадочной полосы...»

Милионы людей во всем мире водят различные самодвижущиеся аппараты. Учиться управлять ими становится все сложнее и опаснее. Затраты по созданию тренажеров, на которых могли бы обучаться космонавты, пилоты, водители автомобилей, в конечном счете оправдываются.

...Я не решаюсь подходить к тонкому и хрупкому миру искусства, расценивая его как входное устройство для мозга или тренажер для воспитания мыслей и чувств. Однако мне кажется беспорочным, что искусство кинематографии только выиграет, если будет создавать полную иллюзию действительности изображаемых событий...

Проблема создания голографического кино технически весьма сложна... Однако работы в этой области существенно облегчат то, что наряду с такой дальней целью существуют гораздо более простые практические задачи, которые требуют развития той самой техники, которая может быть в дальнейшем использована при создании кинематографа...»

Что имеет в виду учений под «более простыми практическими задачами»?

Это и синтез объемных рентгеновских изображений, над чем физики уже работают вместе с медиками. И синтез оптических макетов проектируемых зданий, конструкций, машин. И уже разработанная американским специалистами голографическая система видеозаписи. И голографические «копии» скульптур и разнообразных художественных изделий для передвижных выставок и для обмена между музеями — такая работа начата в содружестве с Эрмитажем. И создание целых домашних «эрмитажей» из таких копий-диапозитивов путем их размножения...

**ИЗВЕСТНО:** Джонатан Свифт предсказал существование двух спутников Марса и даже назвал их — Фобос и Деймос. Слово «робот» придумал Чапек, а «гиперболоид» от Алексея Толстого без труда упается лазер.

Число подобных примеров можно умножить. Но было бы более чем наивно сводить к таким «приложениям» взаимодействие искусства с наукой. Оно, это взаимодействие, разумеется, несравненно сложнее. Все же в истории Юрия Денисюка любопытно, что круг замкнулся...

**ИЗ ТОЙ ЖЕ ЛЕКЦИИ:** «..Действие, которое будет оказывать такой вид искусства на психику, трудно переоценить. Кто сможет оставаться безучастным к разыгрывающимся рядом драматическим сценам? Фактически это будет совершенно новый вид искусства с принципиально новыми выразительными средствами. Есть все основания полагать, что широкое внедрение такой техники существенно определит образ жизни и психология будущих поколений. Такая благородная цель стоит того, чтобы тратить на нее свои силы...»



B

январе прошлого года на высокогорном катке в Давосе (Швейцария) норвежец Лассе Эфшин повторил лучшее мировое достижение в беге на коньках на дистанции 500 метров, установив новый рекорд мира на дистанции 1 000 метров и в сумме спринтерского многооборья набрал фантастическую сумму очков!

Коньки в Норвегии — национальный вид спорта. И понятно, что триумф Лассе Эфшина в Давосе вызвал бурю восторга у его соотечественников. Сенсация крылась не только в невероятных секундах Эфшина, но и в самой личности нового рекордсмена мира.

Лассе родился в 1944 году в Осло в семье врача (его отец — доктор медицины, профессор, заведует сейчас хирургическим отделением центральной столичной больницы). Бегать на коньках Лассе начал с десяти лет и сразу же привлек к себе внимание своими выдающимися способностями. В 1961 году он стал абсолютным чемпионом страны среди юниоров.

Лассе прочирил блестящую будущность на ледяной дорожке, но вдруг он ушел из большого спорта — решил завершить свое образование и поехал учиться в Тронхейм в Высшем техническом училище, избрав специальностью химию.

Он отказался от существующей практики, когда спортивные руководители добиваются для своих «звезд» академических отпусков в учебных заведениях. В 1969 году он получил диплом инженера. О конькобежце Эфшине за эти годы забыли. Только очень немногие знали, что зимой, в свободное от занятых времена, Лассе продолжал тренировки в конькобежном клубе Тронхейма, а летом поддерживал свою спортивную форму самостоятельно. Стоит сказать также, что наряду с наукой он занимался в эти годы политикой, изучал марксизм, примкнул к прогрессивным политическим организациям.

Отслужив в армии, Лассе поступил в радиологический центр Осло, где разрабатываются методы лечения злокачественных опухолей обучением. Постепенно он накопил исследовательский опыт, опубликовал несколько теоретических работ и стал собирать материалы для диссертации.

Став ученым, Лассе не оставил своей активной общественной деятельности. К тому же он женился, в



М. ТЕПЛОВ

# Лассе Эфшин и его «Заколдованный круг»



молодой семье вскоре появился сын. Казалось, теперь Лассе Эфшину нет возврата в большой спорт: многолетний перерыв в серьезных тренировках и соревнованиях, научная работа, семья. Да и возраст уже не тот, чтобы начинать все сначала. Но он и на этот раз все решил по-своему.

На высшую ступень пьедестала почета в Давосе поднялся не просто конькобежец, а ученый и общественный деятель. Через месяц ему исполнится 29 лет. Никто не ждал подобного исхода состязаний, в котором участвовали сельнейшие скоростходы мира. Это была настоящая сенсация. Сенсация номер один

Лассе Эфшина.

Сенсации номер два этот человек преподнес в октябре прошлого года, когда вышел в свет его роман «Закодированный круг». «Роман Эфшина — это бомба, брошенная в спортивный мир», «книга вызывает интерес и негодование в широких кругах» — таков был тон рецензий в норвежской прессе. Роман действительно никого не оставил равнодушным в Норвегии, был замечен и за ее пределами.

В предисловии автор пишет: «Роман изображает обстановку в норвежском конькобежном спорте, который я хорошо знаю, правдиво, но несколько утрированно. Это вызвано необходимостью выделить, подчеркнуть некоторые важные черты, чтобы привлечь к ним внимание... Многие из тех проблем, которые затронуты в книге в связи со спортом, характерны для всего нашего капиталистического общества... В «элитном спорте» такие явления приобретают особенно острый характер. Поэтому, взял спорт как наглядный пример, в какой-то степени легче перейти к анализу проблем более широкого, общего плана. Я стремился к тому, чтобы мой роман рассматривался и обсуждался в обеих точках зрения: и как описание существующей ситуации в спорте и как отражение противоречий в нашем обществе».

Герой романа — конькобежец Оле Педер Бентсен, находящийся в зените своей спортивной славы. Он чемпион страны, победитель многих международных соревнований. Все называют его просто О-П., по инициалам. Однажды кто-то на трибунах Бишепста, под Гарвариа Оле, стал топать ногами и в такт кричать: «О-П! О-П!» С тех пор эта кличка навсегда пристала к Бентсену; вошла в газетные отчеты и даже пела под некоему бонжому репортеру бросить фразу: «О-П — опум для народа».

А как оценивает себя сам Оле?

«Перед каждой гонкой я проклинаю все на свете и прежде всего самого себя,— говорит он после очередной победы.— Зачем я так истязаю себя? Теперь, когда все позади, ответ приходит сам собой: тщеславие удовлетворено. Все меня знают, все мной восхищаются. «О-П — опум для народа». Люди — это рабы. Они сами заковали себя в железо, сами распяли себя своим преклонением. А нас гонят вперед желание отличиться перед другими, подняться наверх. Нас подгоняет этономия».

В своих мыслях Оле еще более откровенен: «У меня маленькие, холодные глаза. Ну и что же? В большом спорте хорошо иметь именно такие глаза, это нравится. Я трачу все свои силы и способности только на себя одного. Правильно. В мире, где все грызутся и стараются побольнее пнуть друг друга, надо думать только о себе, надо уметь пробираться... Мне важно только одно — конки. Все остальное ничего не значит и достойно презрения... Если мне изменит счастье, недостанет сил для победы, кто будет тогда думать обо мне? Нужен ли я кому-нибудь? Нужен ли мне кто-нибудь? Нет, не нужен. Что же, я принесла правила игры такими, каковы они есть!»

Его товарищи по спорту в этом отношении ничем

от него не отличаются. Впрочем, можно ли их называть товарищами в полном смысле слова? Там, надеюсь, их всего около двадцати человек, но товарищами считают себя всего шестеро или семеро из них. Все они супергонисты, пробившиеся в элиту в жестокой борьбе с другими. Каждый из них прежде всего думает только о себе. Каждый занят своими тренировками, следит за своей физической формой, носится со всеми простудами, если она случается. Но они чувствуют, что для личных интересов каждого из них лучше, когда они держатся замкнутой группой. Поэтому они немого помогают друг другу, вместе ходят на вечеринки, повсюду встречаются разные мелочи из личной жизни. Разница в образовании почти не имеет значения, равно как и принадлежность к различным спортивным обществам. Каждый из них — «звезда» своего общества, вместе они — «звезды» федерации, и это объединяет их в достаточной степени.

Всего этого не видно с трибуны стадиона, тем более что на людях О-П держится совсем по-иному, чем в своем кругу. В этом ему помогают опытные писаки, распространяющие, например, такое его высказывание: «Важно иметь не только здоровое тело, но и здоровый, уравновешенный взгляд на жизнь. Спортсмен является примером не только в физическом, но и в духовном отношении. Поэтому я всегда ощущаю, что на мне лежит и моральная ответственность, прежде всего перед молодежью». Вот он, блестящий рицарь, о котором вечерняя газета писала, что он «спас честь Норвегии! Как же не устраивать ему оваций, не орать в тысячу глоток: «О-П! О-П! О-П!»

А тем временем «удовлетворенного тщеславия» этому «рыцарю» уже мало. Он предъявляет своему спортивному обществу материальные требования. Ему нужна удобная и недорогая квартира, он хочет устроиться на такую работу, где, не будучи слишком занят, он получал бы хорошую зарплату. А если его общество не состоящее удовлетворить эти его запросы, он переходит в другое, которое «устроит» и жилье, и должность «ассистента по реализации» в какой-нибудь фирме, и бесплатное питание в королевском автоклубе, а может быть, и бесплатную «прекламную» автомашину в личное пользование. Этот «подвижник» уже не удовлетворяется кубками и вазами, которые он после победы в присутствии тысяч зрителей с картинной улыбкой поднимает над головой. Его больше устраивают награды в денежных знаках, вручаемые на закрытых торжествах без лишней помпы. Зачем же отказываться от того, что другие считают естественным? Почему бы не извлечь из этого реальные блага? Тем более, что большой спорт превратился в массовое зрелище, развлечение и спрос на спортсменов экстра-класса велики.

Однако быть спортсменом экстра-класса в наши дни очень трудно. Лучшие мировые достижения находятся чуть ли не на пределе возможностей нормального человеческого организма, и, чтобы быть на них уровня, а тем более улучшать их, нужно изыскывать все новые и новые резервы физических и психических сил, неустанно оттачивать технику. Это очень большая, трудоемкая работа. Лассе Эфшин с подлинным знанием дела описывает тренировки норвежской конькобежной элиты, предельно уплотненные и насыщенные большими нагрузками, рассказывает о многочисленных сборах, в летние и в зимние месяцы, когда спортсмены длительное время живут в условиях строжайшего режима.

И в этих постоянных тренировках нарабатывается не только необходимая физическая форма, но и то

особое отношение к ней, которое Эфшин называет «культом тела». Тело всегда должно быть в безукоризненном состоянии. Нервы, сердце, легкие, желудок — все это должно работать предельно эффективно и слаженно, как детали хорошо отрегулированной и смазанной машины, постоянно готовой развить максимальные обороты и отдать всю заложенную в ней мощность. Если под нагрузкой устали пульсы, повысилось давление крови, затверделы мышцы, появился кашель, значит, в механизме неисладки и надо немедленно принимать меры для их устранения. Всегда необходимо контролировать, всегда и везде надо следить за тем, чтобы сохранились сила, выносливость, скорость, натренированность. Тело, рассматриваемое как механизм, как машина, выдвигается на первый план и становится главным, показуя, единственным предметом внимания спортсмена.

«Они тренируются и утром и вечером», — описывается в романе сбор сильнейших конькобежцев. — График бега тщательно отработан. Ребята буквально прощупывают друг друга, чувствуют, когда приходит спортивная форма или когда что-то не ладится. После каждой тренировки душ и взвешивание. Здесь важен не человек, а тело, только тело. Тренировочный лагерь превращается в ритуал, это чертова пляска на пути к успеху: тренировка, еда, сон, снова тренировка и так без конца. Некоторые из спортсменов женаты, и автор пишет далее: «Обычно вдовой называют женщину, у которой умер муж». В спортивном мире это совсем не так. Здесь вдова — это жена знаменитого спортсмена, который еще никогда и не задумывался о смерти. Конькобежец, входящий в элиту, вынужден многие недели проводить на сборах, а потом часто выезжать на соревнования. Его жена остается одна, предоставленная самой себе... А если муж дома, она все свои заботы посвящает ему «супертулу». После тренировки ему нужен отдых, носят отдыха представят новые тренировки, так что недопустимы никакие домашние неприятности, никакие первые напряжения. Тело — это хорошо, это главное, разумеется, для тех, у кого именно такое тело. Жена становится механизмом, становиться слугой. При этом все говорят ей, что она должна быть довольна судьбой: ведь она жена знаменитости!»

Герой Эфшина, получив школьное образование, nigde больше не учится. Ни один из них не интересуется литературой, театром, искусством. Они терпеть не могут «политики», никогда даже не проглатывают те газеты, которые обсуждаются в мировые проблемы или внутренняя обстановка в их собственной стране. Когда выдается свободный вечер, «звезды» в лучшем случае идут в кино, а то играют в карты или развлекаются в кинотеатре, позволяя себе в известных пределах спиртное.

Правда, есть одна сфера, помимо спорта, где эти молодые люди проявляют весьма высокую активность. Но здесь господствует «культ тела». Это секс. Приведу лишь две сравнительно «безобидные» цитаты. После победы на международных соревнованиях О-П и его товарищ Юхан встречаются с моденскими почитательницами конькобежного спорта.

— У меня пересохло во рту от разговоров. Ваше здоровье, девочки! Хорошо, что вы пошли с нами. Мы грехи, но мы не развратники. Мы предпочитаем победу поражению, девочки пыньяты...

— Как душно здесь, — сказала одна из почитательниц, — я задыхаюсь.

— Да, в комнате жарко. Мы слишком тепло одеты. Я предлагаю:бросим с себя все лишнее! Наиболее стеснительные могут остаться в трусах. Пока. Толь-

ко в трусах, сказал я, все остальное придется тебе снять, дорогая.

— Отлично! Выпьем за наши неприкрытые тела и наши неприкрытия желания. Любовь продлевает мир победы и скращивает поражение...

Спортсмены тренируются летом в форсированном порядке по горам, где много туристов.

«Обычно им удавалось вечером получить на всех комбатах в гостинице или кемпинге. Но случалось, что мест не хватало, и тогда кому-то приходилось спать на полу. Тогда особой заслугой считалось найти на ночь знакомую с кроватью. Весь поход был превращен в игру, и за удачные «ходы» насчитывались очки. Учет велся следующим образом: тот, кто первый добирался до места ночевки, получал 1 очко, второму доставалась  $\frac{1}{2}$  очка; ночь, проведенная с девочкой, — 1 очко (знакомые в расчет не принимались), добился от нее почти всего, чего хотел, —  $\frac{1}{2}$  очка; переночевал с подружкой, которая расплагала кроватью, когда сам остался без места, —  $1\frac{1}{2}$  очка; говорил повстречавшихся девушек изменить свой туристический маршрут и последовать за конькобежцами — от  $\frac{1}{2}$  до 2 очков в зависимости от количества девушек. «Жюри» работало каждое утро за завтраком, и все должны были перед ним отчитываться...»

Автору романа надо было обладать большим граждансским мужеством, чтобы перед лицом сограждан, восхищенных внешним блеском своих спортивных идолов, вывернуть их наизнанку и наглядно показать их внутреннее убожество.

Но, читая «Закодированный круг», не делается вывода, что эгоизм и ограниченность изначально определяют будущие спортивные успехи человека. Скорее приходишь к мысли, что эти качества, очевидно,рабатываются и культивируются в человеке, когда он вступает в «большой спорт» и проходит долгую и трудную дорогу к его вершинам. Однобокость, неполнодоцентность, ущербность «золотых парней» — это не столько их вина, сколько беда. Общая картина развития «злитеенного спорта» в современной Норвегии, нарисованная Эфшином, убедительно это доказывает.

В конькобежных клубах и обществах существует своя иерархия, свое градиция. Верхушка составляет «звезды». Рядом с ними размещаются юноши, спортивные юноши и девушки, будущая надежда клуба. Потом идут «привлекательные» — бегуны, которые из года в год усиленно тренируются, но никогда не поднимаются до призовых мест. В общем-то никто толком не понимает, зачем они занимаются спортом. И, наконец, существует «аквариум» — отделение для детей школьного возраста. Они-то и попадают под красные параграфы спортивных уставов, где говорится о «физкультурной культуре для всех». Однако основная цель детских секций состоит не в том, чтобы обеспечить нормальное физическое развитие подрастающего поколения. Из «аквариума» надо выудить «золотую рыбку», талант, будущую знаменитость. Если же ребенок не имеет «золотой чешуи», то, когда он повзрослеет, его просто выплеснут из «аквариума» и забудут о его существовании.

Официальные ассоциации на спорт весьма скучны, и бюджеты клубов и обществ, особенно на периферии, трещат по всем швам, не хватает на самое элементарное, на самое необходимое. Надо пополнять кассу за счет сборов, привлекая на спортивные мероприятия возможно больше зрителей. Гут уж не ограничиваются принципами «массовости», «физкультурой для всех», не обойдясь без «звезд». А «звезды» стоят дорого, очень дорого и неизвестно, что выгоднее подготовить собственную «звезду» или переманить выдающегося спортсмена из другого клу-

ба. Опять в бухгалтерских книгах расходы превышают доходы. Приходится занимствованием средств из «частного сектора», у предпринимателей, которые используют популярность спорта и спортсменов для рекламы своих товаров. На тренировочных костюмах, на чемоданах и сумках появляется марка фирмы, которая оплачивает этот инвентарь. Казалось бы, это не так много, но назойливое мельчание эмблемы фирмы на беговых дорожках, на стадионах, в спортивных залах, где собираются массы «потребителей», делает свое дело и приносит прибыль, оправдывающую затраты менеджеров.

Коммерция и спорт. Спорт как доходное предприятие. Спорт как эффективная форма рекламы. Логическое завершение этой цепочки — открытый професионализм с его бессловесными гонорарами «суперспортсменам», завербованным из любительских клубов. Но и в любительском спорте, все более подчиняющемся экономическим интересам промышленных и торговых корпораций, уже господствует иной дух: «В список лучших спортсменов федерации, на которых делают ставку рекламщики, выделяя им повышенный процент вознаграждения, не попал Рагнар. Причина? Он участвовал в демонстрациях против присоединения Норвегии к Общему рынку и поднял протест спортсменов, осуждающих злонравия американской военщины во Вьетнаме и Камбодже..» Вообще отношения между ребятами испортились. Вся эта конспирация, все эти сделки за кулисами разоблачила их еще больше. Сколько заплатила федерация Юхану за то время, когда он был на тренировках и не получал зарплаты на работе? Сколько получил Тур за рекламу? Вопросов много, но отвечать на них никто не хочет. «Звезды» стали подозрительными и косо смотрят друг на друга. Руководитель Федерации, пользуясь этим, делают с ними что хотят... А в газетах, как и прежде, улыбки, товарищеские объятия, славящие интервью. Камуфляж, за которым идет большая игра».

В одном из публицистических отступлений, которым насыщен роман, Эфшин идет дальше — он пишет:

«Колесо истории катится вперед, но его колея не делает крутых поворотов. Королевский двор претерпел процесс либерализации, он стал, как у нас говорят, более демократичным. Правительство теперь не назначается, а избирается, критика стала более открытой. И все равно у нас еще есть общественный элиты, у нас есть придворные, финансовые тусы, директора концернов, священники, офицеры, государственные служащие, ученые, технократы. Они получили образование и занимают высокое положение. Они входят в круг избранных, в заколдованный круг, где сосредоточена власть... В заколдованием круге все чувствуют себя дразнями. У них даже общее хобби — спорт или, точнее, спортивные объединения, которые имеют немалую ценность с социальной точки зрения. Есть у них и некоторые средства, которые можно вложить в это дело... Принадлежат к этому кругу чрезвычайно важно. Тогда почти все можно «состроить» с помощью знакомств и связей: удобные должности, всевозможные льготы и отчисления, можно обойти все рогатки, которые устанавливаются многочисленными постановлениями, распоряжениями, инструкциями официальных учреждений. Войти в заколдованный круг совершиенно необходимо и руководитель спорта. Клубы, федерации вынуждены существовать за счет «устроенных» льгот, доходов от лотерей и рекламы. Если руководитель имеет радикальные убеждения, если он просто обыкновенный человек — это не годится. Президент, председатель, руководитель должен проникнуть внутрь круга, иначе его клуб, его общество, его федерация окажется банкротом».

Роман Эфшина многоплановый. Один из его герояев — безымянный средний человек, удел которого типичен в эпоху «элитного спорта».

«Сильное, крепкое тело — это благо. Оно создано для того, чтобы производить, напротив же, преодолевать сопротивление. Но громадное большинство людей в наш моторизованный век становится физически пассивным. Тело превращается в славку мусора, мучает, как нечистая совесть, как зубная боль. Люди представляют спорт «звездам», специалистам по части «телеесной культуры», а сами «занимаются» им, так сказать, во вторых руках. Какой матт показывают сегодня по телевизору? Сядись в кресло и смотри. У всех теперь напряженная работа, денежные и прочие заботы. Когда приходишь домой, хочется расслабиться, и люди делают это слишком буквально. Включают телевизор и смотрят, как занимаются спортом другие...»

«Его пронизывает промозглый холод, будто замерзло само сердце. Он сходит с трамвая, открывает двери и слышит, как кто-то спрашивает: «Это ты?» Да, да, это я, кто же еще! «Много было работы?» Конечно, а как же еще! Вот он, человек, подобный тысячам других, у себя дома. Квартира из трех комнат, жена, дети. Он еще не пришел в себя после рабочего дня, перестройка происходит постепенно. Потом возникает чувство усталости. Усталость пропитывает все мысли: разве это жизнь? Да, никак да от необходимости не денешься, так живет он, так живут другие. В общем-то все у него «кэйз». На земле немало мест, где люди живут хуже. Разве что — пищеварение, врач говорил о возможной язве желудка, это не способствует хорошему настроению. Вот придумай бы способ прямого вырискования питательных веществ в организм, как вприскивается топливо в цилиндры мотора на «мерседесе» последнего выпуска. Чертва с два накопила деньги на такую автомашину! На телевизор, правда, деньги нашли. Без голубого экрана не обойтись, особенно во время спортивного сезона. А сезон продолжается круглый год...»

— Ну, что вы загораживаете мне телевизор? Разве видите, что передают репортажи о коньках? Смотрите, как О-П прошел поворот! А температуру будет давать интервью. Слушайте же!

Он одинокий человек... Для него ничто уже как будто не имеет смысла. Все только чего-то требуют от него. Дома он бывает всегда усталый, изможденный. Все, к чему хотелось бы стремиться, недостижимо, это можно увидеть только по телевизору... Никто не обращает на него внимания, никто ему почты не улыбается: ни начальник отдела на работе, ни жена, ни дети. Вот на экраниве другое дело. Дикторша дарит лучезарную улыбку и в начале и в конце программы Государственные деятели обращаются непосредственно к нему. Спортсмены бегают, пригнут, сражаются, отвечают на вопросы — для него. Когда он вечером нажимает кнопку, и изображение на экране скажется и исчезнет, в душу вновь закрадывается промозглый холод. Во все цели впlopает одиночество. Тюремщик запер ворота до завтра...»

В середине романа на сцене появляется новая героиня — Нина, молодая женщина со сложной личной судьбой. Она прошла трудный путь от наивного бунтарства к более правильному пониманию процессов, происходящих в капиталистическом обществе. Нина говорит О-П:

— «Понимаешь, спорт — это политика, и ты, выходят, занимаясь политикой, хочешь ты этого или нет... Спорт в Норвегии представляет собой массовое движение, при помощи которого людям прививается эгоизм и вдабливается буржуазное мышление. Согласно этой философии, смысл жизни в том, чтобы люблю ценой пробыться к цели и выигрывать. Вы,

суперспортсмены, становитесь идеалами. С вашей помощью людей заставляют принимать мир таким, как он есть, не думая. Им говорят: посмотрите на О-П! Разве плохо быть такими, как они?..

— Нет, какого черта! Что ты нашла плохого в эгоизме? — возражает Ниине О-П. — Если лягушек лишить полового инстинкта, то они вымрут. Если лишить людей эгоизма, то ред людской деградирует.

— У людей есть стимулы к совершенствованию, развитию и самоутверждению, которые лежат на колективной, а не на индивидуальной, эгоистической основе. Эгоизм превращает большинство людей в неудачников и лишает незначительное меньшинство — в победителей. Если кто-то богат, то остальные бедняки. Эгоизм порождает несправедливость.

Только не для меня, когда я побеждаю. Такова уж игра, называемая жизнью.

— Такова игра в буржуазном обществе. И ты играешь в нее пока не пело. Ты пробиваешься, ты наступаешь без зазора совести другим на ноги, ты фальшиво улыбаешься с экрана телевизора и печатных страниц. По большому счету все это представляют собой солидную политическую силу: хочешь жить, так умея крутиться, умея рваться вперед, умея выигрывать. Дух большого спорта насквозь капиталистический.

В дальнейшем герой романа не раз вспоминает и эти и многие другие слова Ниини. Он «сошел» на пятое место в элите, перетренировался в летние месяцы, готовясь к новому сезону, и, выступая прорубленным на крупных соревнованиях, сорвался: его унесли со стадиона на носилках. Это был конец О-П. Вместо него в мухах и страданиях вновь появился на свет тот, кого в детстве и ранней юности звали полным именем — Оле Педер Бентсен.

Ему пришло оставить уютную должность «ассистента», распрошаться с недорогой квартирой, поступить на завод простым рабочим. Оле забыли покровители, товарищи по конькам, хозяева коммерческого «цирка», пытавшиеся в свое время переманить его в профсоюзные. Но жизнь, оказывается, не когчается за пределами «элитарного спорта», вдали от «закодолванного круга». Оле входит в заводскую среду, принимает участие в работе спортивного клуба предприятия, знакомится с прогрессивными представителями профсоюзной организации и социалистически настроенными рабочими. В это время он встречает Юрун, которая, не выдержав «вдохновения» доли, ушла с двумя малышами от мужчины-суперспортсмена. Молодые люди обнаруживают много общего во взглядах и решают соединить свою судьбу.

А ближайшим другом Оле теперь становится руководитель профсоюзной организации завода, кадровый рабочий Фред. Решияющий перелом в мировоззрении Оле произошел, когда в знак солидарности с бастующими рабочими он отказался от предложенной директором завода поездки в родной город Хамар на соревнования, где он мог бы вновь встретиться на дорожке с сильнейшими конькобежцами и почтываться себя в большом спорте. Администрация уволила за это Оле под благовидным предлогом, но профсоюз добился его восстановления на работе.

«Прошло несколько месяцев. Внешне за этот первый не случалось никаких событий. Оле нужно было время, чтобы разобраться в самом себе. Еще были сомнения, точнее, неуверенность. Он довольно много читал по совету Фреда книг по диалектике, истории. Чтобы уметь анализировать, надо много знать... Оле думал не только о политике, но и о спорте. Спорт на производстве может служить не интересам хозяев, а интересам рабочих, сказал Фред. И они стали

составлять планы, как добиться этой цели. Во-первых, заводской клуб должен быть экономически независимым от администрации. Во-вторых, занятия в нем должны проводиться регулярно, а не от случая к случаю. В-третьих, спортивная работа должна быть связана с просветительской, с обсуждением социальных проблем и роли спорта в обществе... Ни Оле, ни Фред не думали, что спорт, взятый изолированно, может стать «социалистическим». Но он может по крайней мере стать «критическим». И начинать надо с конкретных действий на своем заводе...»

На одной из последних страниц романа Эфшин пишет такую символическую сцену:

«Банкет федерации конькобежного спорта после зимнего сезона (на котором в качестве гости присутствовал Оле. — М. Т.) проходил как частвование новой «звезды» — Юханы...

Недавно Оле прочел в газетах, что рабочие одного завода после успешной «дикой» забастовки преподнесли ее инициатору и руководителю букет цветов. Он разорвал ленту и раздал букет по цветочку своим товарищам по работе и по борьбе, сказав: «Мы идем все вместе, одним путем».

Очередной оратор на банкете федерации после изысканной речи преподнес Юхану цветы и кубок. Юхана поднялась, помахала подарками над головой, налила в кубок пива и сунул туда цветы. Он сказал: «Спасибо! — и сел на свое место. Здесь каждый сам за себя, здесь каждый одинок».

Мы позвонили из «Юности» Лассе Эфшину в Осло и написали его в радиологическом центре.

— Вам роман только что вышел вторым изданием...

— Да. Роман вызвал оживленную дискуссию. Как можно было ожидать, спортивные руководители и часть спортсменов отнеслись к книге отрицательно. Наиболее реакционные органы печати не пропустили извратить факты и даже оскорбить меня. Но я получаю много писем, авторы которых поддерживают высказанные мною идеи.

— Как продвигается ваша научная работа? Какие у вас планы на будущее?

— Сейчас я отдаю работу в свою лабораторию значительнее больше сил и энергии. Мне хотелось бы как биохимику внести свой вклад в разработку методики лечения злокачественных опухолей. Я сейчас больше уделяю внимания и своей семье. Моя жена тоже много работает, сыну уже пять лет. Ставят ли я на конькобежцем? Не знаю. Сам я регулярно тренируюсь и сохраняю форму: не хочется совсем бросать спорт...

— А в печати появились сообщения, что вы «поселили коньки на гвоздь»?

— Да, я говорил об этом после декабрьских соревнований на приз Оскара Матисена...

— Желаем вам всего наилучшего.

— Спасибо. У меня к вам просьба. Пришлите мне номер «Юности», где будет опубликован рассказ о моей книге. Мне очень приятно, что моя книга вызвала интерес в вашей стране.



# ПРИДИТЕ К ЖУКОВУ

Сквозь большие окна, выходящие во двор, не проникал шум улицы Горького. И в просторной мастерской было очень тихо.

Альбина Феликсовна Жукова была грустна и приветлива.

— Так непривычно не слышать здесь голоса Коленки: «Альбина, где бумага? Альбина!..» Он умел мгновенно вспугивать тишину.

Народный художник СССР Николай Николаевич Жуков — автор широко известных портретов Ленина, великолепных детских рисунков, работ о войне, тонких акварелей — умер недавно, и в мастерской все сохранилось так, как было при нем.

На скамье в углу мастерской лежит огромный, причудливой формы каравай хлеба, извеично добрый знак гостеприимства. Этот каравай и расшитое полотенце — подарок жителей деревни Жуковка под Питтингским, где все носят фамилию Жуковых и куда были приглашены Николай Николаевич и Альбина Феликсовна.

На стеллажах, на столе, на стиринном русском ларе (подарок дочери Третьякова) — множество трогательных знаков благодарности от самых разных людей из самых разных городов и стран.

И, конечно, главное в мастерской — работы художника: сотни эскизов, карандашных зарисовок,



набросков, портретов, акварелей... На одном из столов — альбомы reprodukций: иллюстрации к книгам, наброски, сделанные на Нюрнбергском процессе, плакаты, листовки военных лет... И среди всех работ — последние: внуки Жуковых. Вообще Николай Николаевич не испытывал недостатка в моделях для детских рисунков: свои ребята, а в последние годы — внуки.

О художнике говорили, что он успевает сделать за один день столько, сколько по силам обычному человеку за три-четыре дня. Он мало спал, и день его никогда не знал пустот. Он не только без устали рисовал, но еще и писал. И теперь целую полку занимают толстые и тонкие записные книжки: дневниковые записи, рассказы, очерки. Лишь небольшая часть их была опубликована при жизни художника.

Н. Жуков почти не писал маслом, он говорил, что пока у него нет времени, «вот когда буду ста-

рым, тогда...». Художник испытывал потребность фиксировать в своих рисунках жизнь ежеминутно; в сущности, и его дневниковые записи — взрывованный рассказ о каждом прожитом дне.

Н. Н. Жуков совсем немного не дожил до своего юбилея: почти 30 лет возглавляла он Студию военных художников имени Грекова.

Несколько полок в мастерской заполнено впечатительными папками с письмами художнику и книгами отзывов с многочисленных выставок. Абсолютно большинство этих искренних признаний заканчивается словами: «Спасибо Вам, дорогой Николай Николаевич, за Ваше доброе искусство».

Недавно было принято решение Советского правительства: сделать мастерскую народного художника СССР Н. Н. Жукова мемориальнойной при Студии военных художников имени Грекова.

И в первых: последняя работа Н. Н. ЖУКОВА

Г. ГРИНЕВА

# ТРЕТЬИЙ БОГИ

Когда мне звонят незнакомые люди, в происходящем я ведаю вроде следующего:

— Говорят из Издательства художественной литературы. Мы слышали, что вы вырываете при поисках недостающей биографической подробности. У нас выходит книга, где упоминается писатель Александра Рославлев, но мы не можем сообщить в примечаниях, когда и при каких обстоятельствах закончилась его жизнь.

— Не кладите трубку. Через минуту я смогу сказать, имеется ли такая запись... Да, кое-что есть... Александр Степанович Рославлев, член большевистской партии, умер от брюшного тифа 2 ноября 1920 года в возрасте тридцати восьми лет. Только не могу уточнить, где — в Екатеринодаре или Краснодаре.

— Простите, но ведь это один и тот же город.

— Разумеется. И именно в год смерти Рославлева он был переименован. Но для точности в тексте публикуемой вами справки проверьте дату переименования Екатеринодара, и если такое произошло до второго ноября, то пишите, что Рославлев умер в Краснодаре. А то...

— Что «а то»?

— А то можете дописаться до того, до чего одна газета уже додписалась, сообщив, что Горький родился в Горьком.

Иными, даже вполне интеллигентными людьми скрупулезная точность представляется излишней в изложении сведений даже о Пушкине, а не только о Рославлеве. Инженер придет в ужас от малейшей ошибки в расчете креплений. Прозивор может ответить по суду за несоблюдение дозы сильнодействующего средства. Астроном исчислит, что отклонения пущенного по прямой тела на тысячу долю сантиметра при первом километре пути приведут к отклонению на тысячи километров уже на полпути к ближайшей звезде. А вот хронология якобы не нуждается в точности.

Нередко приходится сталкиваться и с таким представлением, что, мол, прошлое интересно только особо крупными своими фигурами, а поднимать из забвения «другие миорес» («малых» или «вторых богов», как называли рамзяне менее влиятельных небожителей) — трудное дело.

Мне же кажется, что полезно помнить даже и «третьих богов». Вот, скажем, молодой Чехов неоднократно упоминает в своих рассказах какого-то психиатра Чижка, но даже старейшие москвичи, которые «все знают», не объяснят вам, что это за Чиж, неоднократно привлекавший внимание великого писателя. Попутно скажу, что Владимир Федорович Чиж никогда не стигнул из столицы, сменяв ее на уездный Юрьев, крупным профессором университета которого был многие годы А. Гамашин житель, читая Чехова и зная Чижка, даже гордясь им, не очень соображали, что это и есть «тот самый чеховский Чиж».

Из коллекции В. К. Покровского.  
На этой фотографии 80-х годов прошлого века юноша

А. В. Амфитеатров (справа) — в студенческие годы, известный фельетонист, автор многих романов, — и муж его сестры Виктория Бицелевская. Пасек — в ту пору сотрудник легкомысленного «Бульварника», а в зрелости — мученик борьбы за академическую свободу: осужден в 1905 году ректором Юревского университета, он допустил для студентов слушанию лекций и разрешал студенческие склонки, за что был судим и осужден правительством; процесс длился семь лет — до смерти обвиняемого в 1912 году.

Гиляровский не в меньшей мере, чем самыми эффективными из своих репортажных подвигов, гордился тем, что помог гоголеведам уточнить на один сутки дату рождения автора «Ревизора». Уточнились даты рождения и М. Горького (до революции считалась 1869-й, но критик Львов-Рогачевский выяснил, что истинная дата — 1868-й) и Маяковского (первый установлен 1893 год, ранее сам поэт считал 1894-й).

Если о людях столь недавних и столь знаменитых, как Маяковский, получают публичное распространение ошибочные сведения, сколько же таких ошибок и маленьких (но и не маленьких) тайн осталось от отдаленного прошлого в биографиях «вторых» и тем более «третьих богов»!

Много путаницы бывает при уточнении места рождения человека, если он родился в небольшом городе. Административное деление неоднократно перекраивалось. И если Чапаев перестал считаться «саратовским», а стал «чувашским



ским» потому, что найдены новые данные о подлинном месте его рождения, то, например, А. Н. Толстой был «самарским», а стал «саратовским» не из-за того, что нашлись новые данные, а просто потому, что родной его Николаевск (Пугачев) перешел из Самарской губернии в Саратовскую область.

А есть и такие, которых родились «нигде». То есть невозможно указать никакого определенного пункта. Таковы футурист Василий Каменский, родившийся на камском пароходе, и актер Ваграм Папазян, родившийся на пароходе, шедшем в Константинополь.

А между тем очень хорошо, когда в той или иной области, крае, республике считают человека «своим», особо чтут его память, собирают о нем материалы. Ведь мир интересуется Альвом Толстым, но Тульцина особенно. Псковщина всегда особо внимательна к каждой детали, связанной с Пушкиным, здесь долго жившим и похороненным.

Но я лично считаю, что та область (край), на чьей территории началась жизнь известного человека, должна считать его «своим», даже если в ней он не совершил ничего значительного. Когда однажды из Винницы (на территории этой области родился Некрасов) мне довольно раздраженно ответили, что я, мол, напрасно «навязывал» им этого поэта, я тоже не без щедрства им написала, что

их позиция особенно потрясла бы память о Ломоносове: хотя он ушел из родных мест еще юношей, им справедливо гордятся в Архангельске.

И следующий вопрос: кого же и за что надо помнить?

Я бы отвечал так: в первую очередь хороших людей, и чем больше сделал человек хорошего, тем более следует его помнить. Но знать надо и дурных, если они сыграли хотя отрицательную, но заметную в том или ином отношении роль. Разве забыты мы имя Данте, какое бы негодование ни воззбудил нас это роковое имя?

Понятно скажу, что мы как-то недооцениваем память о практических деятелях. Бывает, идешь по улице и видишь мемориальную доску, возвещающую, что в этом доме жил такой-то писатель, хотя писатель-то этот был не особо значительным. А вот о том, что тут же обитал, скажем, известный инженер или директор громадного завода,—не вспоминают.

Если ты собираешь биографические факты, работа поставит перед тобою и еще другие вопросы.

То запутавшееся среди А. И. Введенских — не менее десятка носителей этой фамилии именно с такими инициалами будут проситься в твой список, включая одного митрополита, когда-то приватопоставленного себя всей официальной церкви.

То встанут перед тобою и будут все множиться люди двух, а то и трех сфер, в каждой из которых они имеют основание быть отмечеными. К классическому примеру химика-композитора Бородина можно привлечь астронома Глазенапа, который был и авторитетным пчеловодом, автора трудов по баллистике Б. Смирновского, с примечанием, которого выходил книга стихов Веневитинова и рассказ Надежды Дуровой. А темор Мариинского театра А. Александрович — это то же лицо, что автор книги по зоологии А. Покровский.

Есть и довольно многочисленная группа людей, о которых мы хотели бы иметь представление, хотя сами они не совершили ничего значительного. Это, так сказать, люди пассивной известности, поставленные в необычные обстоятельства. Таков, например, занявший трон лишь в раннем младенчестве император Иван Антонович, вокруг которого плелась сложная интрига в течение всей его жизни, проведенной в заточении.

Многие годы я посыпал библиографии. Мне идет уже восьмой десяток, но моя картотека по-прежнему крайне неполна, хотя каждый день обогащается чем-нибудь новым.

Владимир  
ПОКРОВСКИЙ

# В ТРУБЕ— КАК В СКАЗКЕ

— П рислушайтесь, вот он идет, сказал конструктор Юрий Чимблер.

В огромной трубе, которая, казалось, упиралась прямо в горизонт, я услышал глухой шелест, но он быстро замер вдали. Не верилось, что это был звук прошедшего на полной скорости многотонного грузового состава.

Образценно, что если отполировать внутреннюю поверхность

трубы, то по ней под давлением воздуха могут легко скользить различные цилиндры. Пневмосистемы упоминаются еще в романах Бальзака. Но то, что удалось создать инженерам в одном из каменных карьеров в грузинском поселке Шушеври, даже специалистам понапацу казалось чудом. По обыкновенной (не полированной внутри) трубе каждые несколько минут проходит—без двигателя!—состав весом в 25 тонн, груженный песком и щебнем. Для его движения на горизонтальном участке пути требуется лишь давление воздуха в... семи сотых атмосфер!

Удивительно? Только на первый взгляд. За всем этим скрывается органическое инженерное решение. Исследователи учили, что главным препятствием при транспортировке сильных грузов по трубе служит непреложимый закон трения. Твердые частицы быстро разрушают и без того дорогостоя-

щую «полированную дорогу». А что, если поставить цилиндры на колеса? Эта идея, родившаяся у инженеров московского специального конструкторского бюро «Гранснефтехиматика», дала удивительный эффект. Она и легла в основу создания первой в нашей стране промышленной пневмотранспортной системы.

Преимущество подобных дорог очевидно. Трубопроводному транспорту не страшны ни дожди, ни вьюги, его путь может проходить по дну рек и озер, по горам и болотам (недаром разработками московских ученых заинтересовалась нефтегазовая компания «Тюменьнефть»). Так как колеса пневмовоза одеты в резину, сосат в трубе движется абсолютно бесшумно — значит, линии в черте города не надо закапывать глубоко в землю. Кроме того, пневмотранспорт совершенно не загрязняет окружающую среду. Даже наоборот — по трассе, которая соединяет, к примеру, город с

зоной отдыха, будет в одном направлении идти задымленный уличный воздух, а возвращаться свежий, хранящий еще запах трав и леса.

Надо сказать, что советскую лицензию на систему пневмотранспорта, предназначенного для доставки в контейнерах различных сыпучих грузов и бытовых отходов, уже купила японская фирма «Сумитомо седзай».

Следующий этап работы конструкторов трубопроводного транспорта — создание комфортабельных пассажирских пневмоавтобусов. В СКБ «Транснефтеавтоматика» я перелистал толстую папку

с результатами разработок технико-экономического обоснования строительства подобных линий. Ученые уже провели кропотливые исследования на предполагаемом первом участке подмосковной пневмоТрассы — от железнодорожной платформы «Малино» до Зеленограда. «Эксплуатировала» состав из 10 вагонов, вмещающих по 125 человек. Оказалось, что пассажирские пневмоавтобусы со своим экономическим показателем и пропускной способности превосходят другие виды городского общественного транспорта.

В этой работе уже участвуют и

специалисты институтов Генерального плана столицы и «Мосинжпроекта». В совместных усилиях вырисовываются контуры будущей уникальной дороги, конструкция пневмоавтобуса. Так, на трассе предполагается построить четыре станции с двусторонними пассажирскими платформами. Герметичные цельнометаллические вагоны экспресса оборудуют кондиционеры. Расчетная скорость такого поезда — от 40 до 90 километров в час. Он будет незаменим на трассах «малого метро», радиусы которого свяжут центр Москвы с зонами отдыха.

А. РАЗИН

## СЦЕНА, КОТОРУЮ Я ОСВЕЩАЮ

Б от уже который месяц я со страхом жду этого момента: сейчас я нахожу какую-нибудь книжку или поверну какой-нибудь рячаг, и все полетят к черту: погаснет свет, или, наоборот, здание всхухнет, запылает под аккомпанемент пожарных сирен... Опасения эти, наверное, не скоро покинут меня, хотя до сих пор все идет нормально, и когда раздвигается занавес, мне удается вовремя высветить появление Электры или выход Ореста. Но какой же рок закинул меня — журналиста, театрального критика — скота, к пылью осветителя сцены?

Эту уличку в Тбилиси обычно кличут по старинке: Собачий переулок. Десять лет назад я впервые поднялся по лестнице расположенному здесь Дому культуры и когда, казалось бы, уперся под самую крышу и уже решил вернуться, так и не выполнив редакционного задания, обнаружил лестницу типа пожарной, ведущую на чердак. Здесь в закутке проводила свои первые репетиции студия пантомимы, организованная

Амираном Шаликашвили — молодым актером Театра музкомедии имени В. Абашидзе.

И уже с того первого дня знакомства я стал служить этой студии не только своим первом, но и участником всех эти годы в поисках помещений для репетиций и в поисках средств, чтобы можно было приобрести костюмы, музыкальную аппаратуру, напечатать афиши...

Наконец студия пантомимы была преобразована в профессиональный театр при Грузинской государственной филармонии (теперь Шаликашвили репетирует уже не на чердаке, а... в подвале



На сцене Амиран Шаликашвили.

Дома железнодорожников!). Первый спектакль — «Мечта и реальность» — вобрал в себя новеллы различного звучания: лирические, драматические, комистические. У грузинских мимов уже вырабатывается собственный стиль исполнения. Вместо мягких линий и плавных переходов традиционной европейской пантомимы у нас углы, треугольники, резкие переходы от неподвижности к движению. В древних храмах у стен с фресковой живописью, в музеях у картин Нико Пирсомани порой проходят репетиции театра.

Программной работой театра стала сценическая интерпретация сюжетов Галактиона Табидзе «Могильщика». Выдающийся французский мим и режиссер Жан-Луи Барро сказал однажды, что секрет трагической пантомимы сегодня утерян. Так вот одна из главных линий нашего театра — именно поиски пантомимы трагической. Вслед за «Могильщиком» началась подготовка спектакля по «Электре» Еврипида. Премьера «Электры» состоялась прошлым летом. В тот день актрисы Кире Мебуке — нашей Электре — исполнились двадцать один год. А средний возраст актеров труппы — двадцать лет.

Эти строки я пишу в Москве на исходе длительного туриза театра по пятнадцати городам России. Все эти месяцы я работал над пантомимическим вариантом пьесы Чапека «Белая болезнь» — ближайшей постановки театра. Но, простите, раздвинулся занавес — надо высветить появление Электры...

Ираклий  
ХИМШАШВИЛИ



**Виктор  
ДЕНИСОВ**

Б сякий писатель старается проложить свой особый, неповторимый путь в литературе... За многие века явилось великое множество родоначальников новых литературных форм, течений, направлений. Но никакие литературные ухищрения не спасали их от запограммированного раз и навсегда описания заурядных явлений, занимающих тем не менее важное место в жизни людей. И если в начале повествования юноша надевал парадное платье и, почитав перышки, перво вылетал с цветами из родительского гнезда (пещеры, хижинки, княжеского дворца или кооперативной квартиры), читателю становилось ясно, что он шел объясняться в любви. А раз сразу ясно, значит, нечтабельно.

Так и кочуют из повести в повесть уставшие железобетонные конструкции.

Где же выход из тупика?

Выход есть. Нужен поворот. Чуточку фантазии — и очальное, заурядное явление вдруг ошеломляет читателя, щедро возносит его на щедрастую первооткрывателя.

#### ПОВОРОТ № 1:

**А если это любовь?**

**Н** скротимое чувство мести склокотало в душе Венцы Ноева, известного в известных кругах под кличкой Ковчег. Источником непроходящего чувства была легкомысленная девица

Рисунок  
И. ОФФЕНГЕНДЕНА

# ОЗОРНЫЕ ПОВОРОТЫ

(Пособие для молодых литераторов)



Верка Фанеркина, которая, как нарочно, маячила перед глазами и колективу улыбалась.

— Изменница! — бушевал внутренний голос Венцы Ноева душой. — На кого променял! На этого слюнявого дистрофика, с которым даже Хромой Бизон никогда не здороваешься за руку? Ну, нет! Ты меня запомниши, авульчина! Убивать таких мало...

— Да, убивать! — решительно и зло прошептал Ноев-Ковчег, прицелившись в светлый Веркин профиль...

— Это не метод! — вдруг прозвучал сурвый мужской голос и очень серьезно добавил: — Сдать оружие — и вон отсюда!

Растерявшийся Ковчег бросил рогатку на учительский стол и обреченно выскочил из полуоткрытую дверь класса...

«Онть родителей вызовут», — тоскливо подумал он.

#### ПОВОРОТ № 2:

**Самый  
счастливый день**

**Н** е успел я сковырнуть галоши, как протохерей Федор сразу взял меня за рога. Видимо, был предупрежден о цели моего визита.

— Вера поможет найти тебе счастье! — загремел отец Федор. — Вера и горы с места сдвигут! Вера

спасает! Вера животворит! Веру переменил — не рубашку перешеготы! Ее нужно по всей жизни факелом пронести! Готов ли ты на такой подвиг?

— Боягину готов, — смириенно ответил я и не сорвал.

— Ну, черт с тобой, — сказал отец Федор, — благословляю. Женись на моей Верке, и чтобы духу вашего...

Вера стояла в дверях и загадочно улыбалась.

#### ПОВОРОТ № 3:

### Во вторник вечером...

**С** ледоватому по особо важным делам, капитан милиции Сергей Воропаев осторожно поднимался по ступенькам лестничной клетки. На все управление славился он неслыханной походкой и сейчас с радостью сознавал, что именно она обеспечит ему внезапность появления.

В полу暗闇е площадки четвертого этажа Сергей привычно нащупал в двери замочную скважину и бесшумно вставил в нее ключ, предварительно сунув руку в задний карман брюк.

Раздался чуткий щелчок, дверь без скрипа отворилась. Одновременно капитан поймал себя на мысли, что не был в этой квартире с тех пор, как закончил следствие по делу валютичка и похищению музеиных картин Вано Гогина.

«Крепкий, однако, был орешек», — незлобиво отметил капитан, без суеты прикрыл дверь. Правая рука его по-прежнему покосилась в заднем кармане брюк.

Затеменная квартира встретила Воропаева тревожной тишиной.

Внезапно яркий свет озарил прихожую, и дребезжащий, старушечий голос удовлетворенно произнес:

— Попался, голубчик! Молод ты еще меня, старую, обманывать.

— Здравствуйте, мама, — смущался капитан, — с днем рождения вас... — И вышел из заднего кармана футляр с золотыми сережками.

Громкая трель звонка возвестила о прибытии первых гостей.

Все вышеперечисленное — лишь образы поворотов, с помощью которых можно завуалировать любые пустячки, необходимые в добродушной повести. Повышение уровня читабельности в ваших руках. Желаем успехов, и... осторожнее на поворотах!

### Миермилис СТЕЙГА

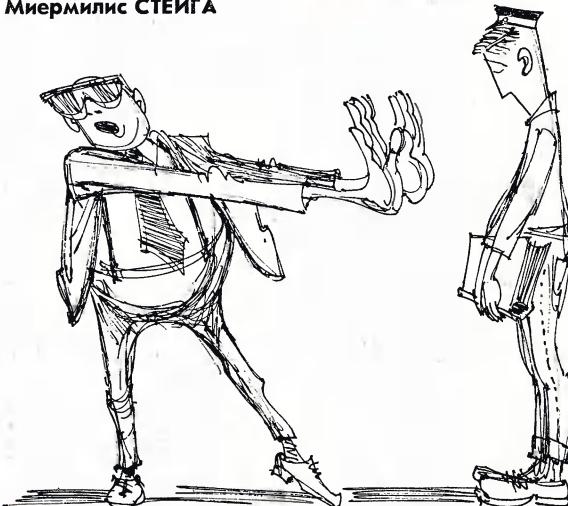


Рисунок И. БРОННИКОВА.

### Чтоб не подумали...

**Д**ядюшка Имант настойчиво советовал мне поступить в институт, которому он посвятил тридцать лет своей жизни.

— Знаю, голова на плечах у тебя есть, — сказал он, — а все остальное приложится. Учи, все преподаватели — мои друзья. Сдай только вступительные экзамены и можешь считать, что диплом у тебя в кармане.

Дядюшка убедил меня, и я поступила.

Накануне первой экзаменационной сессии он напутствовал меня:

— Помни, твой дядя — уважаемый человек в институте. Готовься старательно! Твой позор — это мой позор!

И я старалась.

Первым был экзамен по математике. Я ответил почти на все вопросы и решил довольно сложную задачу. Задумчиво почесывая переносицу, донец нахмурился:

— Молодой человек, я мог бы со спокойной совестью поставить вам четверку. Но близкому родственнику нашего высококлассного коллеги следует учиться только на

пятерки. Идите и отшлифуйте свои знания!

— Отвечали вы блестящие! — восторженно воскликнул физик. — Однако до сих пор почти никто не сдавал мне экзамен с первого захода. А вы племянник нашего дорогого Иманта Груздина. Что могут подумать люди? Приходите еще раз недельку через две.

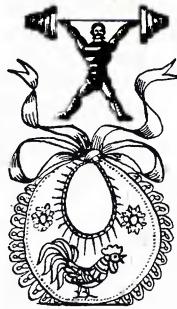
В полном отчаяния я пришел к дядюшке Иманту.

— Что ты, что ты! — замахал он руками. — В своем ли ты уме? Провалился на всех экзаменах и хочешь, чтоб родной дядя своей рукой поставил тебе положительную оценку! Да меня же за это...

— Гм, да, — укоряющее покачал головой декан, — не будь вы родственником Груздина, я бы мог, пожалуй, отсрочить на несколько недель передачу экзаменов. Но в данном случае непрятности мне гарантированы...

И он подписал приказ об исключении меня из института за неуспеваемость.

Перевел с латышского  
Ц. МЕЛАМЕД



# Каков вопрос — таков ответ



## 3. ФЕЙЗУЛЛАЕВ Из жизни замечательных людей

— Вот вы, девушки, хотите взять Петя замуж, говорите, что любите его, но только я знаю, какой за них уход нужен. Он спать должен ложиться в восемь часов, будить его надо в восемь утра. А ночью не дай бог! Шум какой-нибудь будь, и он проснется, или, еще хуже, он спать будет, а вы свет зажигаете — это для него смертны! А есть он может только не очень сильно поджаренное, в суп ему нужен укроп и соли совсем немного, а по утрам обязательно яичко всмактику (две минуты варить надо), на ночь — стакан молока, соки, чтобы витаминов достаточно получили... И следить надо, чтобы тепло он одевался, иначе простудится и заболеет, чтобы обувь не жала, а то мозоль натрет, чтобы тяжесть не таскал, а то переутомится, и чтобы никогда сырой воды не пил, а то в больницу попадет... И смотрите, чтобы руки мыл перед едой, и чтобы не нервничал, и чтобы в носу не ковырял, и чтобы...

— А вы простите, сами-то кто? Кем ему приходится?

— Я. Я Петенкин тренер. Ведь он у нас чемпион города по штанге.

г. Баку.

Александр Вус, г. Волгоград

Дорогая Галка!

Мне уже 19 лет, но до сих пор никто не обращает на меня должного внимания. Я даже усы отпустил и пользуюсь одеколоном «Русский лес», но и это не помогает. Посоветуй, что делать.

ОТВЕТ:

Дорогой Саша!

Покрась усы в малиновый цвет, одеколон замени на шатрыным спиртом, и все сразу на тебя обратят должное внимание.

Галина Пец, г. Благовещенск

Дорогая тезка!

У меня веснушки. Одному мальчику, который мне нравится, они нравятся, а другому, который мне тоже нравится, они не нравятся. Как мне быть? Выводить веснушки или нет?

ОТВЕТ:

Дорогая тезка!

Выведи веснушки на той половине лица, которая нравится тому мальчику, которому веснушки не нравятся, а на той половине, которая нравится тому, которому веснушки нравятся, можно оставить как есть.

Алексей Кев, г. Каражал  
Мила Галочка!

Что мне делать? Ты с каждым днем нравишься мне все больше и больше. Я даже пробовал не

читать журнал «Юность», но и это не помогло. Еще раз спрашиваю: что мне делать?

ОТВЕТ:

Милый Лешечка!

Попробуй теперь не почитывать 16-ю полосу «Литературной газеты», может быть, тебе понравится Евгений Сазонов.

Вера Мава, г. Саратов

Уважаемая редакция!

Я очень люблю стихи Сергея Есенина. Но одни говорят, что у него было 5 жен, а другие — 7. Помогите мне разобраться в этом вопросе. Жду ответа.

ОТВЕТ:

Уважаемая Вера!

Ты все перепутала. Не семь жен, а семья невест. И не у Сергея Есенина, а у ефрейтора Збуруева. В остальном все верно.

Таня Кв, г. Печора

Дорогая Галинка!

Мне очень хочется узнать, был ли любовь с первого взгляда. В нашем классе все разделились на две равные части: одна считает, что есть, другая — что нет. Кто прав?

ОТВЕТ:

Дорогая Танюшка!

Вопрос сложный. Его можно решить только перетягиванием каната.

Александр ИВАНОВ

# ПАРОДИИ

## Хлопцы и шекспиры

Не надо, хлопцы, ждать шекспиров,  
Шекспиры больше не придут.  
Берите циркули, сениры,  
Чините перья — и за труд.  
..Про Дездемону и Отелло  
С фуфайной ватной на плече.

(Михаил ГОДЕНКО)

Не надо, хлопцы, нам шекспи-  
ров,  
Они мой вызывают гнев.  
Не надо гениев, кумиров,  
Ни просто «гениев», ни «евг».

Неужто не найдем поэта,  
Не воспитаем молодца,  
Чтоб сочинил он про Гамлета  
И тень евнового отца!

Да мы, уж кола такое дело,  
Не хуже тех, что в старину.  
И мы напишем, как Отело  
Зазря прихлопнуло жену!

Все эти творческие муки  
В двадцатом веке не с руки.  
Все пишут нынче! Ноги в руки,  
Точи секиру и сечи!

Вот как навалимся всем миром,  
Нам одивочки не нужны!  
И станем все одним Шекспиром.  
Как говорится, все равны!

## Бег внутри

Я славлю — посреди созвездий  
в последних числах сентября —  
бег по земле, и бег на месте,  
и даже бег внутри себя.

(Лев СМИРНОВ «Ода бегу»).

Поэт сидит, поэт лежит,  
но это ничего не значит,  
внутри поэта все бежит,  
и как же может быть иначе?..

Бегут соленые грибки,  
бежит, гортани лаская, водка,  
за неё, естественно, селедка,  
затем — бульоны и пирожки.

Потом бежит бифштекс  
с яйцом,  
бежит компот по пивовару,  
а я с ликующим лицом  
бегу слагать о беге оду.  
Бежит еда в последний путь,  
рифмуясь, булькам играя,  
не замедляя бег пера я...  
Глядишь, и выйдет что-нибудь.

## ОНИ НАЧИНАЛИ В «ЮНОСТИ»

...Инженер по глубокому  
бурению Владимир Павлинов [р. 1933], стихи которо-  
го сегодня публикуются на  
стр. 87, пять лет работал в  
Каракумах на строительстве  
газопровода. Впервые был  
напечатан в журнале  
«Юность» в № 5 за 1956  
год.

Открываем «Юность»...  
На нас смотрят лицо юно-  
ши, а под фотографией —  
первое печатное стихотво-  
рение «Книги и дороги».  
«Молодой поэт, комсомо-  
лец, студент Московского  
нефтяного института Влади-  
мир Павлинов, — читаем во  
вступительной заметке, —  
работал на Алтае... Стихи  
В. Павлинова печатаются  
впервые...»

Подождите, книги, до зимы:  
я к зиме вернусь из Колымы.  
Если поброшу да погляжу,  
я и сам спою или скажу...

Сегодня он автор поэти-  
ческих сборников «Общежи-  
тие» [совместно с другими  
молодыми поэтами]. Изд-во  
«Молодая гвардия», 1962];  
«Следы» [«Молодая гвар-  
дия», 1965]; «Лицо» [«Со-  
ветский писатель», 1967].

Олег Вуколов [р. 1933]  
окончил художественный ин-  
ститут имени Репина в Ле-  
нинграде, участник респуб-  
ликанских, общесоюзных и  
зарубежных выставок. Член  
Комиссии по работе с  
молодыми авторами Союза  
художников СССР. Пер-  
вая персональная выставка  
О. Вуколова состоялась в  
редакции журнала «Юность»  
в 1971 году.

Картина «Новый год», вы-  
ставленная тогда на стен-  
дах «Юности», привлекла по-  
зиции доброго радужия,  
выраженного и светлым ко-  
лоритом и атмосферой  
предвкушения праздника,  
общения с друзьями...

Сегодня эта и некоторые  
другие картины воспроизво-  
дятся на цветной вкладке.



## B HOMEPE

<b>ПИСЬМО АПРЕЛЯ</b>	Марина КАСИМОВА. Меня приняли в комсомол!	2
<b>ПРОЗА</b>	Е. М. ТЯЖЕЛЬНИКОВ. Ваш главный жизненный ориентир (Первый секретарь ЦК ВЛКСМ отвечает Марине Касимовой)	3
<b>ПОЭЗИЯ</b>	Анатолий АЛЕКСИН. Позавчера и послезавтра. Повесть	9
	Борис ВАСИЛЬЕВ. В списках не значился. Роман. Окончание	29
<b>КРИТИКА</b>	Роберт РОНДСТВЕНСКИЙ. Мотив. «Все хочу я увидеть...». Альбон. Барселонский рынок. Две песни моего друга. «Надо же, поучились...». «Все начинается с любви...». Баллада о телефонных звонках	Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	Вадим ШЕФНЕР. Венчанье. Счастье. Размышление. Бочка. Зарытый канал. Иносказание. Обычныи сон	Редакционная коллегия:
<b>НАУКА И ТЕХНИКА</b>	Михаил СОСЕНКОВ. «Мон поля лесами огорожены...». Сестра. «Июлем детство все прокатится...»	5 А. Г. АЛЕКСИН, В. И. АМЛИНСКИЙ,
<b>СПОРТ</b>	Владимир БЕСПАЛЬКО. «Уже ждетте рожа изнутри...». «Не поминаю ликом — лишь добром...»	В. И. ВОРОНОВ (зам. главного редактора), В. Н. ГОРЯЕВ,
<b>ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ</b>	Игорь ХАЛУПСКИЙ. Прыжок. В юности. «Если бы узнало солнце это...»	6 А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ (зам. главного редактора), Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь),
<b>ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ</b>	Давид САМОЙЛОВ. Купальница. Рассвет. «Вот в Байкале плавают лазури...». «Березы, осиньи...». «Там дуб в богатырском трубы...». Солдат и Марта	7 К. Ш. КУЛИЕВ, Г. А. МЕДЫНСКИЙ, В. Ф. ОГНЕВ,
	Алексей БАБАЕВ. «Когда опустеют поля, и появляют листья...». «Дело наизнанку — выбрать себе скануну...». Бурятское сердце. Переведел с бурятского Ю. Ришенцев	85 С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА.
	Владимир ПАВЛИНОВ. Маяк. Дух войны. Продвода капитана	86
	Л. ВИЛЬЧЕК. «Хочешь жить — броском вперед!»	87
	Ал. МИХАИЛОВ. Остановим карусель (Еще раз о песне)	Художественный редактор Ю. А. Цишелевский
	Иван КУПЦОВ. Оптимистическая муз. (К нашей вкладке)	71
	Круг чтения. Маленькие рецензии и аннотации	76 Технический редактор Л. К. Зябликина.
	Яков КОЗЛОВСКИЙ. Поэт со своею посадкой в седле	81
	Н. КОЖЕВНИКОВА. Комсогр	1-я и 4 я стр. обложки
	Ада БАСКИНА. Ожидание. (Я+Я=Семья)	работы художников Н. БАБИНА, И. ОВАСАПОВА и В. ВЛАДЫКИНА.
	Лев КОКИН. Запись всего	82
	М. ТЕПЛОВ. Лассе Эфшин и его «Занодованый круг»	84
	Г. ГРИНЕВА. Придите к Жунову	68 Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6. Улица Горького, № 32/1.
	Владимир ПОКРОВСКИЙ. Третий боги	88 Телефон редакции: 251-32-83. Рукописи не возвращаются.
	А. РАЗИН. В трубе — кан в сказке	99
	Ираклий ХИМШАШВИЛИ. Сцена, которую я освещала	104 Сдано в набор 25/1 1974 г. г. 07383. 105 Пол. к печ. 13/III 1974 г. Форма 128-108/4. Объем 12,18 усл. печ. л. 106 17,62 учетно-изд. л. Тираж 2 600 000 экз. 107 Изд. № 721. Заказ № 1728.
	Виктор ДЕНИСОВ. Озорные повороты	108
	Миермисис СТЕЙГА. Чтоб не подумали... Переведел с латышского Ц. Меламед	109
	З. ФЕЙЗУЛЛАЕВ. Из жизни замечательных людей	110 Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции 111 Типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП,
	Канов вопрос — танов ответ	111 ул. «Правды», 24.
	Александр ИВАНОВ. Пародии	



Вечер (линовгравюра).

А. КОРОЛЕВСКИЙ.